Константин Соловьев

Раубриттер

4

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Юный Гримберт, наследник маркграфа Туринского, с детства хотел быть рыцарем. Воспитанный на рыцарских романах, болезненно амбициозный, пылкий, он не мыслит жизни без славных рыцарских свершений и видит себя благородным защитником веры, бесстрашным воином и чемпионом Туринской марки. Он должен быть рыцарем — и точка. Должен вершить справедливость огнем крупнокалиберных орудий, защищать угнетенных, карать еретиков и совершать то, что предписано славному рыцарю. И пусть ему всего двенадцать, пусть его доспех — ржавая самоходная развалина, вызывающая смех у отцовских рыцарей, пусть из всех слуг у него в свите лишь верный паж… Он совершит свой подвиг. Докажет всему миру, что достоин посвящения. И если мир не верит в силу Гримберта Туринского, тем хуже для мира!..

- Константин Соловьёв
  -
  - Часть 1
  - Часть 2
  - Часть 3
  - Часть 4
  - Часть 5
  - Часть 6
  - Часть 7
  - Часть 8
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15

- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39

Константин Соловьёв
Раубриттер
Animo IV. Часть 2

* * *

Часть 1

Кажется, нечто подобное случилось много веков тому назад с великомучеником Ионой, угодившим в лапы персов. Изуверы избили его до полусмерти, отрезали пальцы и язык, после чего привязали к полозьям саней и протащили по льду замерзшего озера, отчего, как утверждал в мартирологе очевидец, Иосиф Песнописец, «почти всякая плоть покинула тело несчастного мученика, оставивши великие зияющие раны, лед же на всем пути сделался красен».

Гримберт не помнил наверняка, как закончил свою жизнь мученик Иона, кажется, его под конец сварили в смоле. Прилежно штудируя многочисленные апокрифы и евангелия под руководством приставленных отцом досточтимых прелатов, к житию великомучеников он никогда не испытывал надлежащего почтения, находя, что все эти истории, полнящиеся описанием пыток и страданий, отдают болезненным самоистязанием, которое противоречит духу рыцарства.

Тогда он не знал, что ему на собственной шкуре придется ощутить, каково было несчастному Ионе.

Тело саднило и болело во множестве мест, так, точно его перемололи тысячи острейших ледяных зубов. Точно плоть уже сошла с него, как у того бедолаги, что протащили на полозьях по льду, а та, что осталась, чудом держалась, примерзнув к хрупким промерзшим костям.

Ничего серьезного. Скорее всего, просто множественные ушибы, сотрясения, ссадины и легкие контузии. Ему крепко перепало, это точно, но верный «Убийца» уберегал хозяина от ран до тех пор, пока сам мог функционировать. До тех пор, пока не рухнул в волчью яму, мгновенно превратившись из грозного боевого механизма в пять тонн мертвого металла, огромный гроб, внутри которого еще барахталась упрямая, стиснутая со всех сторон сталью, жизнь.

Он не помнил, как выбрался из доспеха. Может, его бессознательное измятое тело, вспомнив вбитые Магнебодом уроки, активировало пиропатроны, отстрелившие люк бронекапсулы, и выкатилось наружу, в обжигающую холодом ревущую ночь, в которой все еще слышались хлопки аркебуз. А может, «Убийца» выполнил свой последний долг, включив аварийные механизмы, автоматически распечатавшие бронекапсулу, и вышвырнувшие его прочь из теплой стальной утробы, подальше от поврежденной боеукладки, подальше от

опасности.

Он не знал этого. Не помнил.

В себя он пришел лишь наверху, уставившись на свои исцарапанные, скрючившиеся от холода, пальцы. Царапины, холод… Он выбрался из ямы, цепляясь за какие-то корни и землю, тоже безотчетно. Будто в нем самом, как в доспехе, включился какой-то спасительный механизм, который лучше него, дурака, знал, что делать. Жаль, что действие его оказалось столь недолговечным…

Демоны вынырнули беззвучно, соткались черными тенями прямо из белого снега, словно где-то в отравленном чреве Сальбертранского леса распахнулась дверь в адские недра. Взъерошенные, черные, протягивающие к нему крючковатые лапы, они неслись почти беззвучно и их было так много, что спирало дух. Дюжина, две дюжины или того больше.

— Ату его! Ату!

Наверно, они много веков были заточены здесь и ждали своего часа, изнывая от смертельного голода. И теперь, завывая на тысячу голосов, они устремились к нему хищными воронами — чтобы растерзать прямо здесь, залив снег его дымящейся кровью. Как его пушки растерзали проклятого оленя.

И он побежал.

* * *

Бежать оказалось чертовски тяжело. Ноги вязли в глубоком снегу, а легкие казались полны взвеси из острейших ледяных кристаллов. Он точно набрал полную грудь алмазной пыли, которая теперь разъедала его бронхи и альвиолы, превращая легкие в клокочущие, полные теплой крови, мешки.

Он старался делать вдохи короткими и аккуратными, но они почти не насыщали тела, стремительно сжигающего кислород — во рту хрустело месиво из смерзшихся комьев собственной слюны, крови и снега, которым он давился и которое мучительно выхаркивал из себя через каждые несколько шагов. А еще от мороза нестерпимо резало глаза — точно под смерзшимися веками у него были растолченные бритвенные лезвия. Он пытался тереть их на бегу рукой, но от этого становилось еще хуже.

Если бы не демоны, кровожадно орущие позади, он не пробежал бы и сорока туазов. Упал бы лицом в снег, спалив дотла те крохи сил, что сберегло его избитое измочаленное тело и позволил бы произойти предопределенному. Но страх гнал его вперед сильнее, чем оксид азота, принудительно впрыснутый в

топливную систему. Заставлял вытягивать ноги из снега, вновь глотать ледяной воздух, промораживающий тело изнутри, и бежать, бежать, отчаянно бежать.

— Стой, падаль! Застрелю!

— Стоять!

— Стой, дьявол! Поганец!

— Продырявлю!

— Холл-лера…

— Сучье семя!

— Хватай его, братки!

Не демоны, вспомнил он.

Демоны едва ли умеют ругаться по-франкски, да еще такими гундосыми грубыми голосами, кляня его предков вплоть до Адама.

Это еретики.

Проклятые богоотступники, нашедшие убежище в глухом отцовском лесу.

Свившие здесь чертово змеиное гнездо, подальше от глаз Святого Престола.

Заманивающие в ловушку невинных путников, чтобы отдать их бессмертные души на поругание, а тела — для своих черных, исполненных ненависти ко всему живому, изуверских ритуалов…

Где-то позади вдруг сухо кашлянула аркебуза и снег в двух туазах[1] справа от него прыснул в стороны маленьким сердитым гейзером. Второй выстрел, треснувший сразу следом, разнес вдребезги сухой пень, торчавший у него на пути.

Гримберт, едва не упав, метнулся в сторону, пытаясь подражать «Убийце», выполняющему маневр уклонения и движущимся нарочно нестабильной траекторией, затрудняющей противнику уверенное баллистическое поражение.

Ах, дьявол.

Скверно, скверно, скверно.

Настигнут понял он, ощущая обжигающую, как серная кислота, горечь, выступившую из каких-то обнажившихся душевных желез. Настигнут и растерзают прямо здесь. Просто выхватят беззвучно свои черные проклятые ножи, осквернённые кровью невинных, и…

Говорят, в лесных чащах иногда находят страшных деревянных идолов. Эти истуканы вытесаны из дуба и своими примитивными, выточенными из дуба, ликами, напоминают проклятых еретических божков, запрещенных Святым Престолом много веков тому назад. Вот только не всегда они состоят из одного только дерева. Отцовские егеря болтали, что иногда попадаются идолы совсем другого рода. Деревянная у них лишь

сердцевина, зато все другое — уши, глаза, зубы, волосы, даже языки — сплошь человеческое. Иные болтали, что многие язычники сами добровольно делаются донорами для своих божеств, даруя им собственную плоть. Другие — что в дело идут те несчастные, кого пленили еретики, причем смерть их обставлена самым неприятным и болезненным образом, а ритуалы, которые им приходится пройти перед ней, и того страшнее…

На миг ему представилось что-то жуткое. Стоящий на опушке леса деревянный истукан, слепо глядящий в холодную ночь пустыми глазами. Его, Гримберта, глазами. С высунутым из деревянной пасти языком. Его, Гримберта, языком…

Мысль эта, страшная мысль, превратившая пищевод в одну огромную, чистейшего льда, сосульку, придала ему сил. Наполнила вены жгучим адреналиновым пламенем, от которого едва не начали тлеть изнемогающие, работающие на пределе, мышцы.

Еретическое отродье…

Всех — огнеметами…

Под корень, чтоб ни уголька, только зола…

Прочь. Прочь. Прочь.

Он уже слышал преследователей, слышал хруст снега под их ногами, слышал ликующие возгласы и исторгнутые гнилыми глотками проклятья. Время от времени кто-то стрелял ему вслед, но стрелял, должно быть, то ли наспех, не уперев аркебузу в плечо, то ли больше для острастки, чтобы нагнать на беглеца страху — на голову ему сыпались обломки коры и перебитые пулями ветви.

На миг он едва не поддался инстинкту, не превратился в безумное, ищущее лишь спасения, существо, одержимое бегством и не способное мыслить.

Как тот нищий, вспомнил он. Жалкий бродяга, которого его пажи, сами отчаянные шутники, встретили возле маркграфского дворца и заманили к нейро-корректору, пообещав целый двойной денье. Бродяга, польстившись на серебро, слишком поздно понял, какой фокус с ним сыграли. Смеха ради пажи выжгли ему добрую половину миндалевидного тела[2]. Он выжил, но разум его, заключенный в высохшем теле человекоподобного пугала, более не был разумом человека, лишившись каких-то важных нейронов своего естества. Это было воющее от смертельного ужаса существо, мечущееся подобно дикой крысе, мочащееся под себя и исторгающее такие вопли, будто оно вживую ощущало, как душа его, отделенная от тела, корчится в адских котлах.

Шутка вышла забавной, пажи покатывались со смеху,

наблюдая за тем, как от одержимого ужасом безумца бросаются врассыпную дворцовые слуги, как он испуганной летучей мышью бьется о стены и воет от ужаса. Но испортил ее Аривальд. Молча отнял у кого-то из шутников колесцовую пистоль и одним выстрелом размозжил бедолаге затылок, избавив от всех страхов разом. А потом молча ушел, ни на кого не глядя.

Это было чертовски грубо с его стороны, испортить такую хорошую шутку, Гримберт даже обиделся на него, но быстро простил — он никогда не мог долго злиться на своего оруженосца…

Теперь он понял, что это такое — терять рассудок от ужаса. Ощущать, как все мысли съеживаются, пытаясь раствориться без следа, предоставив телу, руководимому древними, как Святое Писание, инстинктами самому искать спасения.

По снегу не уйти. Слишком быстро настигают. Он слышал гортанный хохот преследователей, делающийся все громче и громче, подстегивающий его дюжинами хлыстов. Длинноногие, привыкшие двигаться по глубокому снегу, еретики покрывали гораздо большее расстояние, чем он. Это означало — минута, самое большее — две.

— Стой! — рявкнули сзади, и не на каком-нибудь еретическом наречии, а по-франкски, — Стой, шкура, не то резать буду!

В этот миг ему и открылось спасение. Перепуганный до смерти разум вдруг вернулся, точно птица в брошенное гнездо, в свою обезумевшую оболочку, неся с собой оливковую ветвь спасительной мысли.

Чаща. Они не смогут преследовать тебя в чаще.

Там сплошные ветви, корни и шипы. Там мало снега, по которому они так ловко двигаются на своих лыжах и снегоступах, и еще там чертовски мало места. Это значит, худосочный сопляк вроде него получит преимущество. Оторвется. Завоюет себе дополнительные минуты жизни. Если, конечно, не повиснет, задохнувшийся и пронзенный шипами, в ледяных объятьях Сальбертранского леса…

* * *

Не повис. Повезло. И даже не лишился скальпа, в который впилось сразу дюжина острых жадных лап. Спасла свойственная его возрасту худоба, да еще, пожалуй, гамбезон. Проскочил под изогнутой веткой, едва не взвыв от последнего взрывного напряжения сил, перелетел через упавший ствол, чудом не

переломав ног, протиснулся сквозь хлещущий по лицу кустарник. Потом рванулся дальше, не обращая внимания на боль в иссеченном ветвями лице, в самую чащу, в бурелом из старых веток, сухостоя и мертвого дерева, прикрытого, как древний труп мягким вытканным саваном, свежим снегом.

Оторвался.

Он слышал, как еретики взвыли от злости — точно волчья стая, упустившая добычу. Как в спину ему грохнуло сразу полдюжины выстрелов, обметая мелкие ветви над его головой. Как кто-то в ярости заскрежетал зубами, и так жутко, что в его обмороженном теле вдруг возникла дополнительная прыть.

Он не остановился, даже когда понял, что спасен. Не смог остановиться — тело неслось само собой, точно потерявший управление доспех, он лишь едва успел прикрывать руками лицо, чтобы не лишиться глаз в дьявольском сплетении колючих ветвей.

Спасен. Спасен. Спасен.

Самые отчаянные еретики, вздумавшие сунуться следом, теперь голосили в бессильной ярости, стиснутые ветвями, на самой опушке. Наверно, призывали на его голову дьявольские муки и жаловались своим дрянным еретическим божкам.

В спину ему теперь летели не пули, а возгласы, среди которых Гримберт разбирал лишь отдельные слова, не увязанные общим смыслом, но оттого не менее пугающие:

«Гиены». «Мразь». «Восток». «Шут». «Вольфрам».

Может, это были заковыристые языческие проклятья, а может, изощренные молитвы, он не собирался вслушиваться. Бросился прочь, петляя между деревьями и стараясь не двигаться по прямой.

Чаща спасла его. Укрыла своими шипастыми лапами от преследователей. А еще здесь было куда меньше снега, оттого он мог не бояться, что его найдут по следам. Может, душа Сальбертранского леса и была черной, отравленной, но, должно быть, даже в ней пробудилась жалость к обреченному беглецу…

Он бежал долго. Бежал даже после того, как перестал слышать за спиной треск ветвей, проклятья и выстрелы. Просто позволил телу высвободить оставшиеся силы, забыв о навигации, и несся меж деревьев, ловко уворачиваясь от их колючих объятий. И остановился лишь тогда, когда печень превратилась в накачанный болью пузырь, вздымающийся под ребрами, а легкие шипели от натуги. Только тогда сообразил, что все кончено.

Ушел. Оторвался. Обвел еретиков вокруг пальца.

Тело тряслось, как у припадочного, а горло саднило от морозного воздуха, который он бездумно глотал, саднило так,

точно он выпил расплавленного свинца. Лицо горело, точно обожженное — не то от холода, не то от полопавшихся от страшного напряжения капилляров под кожей, а может, от бесчисленных ссадин, заработанных им в чаще. Сердце колотилось с такой силой, точно было колоколом Туринского собора, зовущим паству на Пасхальную службу.

Попытавшись перевести дух, он вдруг испытал вместо облегчения завязавшийся в животе теплым узлом спазм и, рухнув на колени, изверг в снег все содержимое желудка.

Не очень по-рыцарски. Вцепившись руками в ствол дерева, он минуту-две извергал из себя едкую слизь, едва не выворачиваясь наизнанку.

Рыцарь. Сунулся в Сальбертранский лес без разрешения отца, угодил в ловушку еретиков, погубил рыцарский доспех и…

Он замычал от боли отчаянья, уткнувшись лицом в снег, не ощущая холода.

Аривальд. Вальдо.

Бедный мой несчастный Вальдо.

Ты прикрыл грудью своего хозяина, которого не смог отговорить от безрассудной выходки. И погиб, как подобает преданному слуге, погиб нелепо и страшно, приняв на себя выстрел какого-то чудовищного орудия, которое должно было смять и уничтожить «Убийцу» вместе со мной. Погиб и…

Хватит.

Гримберт отвесил себе пощечину. Пальцы от холода были ледяными и твердыми, точно латная рукавица, оттого получилось больно. Но, кажется, помогло. По крайней мере, в голове немного прояснилось, и даже тошнота как будто бы отступила.

Хватит, сопляк, приказал он себе, силясь придать внутреннему голосу брезгливые интонации Магнебода. Ты выжил, хотя выжить был не должен, довольно и того. Да, Аривальд, по всей видимости, погиб, и это твоя вина. От этого не уйти, какой бы запас хода не даровал тебе Господь в этой жизни. Но, вернувшись в Турин, ты поставишь самую большую свечу, которая только найдется в церкви, за поминовение его бессмертной души, и до скончания дней будешь молить Господа о прощении и…

Он попытался воздать молитву, но обнаружил, что не может сосредоточиться на словах. Сложенные для крестного знамения пальцы скрючило так, что они почти потеряли чувствительность, сделавшись белыми, как алебастровые персты мумифицированного святого.

Холод. Он попытался отогреть их дыханием, но запасы тепла в его теле, истощенные долгим отчаянным бегством, не позволили бы согреть и воробья.

Холод, вот что убьет тебя в самом скором времени, несчастный болван, если прежде тебя не отыщут чертовы еретики.

Черт. Больно. И пальцы сводит.

Пока он был внутри, в теплой утробе «Убийцы», холод не имел над ним власти, но сейчас он быстро наверстывал упущенное, мелкими острыми зубками впиваясь в незащищенные кисти и облизывая шершавым языком лицо. Даже глотку саднило от холода — слишком много морозного воздуха он безотчетно втянул в себя во время бегства.

Страх, едва было не погубивший его, на время даровал телу нечувствительность к холоду, этому истинному повелителю здешнего леса, но сейчас страх мал-помалу отступал, возвращая телу чувствительность.

— Дьявол, — пробормотал Гримберт, озираясь, — Если меня не выпотрошат, так я, чего доброго, замерзну здесь насмерть…

* * *

Сальбертранский лес обступал его со всех сторон. Колючий, подвывающий от злости, ощетинившийся тысячами шипастых рук, подрагивающих на ветру, он чем-то напоминал выстроенный Магнебодом Поленобург, только прошедший через эпидемии разнообразных хворей, войн и бомбардировок. В нем не было ни направлений, ни сторон света, в какую бы сторону Гримберт ни повернулся, он видел одно и то же — дрожащие на ветру колючие ветви, сплетающиеся друг с другом, а промежутках между которыми можно было разглядеть укутанное свинцовыми облаками небо и безразличный рыбий глаз луны, взирающий на него сверху.

Идиот. Он сам забрался в чащу, спасая свою жизнь, и, конечно, был слишком занят, чтобы запоминать направления или какие-нибудь ориентиры. Как и всякий беглец он помышлял лишь о том, как сберечь свою шкуру и уж точно не утруждал себя навигационной работой.

Гримберт шмыгнул носом, ощущая, как холод трется своей ледяной чешуей о его лицо, пощипывая свежие порезы и искусанные в кровь губы.

Дело дрянь, а? Не надо быть искушенным путником, чтобы понять — он забрался в самую чащу леса, в самую глушь. Как скоро его смогут здесь найти? Гримберт стиснул зубы. Он никогда не любил вычислений, предпочитая поручать их автоматике, но в этот раз вычисления получились столь коротки, что результат получился сам собой.

Несколько дней. Даже опытным егерям потребуется до черта времени, чтобы прочесать целый лес, да еще по такой погоде. Отец может придать им в помощь своих рыцарей, а то и вовсе отправить на поиски всех, кто способен держать факела — солдат, сквайров, дворцовых слуг, вплоть до конюхов, сапожников и никчемных сервусов, но даже тогда поиски затянутся на пару дней. Сможет ли он продержаться здесь так долго?

Пара дней… Эта мысль враз ослабила те мысленные стены, что позволяли ему сдерживать натиск холода. Обнаружив в них брешь, холод тотчас запустил в нее свои полупрозрачные, покрытые ядовитой изморозью, зубы.

Ему не продержаться двух дней одному в зимнем лесу. По крайней мере, без помощи и припасов. Молитвы согревают душу, но не тело, а рыцарские идеалы при всех своих достоинствах бессильны насытить пустой желудок.

Вот если бы…

«Убийца» проектировался как учебный доспех и, к тому же, устарел задолго до его рождения, он служил рыцарской машиной, а значит, был предназначен оберегать жизнь своего владельца от всех грозящих ей опасностей. Его грузовой отсек, может, и был тесным, как солдатский сундук, однако вмещал в себе немало полезных вещей, которые сейчас пришлись бы очень в пору. Запас сухого пайка в брикетах на несколько дней. Магнитный компас и секстант. Простейшую пистолю с запасом патронов. Таблетки сухого горючего, немного консервов, аптечку, коротковолновый передатчик…

Да, подумал Гримберт, даже поверженный, «Убийца» мог бы меня спасти. Вот только сама мысль о том, чтобы вернуться к нему, вызывала в душе колючую дрожь — и вызывал ее отнюдь не холод, терзавший его тело.

Допустим, он смог бы разобрать собственные следы, пусть и петлял с отчаяньем зайца по чаще. Допустим, даже вышел бы обратно, но…

Здравомыслие заглушило эту мысль прежде чем она успела толком оформиться. Даже если он найдет обратную дорогу к яме, в которой похоронен «Убийца», это не принесет ему добра. Едва ли чертовы еретики убрались оттуда так быстро. Напротив, сейчас они, скорее всего, бурно празднуют победу, облепив поверженного «Убийцу», точно полчище падальщиков, и жадно вырывая из его мертвого тела все, что только можно. При мысли об этом Гримберт ощутил вспышку ярости, столь горячей, что даже холод, кажется, на миг отступил.

Этим проклятым еретикам нужны трофеи их победы, вот только едва ли они станут охотиться за дорогостоящими

компонентами его систем наведения, сложными торсионами или частями реактора. Скорее всего, им понадобятся лишь трофеи. Обломки оборудования, оторванные куски брони, прочий металлолом — чтоб было, что водрузить на свои проклятые языческие алтари и пожертвовать в угоду дьявольским божкам…

Нет, возвращаться к «Убийце» ни в коем случае нельзя. Значит, придется полагаться только на то, что осталось под рукой. А под рукой не осталось почти ничего — он вывалился из доспеха оглушенным, ослепшим и слишком напуганным, чтобы думать о таких вещах.

Гримберт машинально ощупал себя с головы до ног, чтобы понять, что осталось в его распоряжении. И помрачнел еще больше.

Его рыцарский гамбезон. Скроенный из плотной телячьей кожи, превосходно выделанный, снаружи грубый, как древесная кора, внутри с мягкой и упругой сафьяновой подкладкой, он создан был для того, чтобы противостоять тряске внутри жесткой бронекапсулы. Но, к сожалению, не зимнему холоду. Пока что он уберегал хозяина от обморожений и ран, но уповать на него определенно не стоило.

Серебряный медальон с локоном покойной матери внутри. Гримберт охотнее расстался бы с собственной печенью, чем с ним, однако приходилось признать горькую истину — здесь, в Сальбертранском лесу, от него было не больше проку, чем от подсвечника или вилки для рыбы. Гримберт бережно заправил его обратно за ворот гамбезона.

Фляга. Небольшой сосуд, в котором оставалось еще немного колодезной воды. Не Бог весть какое подспорье, учитывая, сколько снега вокруг, но, пожалуй, сгодится.

Лайтер. Он вздрогнул, нащупав на ремне его серебряный корпус размером не больше веретена и такой же толщины. Совсем забыл про него во время бегства и, может быть, к лучшему. Лайтер выглядел изящным, как игрушка, однако по своему назначению игрушкой отнюдь не был. Украшенный парой константинопольских смарагдов[3] — подарок отца на одиннадцатилетние — он был оружием, и оружием по-своему грозным, способным исторгнуть из себя в долю мгновения двадцать тысяч вольт — достаточно, чтоб испарить любого противника, будь тот облачен хоть в тяжелую стальную кирасу. Но, увы, однозарядный.

Пожалуй, хорошо, что он позабыл про него во время бегства. Да, был бы соблазн полоснуть по чертовым еретикам, полоснуть широко, от бедра, не целясь, превращая первые ряды в шипящую на снегу золу, обернутую тлеющими тряпками, но… Гримберт

закусил губу, вернув оружие на пояс. Вздумай он использовать лайтер, потратил бы свой единственный шанс на спасение и не добрался бы до чащи.

Гримберт вздохнул. Больше никаких вещей при нем не имелось. Он не имел привычки обвязывать гамбезон портупеями со всяким барахлом — в тесной бронекапсуле «Убийцы» и так было не повернуться. Да и кому придет в голову таскать на шее никчемный хлам, когда под рукой всегда есть рыцарский доспех?..

Дьявол. Он торопливо растер лицо, пытаясь вернуть кровоснабжение, но едва не зашипел от боли, потревожив бесчисленные царапины и ссадины, которыми наградил его Сальбертранский лес. Оставаться нельзя. Если он останется здесь, ожидая помощи, то попросту замерзнет, быть может, еще до того, как в небе забрезжит рассвет. Надо идти. Выбрать примерный курс и двигаться, двигаться, двигаться… Да, это неизбежно сожжет калории из его небогатого запаса сил, но, по крайней мере, не позволит околеть в ближайшие же часы.

Поправляя ботфорты, Гримберт представил себя, лежащего лицом в снегу. Холодного, неподвижного, с глазами похожими на мраморные бусины, с сизым языком, примерзшим к губам. Дьявольская получилась картинка и крайне паршивая. Нелепая смерть для рыцаря.

Не все рыцари на его памяти уходили в мир иной так, как подобает им по сану. Бывали и такие, что оканчивали свои дни вполне нелепым образом, так что церковному информаторию, описывающему их кончину, приходилось использовать многочисленные метафоры, эвфемизмы и иносказания, подчас весьма сложные для понимания. Едва ли это придавало им посмертной доблести, но, может, позволяло по крайней мере не сделаться посмешищем для прочих.

Мессир Бавдовин, барон де Севирак. Оказался столь недальновиден, что, обнаружив на поле боя неразорвавшийся лангобардский снаряд, попытался разрезать его в собственном замке, используя для этого только пилу да Божью матерь, призванную им в заступницы. Даже оруженосцы толком не знали, что именно барон де Севирак рассчитывал найти в сердцевине снаряда. Не то драгоценный иридий, который, по слухам, некоторые варвары использовали для сердечников, не то и вовсе какую-то таинственную алхимическую технологию для трансмутации свинца в благородные металлы… Как бы то ни было, дело кончилось для него скверно. Снаряд оказался зажигательным, а Божья матерь не посчитала нужным хранить жизнь, как выразился епископ Альби на заупокойной службе,

самым скудоумным своим детям. Барон де Севирак сгорел дотла вместе со всем своим замком и подворьем.

Сир Роберт де Уффорд, бретанский рыцарь, совершивший немало подвигов во времена Второй Сланцевой Войны, кончил еще более нелепым образом. Сделавшийся заложником своего пристрастия к азартным играм и диаморфинам, он подчистую спустил накопленное предками состояние, заложил собственный замок и вынужден был под конец вести малопочтенную кочевую жизнь раубриттера. Он странствовал по окрестным графствам в поиске заработка и, говорят, не чурался при том самых бесчестных способов.

Где-то под Коданом ему улыбнулась удача. Сир Роберт обнаружил в захудалой корчме оставленный кем-то из постояльцев рыцарский доспех. Потрепанный и грязный, он все же воспламенил алчность в сердце раубриттера. Когда настала ночь, тот тайно проник в корчму, вооружившись масляной лампой и разводными ключами, лелея надежду снять с чужого доспеха те детали, которые позднее можно будет без проблем продать на ближайшей ярмарке. Увы, удача, не благоволившая ему прежде в играх, и тут не спешила на помощь. Обжегшись о лампу, сир Роберт де Уффорд, уже ослабивший большую часть внешних болтов, рухнул со стремянки вниз, а следом на него рухнул полуторатонный торсион рыцарского доспеха, раздробив несчастному хребет. Когда на шум прибежал корчмарь со слугами, все уже было кончено — вороватая душа Роберта де Уффорда отправилась на небеса.

Мессира Альхемунда, напротив, при жизни мало кто мог упрекнуть как в отсутствии здравомыслия, так и в отсутствии чести. Преданный христианин, верный своим рыцарским обетам, он на своем веку служил трем герцогам и совершил столько подвигов, что их хватило бы на всех рыцарей графства Овернь, да еще перепало бы немного Бурж и Пуатье. Мало того, он трижды возвращался живым из Крестового похода, а это само по себе считалось свидетельством того, что его ангел-хранитель занят своей работой, а не швыряет кости где-нибудь в трактире. Но под конец жизни здравомыслие стало отказывать мессиру Альхемунду. Бесчисленное множество раз обманув смерть во множестве ее обликов, он со временем, говорят, даже немного помешался на этом, убоявшись визита той, что рано или поздно должна явиться за каждым. Навесил на себя так много охранных оберегов, амулетов и прочих апотропеев, что не мог передвигаться без помощи слуг. Совершал великое множество паломничеств во славу всех известных святых. И, говорят, в скором времени стал таким знатоком Святого Писания и всех

мыслимых апокрифов, что чуть не сделался святее Папы Римского.

Недостаток здравомыслия и погубил его. Поняв, что христианская вера не может в должной мере оградить его от смерти, гарантируя посмертное существование лишь его бессмертной душе, в жажде познания он углубился еще дальше, в изучение схоластических учений и философий, многие из которых столь явственно соседствовали с откровенной ересью, что штудии эти чуть было не отправили мессира Альхемунда на инквизиторскую скамью.

Но он нашел то, что искал. Позднее говорили, что он повредился в уме, изучая основы оригенизма — забытой греческой секты, учившей своих последователей способам сопротивления смерти. Говорили и то, что он открыл для себя «Aeris porta animi»[4], богопротивный научный труд, принадлежащий перу старого еретика Савеллия Птолемаидского. Как бы то ни было, мессир Альхемунд обнаружил способ создания чудодейственного амулета, который защищал бы его бренное тело от всех мыслимых опасностей и угроз. Его изготовлению он отдал восемь лет, совершенно позабыв не только про свои обязанности как вассала, но даже про рыцарские обеты. Обещанное бессмертие манило его, затмевая взор.

Когда амулет был закончен, мессир Альхемунд ликовал. Надев его, он вышел на подворье своего замка, выстроил вокруг две дюжины слуг и каждому вручил заряженную аркебузу со словами: «Выстрелите в меня по моей команде. И увидите, мерзавцы, высшая воля не позволит ни одной пуле коснуться меня, ибо я познал главный секрет жизни!». Перепуганные слуги не нашли в себе силы перечить. Когда пороховой дым рассеялся, они обнаружили своего хозяина, владельца главного секрета жизни, вмятым в амбарную стену — количество пуль, вошедших в его тело, было столь велико, что они подобно гвоздям прибили его к доскам. «Ах вы ж черти, — будто бы сказал истекающий кровью искатель, едва шевеля языком, — Ну конечно так оно не сработает… Давайте-ка попробуем еще раз!..» С этими словами его душа и отстыковалась от расстрелянного тела, каковое, по требованию Святого Престола, было не похоронено, а смешано с порохом, сожжено и развеяно по ветру.

Нет, подумал Гримберт, уж он-то к ним не присоединится. Никто не сможет сказать, что юный маркграф Гримберт замерз, точно бродячий пес, посреди Сальбертранского леса.

Он вернется домой. Вернется во что бы то ни стало, даже если придется всю ночь прошагать по проклятому лесу, отморозив пальцы на ногах. Всю ночь и весь день — и еще

столько, сколько потребуется.

Он попытался вспомнить карту, которую не единожды разглядывал в визоре «Убийцы». Если ему каким-то образом удастся найти северо-восточное направление и двигаться по нему достаточно долго, он выйдет к Сузе или Буссолено. Вот только… Он едва не застонал, прикинув расстояние. То, что для «Убийцы» было не особо обременительной дневной прогулкой, для него обернется чертовски долгим путем. Это же добрых десять лиг, а значит…

— Считай по-имперски, чтоб тебя! Или в самом деле хочешь сойти за чертового «вильдграфа», полирующего охотничьим ножом ногти на званом балу?

От этого возгласа Гримберт едва не рухнул в снег, точно от выстрела. И с опозданием в половину секунды понял, что порожден он не подкравшимся к нему человеком, а его собственным воображением. Очень уж знакомы были интонации — ни с чем не спутаешь…

Аривальд… Гримберт шмыгнул носом, с ужасом ощущая, как все возведенные его рассудком препятствия беззвучно рушатся, точно крепостные стены, сооруженные не из камня и бетона, а из папье-маше.

Аривальд.

Он вспомнил сотрясающий землю грохот, который превратил прикрывающего его «Стража» в бесформенный металлический ком, окруженный смятыми листами бронепластин. Вспомнил голос Аривальда таким, каким в последний раз слышал его в динамиках:

«Прочь, чертов идиот! Прочь! Она уже навелась! Она уже…»

Вальдо. Мой старый добрый отважный друг Вальдо, готовый грудью встать на защиту своего никчемного господина. Заплативший своей жизнью за его безрассудство. Несколькими часами раньше он беззлобно подшучивал над ним, поминая чертовы шахматы, а теперь его тело — изломанное, обожженное — лежит в гробу из бронированной стали и самые нетерпеливые еретики, должно быть, уже тянутся вскрыть его своими кривыми ножами, чтобы сожрать теплую еще печень. Или принести ее в жертву темным дьявольским богам на укрытом в лесу алтаре…

Гримберт беззвучно заплакал, не замечая, что слезы замерзают на его потерявшем чувствительность лице, не добравшись даже до подбородка.

— Ты прав, Вальдо, — тихо сказал он, чувствуя со всех сторон кривые и острые ухмылки Сальбертранского леса, — Не десять лиг, а двадцать три километра. И знаешь, что? Я пройду их, хоть даже и босиком! Я дойду до Турина и приведу сюда всех

отцовских рыцарей до единого. И сам пойду с ними в бой, пусть даже и без доспеха. И тогда посмотрим, кто будет смеяться!..

Он шмыгнул носом. Воображаемый Аривальд не отвечал, зато Сальбетранский лес ответил. Как умел — зловещим треском своих деревянных рук, скрежещущим дыханием и жутким гулом сплетенных из шипов крон. Но ничего иного Гримберт и не ждал.

* * *

Он был прав — это совсем не походило на легкую прогулку. Это походило на затяжное путешествие в ад, причем он сам в этом путешествии был и пленником и конвоиром и разъездом и арьергардом.

Сложнее всего было определить направление. Даже осмелившись выбраться из чащи, он понял, что не имеет никакого представления, где находится северо-восток. Ночь выдалась лунной, только от луны не было никакого проку — она то и дело ныряла в грязные облака, точно в груды овечьей шерсти, и почти не давала света, лишь мазала сырной желтизной топорщащиеся верхушки деревьев. Гримберт потратил добрый час, пытаясь с ее помощью установить, где находится север, но совершенно не преуспел, наоборот, потерял те слабые представления о сторонах света, что сохранял прежде. Магнебод не раз объяснял ему этот урок, но он пропускал его мимо ушей. К чему рыцарю разбираться в ориентировании, если к его услугам магнитный компас в доспехе, надежный и не знающий помех прибор, всегда находящийся в твоем распоряжении?..

Оставаться на месте было мучительно неприятно — страх и холод одолевали его сообща, сговорившись, будто старые враги, и всякая минута, проведенная в неподвижности, опустошала запасы сил. Поэтому он просто пошел, как подсказывала ему интуиция, опасаясь выходить на открытые места и обходя стороной островки густых зарослей. В каждом замершем на пути корявом стволе ему мерещился затаившийся еретик, а треск ветвей заставлял обмирать всем телом.

Чертовы мерзавцы. Богом проклятое гнилое семя.

Никогда прежде ему не доводилось видеть живого еретика. Те еретики, что плясали на сцене Туринского театра, представляли собой раскрашенных шутов с узловатыми дубинками. Корчащие жуткие гримасы и болтающие на несуществующих языках, они явно не имели ничего общего со своими настоящими сородичами, вонзающими ядовитые зубы в те части империи, где ощущали слабость и свежую кровь.

В проповедях епископа Туринского еретики, напротив, представлялись Гримберту чем-то вроде скользких змееподобных гадов, шипящих во тьме и алкающих христианской крови. Больше всех о еретиках знал Магнебод, но он предпочитал на эту тему не заговаривать даже когда перебирал с подслащенным маковой вытяжкой вином. Фамильные гравюры, живописующие кровопролитные бои и рыцарские поединки, также обходили этот вопрос стороной, еретики, сошедшие с бумажных страниц, напоминали корчащихся в адском пламени чертей, многие из которых действительно были при рогах и копытах.

Но Гримберту не требовалась помощь церковного информатория, чтобы разобраться в этом вопросе. Любой двенадцатилетний мальчишка, будь он хоть сыном маркграфа, хоть младшим подмастерьем сапожника или чумазым лаборантом из цеха скорняков, владеет всеми необходимыми приемами для поиска интересующей его информации, достаточно лишь держать востро уши и слушать, что болтают вокруг.

Так, он узнал, что адамиты, в своей ереси возомнившие себя ровней Адаму, не признают ни доспехов, ни одежды. В любую пору года они ходят обнаженными, а из собственных ребер, хирургически изъятых из грудной клетки, сооружают жуткие и причудливые амулеты.

Триетисты, поклоняющиеся Троице в их собственном осквернённом ее представлении, вырезают у себя во лбу дополнительную третью глазницу, внутрь которой помещают фальшивый глаз, сделанный обычно из мрамора, смолы или свинца.

Изощренные в нечеловеческих ритуалах маркиониты считают за благо вскрывать черепа своих собратьев, чтобы при помощи варварских инструментов и сакральных технологий превращать их в бездумных и осатаневших от жажды плоти чудовищ.

Еще были маркосеи, татиане, петробрузианцы, чемреки, гомунциониты, икеты, аскиты, монофелиты, арнольдисты, несторианцы, ноетиане, птолемеи, мессалинцы, апосхисты, аэриане, гидрофеиты, иеракиты, патрициане… Бесчисленные, точно волосы на голове грешника, все они занимались одним и тем же — извращали веру Господа, силясь превратить христианские обряды и таинства в богопротивные изуверские ритуалы, и каждый на свой лад.

Но эти… Гримберт вновь вспомнил оглушающий лязг пулеметов и алые брызги, туманом оседающие на деревьях.

Эти отличались невероятной, немыслимой для тайных адептов дерзостью. То, что они нашли укрытие в отцовском лесу, ничуть не удивительно. Всякие еретики тщатся спрятаться

поглубже от взгляда Святого Престола, зная, как накажет их Церковь за их учения и практики. Вот только они чертовски не походили на сборище богоотступников в темных плащах, собирающихся в полночь, чтобы провыть свои проклятые молитвы и принести жертву. Они походили на…

На ландскнехтов, подумал Гримберт, ежась от этой мысли. На организованный отряд головорезов, в котором каждый знает свою роль и способен действовать сообща, выполняя волю командиров. А еще это количество оружия, что было у них с собой! Мерзавцы вооружились не обсидиановыми ножами и не атамами, выточенными из бедренных костей. Они притащили с собой до черта аркебуз, а еще настоящую полевую артиллерию в невероятном количестве. Одних только легких кулеврин и серпантин хватило бы, чтоб перебить на открытой местности две-три сотни регулярной пехоты без прикрытия брони.

Что это за ритуалы такие, для проведения которых требуется собрать больше орудий, чем собрал герцог Саган для своей Пляски в Алой Луже? Или не ритуал это вовсе, а…

Война, подумал Гримберт, ощущая желание приложить горсть снега к раскалившимся внезапно вискам. Вот какая нужда погнала еретиков в Сальбертранский лес. Они нарочно накапливают здесь силы и оружие, чтобы потом… потом…

Начать свою собственную войну, подумал он с ужасом. Окружить и взять штурмом какой-нибудь из беззащитных городов, у которых нет ни крепостных стен, как у Турина, ни собственной артиллерии, ни рыцарей, готовых прийти на помощь.

Он вдруг представил, как этот сброд окружает Сузе или Буссолено. Как языки огня, исторгнутые серпантинами и кулевринами, рвут в клочья жалкое ополчение, выдвинувшееся на защиту своих домов с жалкими пищалями да косами. Как улюлюкающая толпа врывается в дома, выхватывая из люлек маленьких детей, прибивая ножами к дверям хозяев, поджигая амбары и мельницы…

Картина была столь жуткой, что у него перехватило дыхание. Вот почему ублюдочные еретики устроили засаду вместо того, чтоб сбежать. Не могли позволить, чтобы их присутствие было кем-то обнаружено прежде условленного часа. Сознавая свою силу, дерзнули напасть на пару рыцарей, которых превосходили и по хитрости и по огневой мощи.

Но ничего. Гримберт шмыгнул носом, силясь разогреть в себе ту искру ярости, что направляла его действия в бою. Отец разберется с ними. Когда сюда заявятся рыцари, да не две жалких учебных машины, а целое знамя — две, нет, три дюжины! — у этих ублюдков будет немного времени, чтобы раскаяться в своих

грехах. Может, минута или две. Прежде чем Туринские рыцари не вомнут их в снег и не спалят к чертовой матери вместе с их проклятым логовом, а потом…

Корявое дерево в нескольких туазах от него, которое он намеревался обойти справа, вдруг шевельнулось. Еще один дьявольский морок Сальбертранского леса, просто луна выплыла из-за тучи, одновременно дунул ветер, вот и померещилось… Просто обман зрения, мелкая досадливая галлюцинация, ничуть не удивительная для нервной системы, истощенной долгой нейро-коммутацией. Просто надо не обращать внимания и…

Дерево качнулось, уже отчетливо, но без скрипа, совершенно беззвучно. Будто собиралось обрушиться, даже накренилось, но в какой-то миг передумало. И вдруг расползлось в стороны, стремительно меняя форму, обернувшись чем-то большим, тяжело ворочающимся, сопящим…

Гримберт ощутил, как внутренности ошпарило соленым кипятком, а на мочевой пузырь навалилась пугающая тяжесть.

Зверь. Животное.

В жидком свете луны он уже видел припорошенную снегом густую темную шерсть. Слышал хриплое дыхание, вырывающееся из чужой глотки. Замечал мерцающие влажные огоньки чужих глаз, смотрящие прямо на него. И еще он вдруг ощутил дух зверя — тяжелый запах чужого тела, перебивающий все прочие, существующие в мире, даже гадостные ароматы Сальбертранского леса.

Зверь испустил негромкий вздох. Большой, кряжистый, массивный, как вывороченный из земли столетний дубовый пень, он в то же время двигался так медленно и мягко, что снег под ним даже не скрипел. Из-под массивного покатого лба на Гримберта смотрели два влажно мерцающих глаза, и смотрели безо всякого радушия. С мертвенной холодностью хищника.

И только тогда Гримберт понял, кто это. Понял слишком поздно, едва не оказавшись к нему вплотную.

Он сразу узнал этого зверя, хоть ни разу не видел. Вспомнил жуткие рассказы Магнебода, который по юности увлекался охотой и многих опасных существ, опрометчиво созданных Господом, извел при помощи охотничьего огнемета и мин.

У этого существа не было имени. По крайней мере, такого, которое прижилось бы по всей империи, потому в тех редких краях, где он уцелел, звали его по-разному, везде на свой манер, но везде с опаской. Суровые даны с севера именовали его Бьорн. Горделивые лехиты на своем лягушачьем языке, невыносимом для христианского уха, niedźwiedź. Вымершие сто лет назад фракийцы — Урс. Даже дикие венды, не знающие ни

письменности, ни веры, ни совести, но хорошо знакомые с этим зверем, придумали для него имя, которое звучало как «вьедмьедь», что в переводе на франкийский означало «Подземный владыка, поедающий мёд».

Последнее звучало не очень-то грозно, но лишь пока епископ Туринский не рассказал Гримберту однажды истинный смысл этого имени, напомнив Евангелие от Луки, а именно стих сорок второй, в котором Иисус, воскреснув, говорит своим апостолам: «„Посмотрите на руки Мои и на ноги мои — это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня“. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: „Есть ли у вас здесь какая пища?“ Они подали Ему то, что было при них — малую часть сотового меда. И, взяв ее, Он ел пред ними».

Гримберт не вполне понял суть разъяснения, но епископ Туринский растолковал ему, что чудовище это, Вьедмьедь, суть дьявольская личина, алкающая сладкого меда не для того, чтобы насытить чрево, чтобы уподобиться Спасителю, обретя его силы, а значит, не только смертельно опасное для всякого путника и охотника, но и гибельное для христианской души. Яростный лесной демон, принявший обличье зверя.

Гримберт попятился, нелепо выставив перед собой одну руку, второй пытаясь вслепую нащупать на ремне лайтер. Бывалые охотники говорят, вьедмьедь обладает необычайно толстой шкурой, которую прошибет не всякая аркебуза, а кости его могут дать фору некоторым сортам легированной стали. Может, если лучом, да еще в упор, по морде…

Глаза зверя, уставившиеся на него в упор, горели двумя тусклыми радиевыми звездами, но чем дольше душа Гримберта, изнывая от ужаса, ощущала их излучение, тем больше ему казалось, что глаза эти не вполне звериные. Хищные, колючие, тяжелые — но уж больно пристальные и…

А потом поросший шерстью хищник Сальбертранского леса вдруг беззвучно поднялся на ноги, сбрасывая с себя снег, и сделалось ясно, что не такой уж он и огромный. Большой, но не огромный, как ему казалось.

— Иди сюда, мелкий abortivum[5], - проскрипел вдруг он, — Я не собираюсь отморозить себя яйца, бегая всю ночь за тобой по этому хреновому лесу.

* * *

Человек.

Не хищник. Не животное.

Иллюзия держалась слишком долго, но стоило Гримберту оказаться к нему почти вплотную, как она спала — вместе с усеянной хлопьями снега маскировочной сетью, высвобождая его настоящее тело. Кряжистое, тяжело ворочающееся, но, несомненно, вполне человеческое. Оно было облачено в густую нечёсаную шубу, которую Гримберт и принял за вьедмьежью шкуру. Однако в ее прорехах отчетливо виднелась сталь кирасы.

— Подь сюда, говорю, — буркнул человек, — Не зли. А то, ей-Богу, оторву к чертовой матери ноги, а Вольфраму скажу, будто так и нашел. Ему с твоих ног не похлебку варить…

В его облике было много звериного. Манера наклонять голову, взирая исподлобья. Грубое лицо из числа тех, которые Господь не вылепил из глины, а вытесал из какой-то грубой скальной породы. Тяжелый, точно подкова, подбородок, поросший жестким волосом, тоже напоминающим шерсть. А когда он ухмыльнулся, не скрывая торжества, обнаружилось, что и зубы у него звериные, мощные и белые, словно созданные для того, чтобы рвать мясо.

Гримберт попятился, ощущая колючую дрожь в пятках. Пульс стал какой-то неуверенный, водянистый, а в ушах вдруг негромко загудело и зазвенело, точно кто-то внутри него, какой-то маленький рыцарь, съежившийся в груди, пытался настроить радиостанцию на нужную частоту.

Он вдруг понял, что убежать никак не успеет. Два туаза, разделявшие их, могли бы послужить ему хорошей форой — если бы бежать пришлось по каменной туринской мостовой. Но не по зимнему лесу, утопая в снегу. Кроме того… Наблюдая за тем, как еретик, мрачно усмехнувшись, отряхивает снег с шубы, Гримберт вдруг понял еще одну неприятную вещь. Может, этот тип и выглядит тяжелым, неповоротливым, неуклюжим, однако ощущение это обманчиво и очень опасно. Когда проводишь много времени в состоянии нейро-коммутации с доспехом, многое узнаешь о том, как строится взаимоотношение между нейро-медиаторами твоего мозга и мышцами, отвечающими за движения тела. Судя по тому, как мягко и осторожно двигался этот здоровяк, с деланной небрежностью отряхивая снег с покатых плеч, Гримберт отчетливо понял — в бою этот человек может скрутить его в бараний рог быстрее, чем он успеет свистнуть.

Лайтер. На поясе.

Гримберт вытащил его неуклюжим движением, как никогда не вытаскивал на тренировках.

— Не подходи, — выдохнул он, обращая оружие торцом на

противника, как рукоять невидимого меча, — Иначе запеку в собственной шкуре!

Слова были подобраны нужные, вот только голос подвел, не смог вложить в них подобающую моменту уверенность. Потому вышло натужно и жалко.

Еретик усмехнулся. На оружие он глядел немного поморщившись, но без страха, как глядят на какую-нибудь безделицу.

Похожий на хищного зверя еретик в густой шубе недобро усмехнулся:

— Сейчас посмотрим, кого ты тут спалишь, евнухово семя. Дева! Виконт! Сюда! Здесь этот ублюдок!..

Сальбетранский лес зашевелился, только теперь это был не шелест его голых острых ветвей на ветру. Это возникали вокруг него, сбрасывая маскировочные сетки, человеческие силуэты. Один и два и пять и…

Они ждали его. Не выслеживали, не гнали по лесу, просто терпеливо ожидали, прекрасно понимая, в какую сторону он направится.

Гримберт ощутил, как лайтер тяжелеет в руке, только тяжестью не успокаивающей, а гнетущей. Господи, подумал он, Аривальд был прав. Я самый последний тупоголовый болван во всей Туринской марке, хуже последнего сервуса со сгнившим мозгом. Я не просто попался им в ловушку, я сделал это дважды…

Дьявольские отродья. В темноте Гримберт не мог различить деталей, он видел лишь угловатые силуэты, возникающие из ниоткуда, точно рожденные плотью Сальбертранского леса. Бесплотные тени на белом снегу, они двигались ловко и уверенно, будто и бы хаотично, но в то же время отнюдь не случайным образом.

Вовсе не случайным.

Он слишком поздно сообразил, что его окружили. Взяли в клещи прежде, чем он успел хотя бы рыпнуться. Отрезали со всех сторон, грамотно и умело. В какую сторону он ни бросил бы взгляд, тот натыкался на угольные силуэты, напряженно замершие с оружием в руках или приникшие к деревьям в ожидании сигнала. В темноте он не видел их лиц, однако воображение, силясь умножить испытываемые им страдания, охотно нарисовало недостающие детали. Обнаженные в хищном оскале сточенные зубы. Богопротивные татуировки на искаженных ненавистью лицах. Отрезанные веки и отсеченные губы. Омерзительные ритуальные шрамы в сочетании с грубо вживленными в плоть имплантами и шипами.

Ублюдки, подумал Гримберт, водя из стороны в сторону

деактивированным лайтером. Едва ли они постигали науку тактики под руководством лучших наставников Туринской марки. Едва ли могли отличить методический огонь от огня внакладку или рассчитать рубеж безопасного удаления. Скорее всего, у них были самые примитивные представления даже о простейших тактических построениях и маневрах. Однако у них, этих стайных хищников, было то, чего не было у него самого.

У них был опыт. Чертовски много опыта в подобных делах.

Гримберт коснулся пальцем кнопки активации, уперев воображаемый луч в грудь ухмыляющегося еретика и пытаясь не обращать внимания на доносящийся отовсюду треск. Уж его-то он успеет поджарить. Превратить в горсть золы на зимнем ветру. Смешать со снегом Сальбертранского леса. Ему даже на миг показалось, будто он ощущает сладкий запах паленого мяса.

Вот только потом…

Не требовалось великого умения управляться с цифрами, чтобы вспомнить — у лайтера лишь один заряд. Выпустив его, он уничтожит того, кто стоит ближе прочих, но и сам останется безоружным, как пчела, потерявшая жало. Безоружным среди кровожадных еретиков, лишившихся своего собрата, а может, и предводителя.

— Назад! — крикнул Гримберт, тыча вокруг себя лайтером, — Всех спалю к чертям!

— Включай, — звероподобный главарь кивнул, — Давай. Я такие игрушки знаю, видел у сеньоров. Они только раз полыхнуть и могут, потом всё.

Он точно читал его мысли, этот проклятый звероподобный ублюдок. Кто он у них? Местный жрец? Фламин?[6] Гроссмейстер? Плевать. Сейчас от него останется только горсть пепла в снегу.

— Включай.

Зверолюд шагнул к нему. Без всяких уловок и ухваток, так, точно в грудь ему упиралось не взведенное оружие, а столовая ложка или гусиное перо.

— Включай, мелкий выблядок. А уж мои ребята постараются, чтоб тебе после скучать не пришлось…

Придумают, подумал Гримберт, пытаясь проглотить плотный, как смола, комок слюны. Наверняка придумают. Для этого даже не потребуются какие-нибудь изуверские еретические пыточные инструменты. Сальбертранский лес, может, и выглядит не очень богато, но на самом деле он рад предоставить все необходимое для причинения боли ближнему своему, надо лишь обладать достаточно развитой фантазией. Едва ли еретики, измыслившие для себя несуществующих богов и ритуалы для их ублажения, отличались недостатком фантазии.

«Щипцы для орехов», вспомнил вдруг Гримберт. Вот как называл это отцовский егермейстер, посмеиваясь за пиршественным столом. Даже не пытка, на самом деле, а развлечение, известное у туринских лесорубов. В лесорубы народ подавался всякий, но обыкновенно суровый, нелюдимый и не полнящийся христианским состраданием — работа эта всегда считалась опасной и изматывающей, да и не очень почетной. «Щипцы для орехов» лесорубы обычно устраивали своим собратьям — проигравшимся игрокам, обманщикам и пойманным воришкам. Простейшая забава, не требующая ни развитой фантазии, ни хитрого инструмента, но неизменно эффективная, может, потому и полюбившаяся им.

Огромное бревно расщеплялось топорами вдоль на изрядную глубину, после чего в него вбивали клинья, но не обычные, принятые среди лесорубов, а специальной формы, к томе же смазанные овечьим жиром. В образовавшуюся щель клали провинившегося, а чтобы не сбежал — для верности прибивали руки к дереву деревянными гвоздями. Дальше участие человека уже не требовалось. Под действием заключенных в расщепленном дереве сил смазанные жиром клинья мал-помалу выдавливало, отчего несчастного, оказавшегося внутри, медленно сжимало в огромных деревянных тисках, круша кости и заставляя внутренности выдавливаться из утробы. Отцовский егермейстер рассказывал, что лесорубы, в совершенстве знающие свое ремесло, достигли в этом деле огромных успехов, применяя клинья разного устройства и разные породы деревьев. Некоторые несчастные, обнаруженные его егерями в лесу, оставались живы даже на пятый день пытки.

А ведь одними только «Ореховыми щипцами» их арсенал не исчерпывался. Были еще «Земляные орешки», «Скоростель» и «Разоренное гнездо», был «Высокий клён», «Два папоротника» и «Три топора»…

Гримберт не сомневался, что еретикам известны все эти приемы. Как и множество других, куда более изобретательных и страшных.

Он ощутил, как внутренности прорастают колючей изморозью.

Не обязательно стрелять в надвигающегося еретика в мохнатой шкуре. Можно ведь сделать и проще. Одним движением кисти повернуть лайтер вокруг оси, уперев себе же под подбородок. И активировать, прежде чем кто-то из еретиков успеет сделать шаг. Наверно, он даже не успеет почувствовать жара… А боль — успеет? Или Господь в своей бесконечной милости, незримо прикоснувшись к его нервной системе, оградит

юного мученика от боли и страха в те миллисекунды, что плоть его будет превращаться в невесомый пепел?..

Паскудная смерть, конечно — без могилы, без отпевания — но смерть, которая подобает рыцарю. И Магнеботу не придется выдерживать укоряющий взгляд отца, когда весть дойдет до Турина. Напротив, он торжественно скажет: «Он был не лучшим моим учеником, мессир, но он погиб как подобает рыцарю, как герой. Я буду горд называть его имя, как горд будет весь Турин помнить его защитником христианской веры».

И тогда…

Но он не успел даже шевельнуть пальцем. Потому что еретик в звериной шкуре вдруг шевельнулся, но совсем не так, как ожидал Гримберт. Не шагнул вперед, пытаясь резко сократить дистанцию, не метнулся в сторону. Резко и коротко ударил ногой по снежному покрову, обрушив в лицо Гримберту целый каскад из снега, льда и мелких ветвей.

Это было похоже на обжигающую оплеуху, от которой он враз ослеп и оглох. Бессмысленно попытался махнуть лайтером, будто тот был всего лишь никчемной дубинкой, и, конечно, ни во что не попал. Удар ушел в воздух, но в следующий же миг воздух вдруг смерзся в ледяную глыбу, которая со страшной силой ударила его под дых.

В него точно врезался рыцарский доспех на полном ходу. Десятки квинталов[7] холодной бронированной стали.

Он упал беззвучно, не успев даже вскрикнуть. Это было похоже на горную лавину, рухнувшую с утесов Альб и мгновенно размоловшую его, закрутившую в вихре из черного и белого. Он попытался сопротивляться ей, но правая рука мгновенно хрустнула и вывернулась под странным углом, отчего пальцы, сжимавшие лайтер, разжались сами собой.

Не падать. Если упадет, они сомнут его числом и тогда…

Он попытался выпрямиться и мгновенно получил удар в ухо, от которого голова зазвенела медным котлом, а перед глазами вспыхнули перетекающие друг в друга желто-зеленые звезды.

Не падать! Извернуться, отступить, перенести вес на левую ногу, оттолкнуться, поднырнуть… Может, он не был в числе первых учеников по панкратеону[8], ему часто не хватало природной ловкости, но наставник по фехтену[9] всегда отмечал его превосходную реакцию и несомненный талант, особенно по части безоружного боя. Может, и льстил, просто хотел сделать приятное отцу…

Он не успел даже повернуться, чтоб встретить натиск боком. Не успел понять, с какой стороны пришел удар. А в следующую же секунду уже было поздно, потому что ударов оказалось столь

много, что тело отказывалось даже регистрировать их, воспринимая одним яростным шквалом.

Он катался по снегу, воя от бессилия и боли, но едва ли это можно было назвать сопротивлением. Просто жалкой попыткой тела спастись от боли. Его опрокинули вниз лицом и били ногами, так, что трещали ребра, а когда он все-таки нашел силы перевернуться и приподняться на локтях, страшный удар в лицо заставил мир оглушительно ухнуть и съежиться до размеров рисового зернышка. И мыслей вдруг не стало вовсе, потому что некому и незачем стало думать, осталась лишь боль, грызущая его тела собачьими пастями. Боль — и вкус растаявшего снега в окровавленном рту, который он безотчетно глотал.

Поняв, что он перестал сопротивляться, еретики обступили его, громко переругиваясь и сквернословя на неизвестных ему языках. Сразу несколько десятков жадных рук впилось в него со всех сторон, и каждая была похожа на наделенного чудовищной силой паука.

Кто-то поднял оброненный им лайтер и бережено смахнул с него снег. Кто-то сорвал с пояса серебряную флягу и, видимо надеясь обнаружить в ней драгоценное вино, опрокинул в свою гнилую глотку. Кто-то деловито стаскивал с него ботфорты, бесцеремонно разрезая шнурки.

Он попытался сопротивляться лишь однажды, когда один из еретиков нащупал на его шее медальон с материнским локоном. Расплатой стала затрещина — такая, что мир-зернышко вдруг начал резко таять, а собственное тело Гримберта уже никак в нем не ощущалось, съеживаясь в размерах. Оно уже ничего не весило и, кажется, вот-вот должно было распасться на атомы.

Наверно, это Господь все-таки решил вознести его на небо, подумал Гримберт, но подумал как-то отстраненно, будто мысль была не его собственной, а пришла через нейро-шунт.

Это хорошо. Магнебод. Отцу не придется. «Убийца». Турин. Снег, снег, снег, везде этот снег. Все-таки, значит, прав был Аривальд.

Вкус снега с привкусом меди во рту. Гомонящие голоса. И даже боли почти нет.

Он вознесся на небо так стремительно, что сознание затрепетало и беззвучно погасло, точно пламя свечи на ветру.

Часть 2

Он очнулся не в небесных чертогах. Должно быть, в последний миг, когда его душа возносилась, бросив бренное тело, святой Петр преградил ей путь, обнаружив в своем талмуде какой-то застарелый, но тяжкий грех.

Его низринули вниз. Но не в адские бездны. Там-то, по крайней мере, не приходится жаловаться на холод. А именно холод доставлял Гримберту наибольшее количество неудобств.

Проклятый холод. В тесной землянке, где он был заточен, не было ни кровати, ни койки, лишь дрянная лежанка из вороха гнилой соломы и жухлого тряпья, от которой было больше вони, чем тепла.

Он лишился ботфортов, но гамбезон из выделанной кожи, хоть и порядком потрепанный, остался на нем. Не потому, что среди еретиков попались благородные разбойники, понял он, просто никто из них не разобрался в хитрой системе шнурков и ремней, которые стягивали его.

Должно быть, он долго провалялся в беспамятстве, потому что ледяная земля высосала из его тела все крохи тепла, превратив в куль промороженного мяса с костяными осколками. И пусть оно казалось онемевшим, бесчувственным, вымороженным до такой степени, что не способно было чувствовать боль, Гримберт мрачно подумал о том, что в самом скором времени ему придется проверить это наверняка. Боль не ушла, она лишь затаилась и, несомненно, вернется, как только его тело оттает в достаточной мере, чтобы ощутить ее во всей полноте.

От этих мыслей было еще паскуднее, чем от холода, поэтому Гримберт пытался оттеснить их в край сознания, заняв голову более насущным, пусть и совершенно бесполезными, делами.

Ребра были отбиты так, что он едва мог дышать, слабого дыхания не хватало для того, чтоб отогреть пальцы, которые от холода превратились в скрюченные багровые когти.

Чтобы хоть немного восстановить ток крови по замерзшему избитому телу, Гримберт стал делать гимнастические упражнения. Этим нехитрым приемам его в свое время обучил Магнебод. Не для того, чтоб закалить тело, а для того, чтобы не допускать в нем застоя крови и желчи, неизбежных при долгой нейро-коммутации, пока рыцарь пребывает скрюченным внутри своей бронированной раковины.

Когда Гримберт отлынивал, старый рыцарь больно хлестал

его прутиком по спине, вынуждая активнее приседать и выше задирать ноги. «Придет время — поймешь, — посмеивался он, сам невозмутимо прохаживаясь по гимнастической зале, — Поверь, проклятье Святого Фиакра[10] испортило рыцарям больше крови, чем все кумулятивные мины лангобардов…»

Крохотная землянка была слишком мала даже для того, чтоб он мог сделать дюжину шагов, к тому же от каждого резкого движения тело наливалось болью в бессчетном множестве мест, а голова начинала паскудным образом звенеть, но он не прекращал своих попыток.

Наклон. Правый мах. Левый мах. «Турецкое седло». Маятник. Колодезный ворот.

Он делал это не потому, что упражнения приносили удовольствие, они даже почти не согревали, но потому, что стоило ему на миг остановиться, как в голову начинали лезть мысли, страшные и извивающиеся, точно мутировавшие змеевидные твари, и от мыслей этих тело цепенело, утрачивая немногие крохи сил.

Ему сохранили жизнь. Едва ли потому, что еретики, встретив упорное сопротивление, вдруг раскаялись в своей ереси, приняв своими гнилыми сердцами христианскую веру. Он вспомнил зверообразного ублюдка, что швырнул ему снегом в лицо. Такой не раскается, даже если ангелы сойдут с неба, чтоб остановить безобразную расправу над поверженным рыцарем.

Расправа не отменена, лишь отложена до лучших времен.

Но когда придет время…

Дай мне не закричать, Господи. Дай мне выдержать ту боль и то унижение, что уготовлено мне. Неважно, какие страдания уготовлены моему телу и моей душе, я пройду через них, высоко подняв голову, как подобает рыцарю. На милость еретиков может рассчитывать разве что коварный иудей или чванливый ромей, к истым христианам они безжалостны. А ему и вовсе не на что уповать.

Гримберт ощутил себя, точно рыбешка, чьи внутренности распирает зазубренный стальной крюк, выдернутая из привычного ей водоема и глотающей вперемешку с кровью из распоротого горла ядовитый для нее воздух.

Дьявол. Дьявол. Дьявол.

Нет участи хуже, чем попасть живым в плен еретикам.

Лучше бы я умер, подумал он, хватая губами холодный подземный воздух, наполненный запахом гнилого сена, сырых корней и собственного пота. Лучше бы изжарился заживо прямо в утробе «Убийцы» в пламени пробитого топливопровода. Лучше бы истек кровью от дюжины ран, оставленных вторичными

осколками. Лучше бы…

* * *

Заткнись, приказал он себе, холодно, точно приказывал капризничающему рыцарскому доспеху. Настоящему рыцарю должно сохранять христианское смирение и в здравии и в бедствии. Сколько бы боли ни силились причинить его плоти еретики в своих изуверских ритуалах, он выдержит все без стона. Чтобы маркграф Туринский, когда гонец доложит ему о кончине сына, не имел повода отвести глаза, а герцог Алафрид не дернул досадливо щекой…

О да, души маркграфов Туринских, наблюдающие за ним с небес, смогут гордиться потомком. Душ этих было чертовски много, целый сонм, про некоторых Гримберт и не помнил ничего кроме имени и названия их доспеха, но все они, без сомнения, были достойными рыцарями, знавшими цену истинному мужеству, пусть даже не всем им суждено было найти свою смерть на поле боя.

Некоторые из них окончили жизнь на императорской дыбе, оклеветанные недругами, другие пали в кровопролитных боях, выблевывая разъеденные радиацией внутренности или агонизируя с изломанными булавами позвоночником. Иным повезло больше, они окончили земные дни в будуарах любовников и любовниц, сраженные сложносоставными нейротоксинами, умертвили себя кинжалом от неразделенной любви или тихо зачахли от какой-нибудь генетической хвори.

Случались, впрочем, среди них и менее возвышенные смерти.

Так, его прадед, Хлодовех Веселый, двадцать восьмой маркграф Туринский, будучи человеком необычайного азарта, как-то побился об заклад со своим старшим рыцарем, что выпьет вместо вина полный моджжо охлаждающей жидкости из своего доспеха, равный четырем имперским литрам. И выпил, после чего еще три часа отплясывал разнузданные танцы в компании придворных куртизанок, только после этого рухнув в судорогах и скоропостижно скончавшись.

Его кузен Амальгарий, напротив, не терпел праздных развлечений и всю жизнь посвятил изучению разных наук, однако это не уберегло его от нелепой смерти. Пребывая в рассеянном состоянии души, он случайно перепутал инъекторы и впрыснул себе добрую унцию муравьиной кислоты, после чего тоже не задерживался излишне на грешной земле.

Еще кто-то из прапрадедов за именем Хильдерик, крупно

проигрался в карты одному бретонскому графу и, чтобы не платить проигрыша, решил вызвать его на поединок. План его, быть может, был и хорош, да только недостаточно продуман — он совсем позабыл, что месяцем раньше вынужден был заложить орудия своего доспеха венецианским ростовщикам, чтобы покрыть долги. Во избежание позора он приказал оруженосцам заменить их окрашенными деревянными бревнами, и те справились с работой столь мастерски, что он и сам позабыл об этом за чередой кутежей. Хильдерик испустил дух прямо на ристалищной площадке в расстрелянном доспехе и, надо думать, был бы немало удивлен, узнав, что потомки едва было не добились зачисления его в святые. То, что он не стрелял во время поединка, было сочтено признаком величайшего мужества и христианского смирения — мол, ощутив раскаянье прямо на поле боя, маркграф Туринский предпочел принять смерть во искупление своих грехов, но не сделать ни одного выстрела по противнику.

Был еще Агнетий Кварк, поддавшийся греху чревоугодия и принявший смерть от запеченной горлицы, которой и подавился в разгар обеда. Был Дроктомунд Третий, столь суеверный, что отказался удалять воспалившийся придаток слепой кишки только лишь потому, что дело происходило в день зимнего солнцестояния, на который приходится языческий праздник Йоль. Был Хлотарь Инцухт, который столь изолгался своим многочисленным любовницам и любовникам, что счел за лучшее отправиться в Крестовый поход подальше от родных вотчин, где скоропостижно и скончался, пытаясь излечить запущенную гонорею дьявольской смесью из сулемы, царской водки[11] и мышьяка.

Гримберт не знал, сколько душ его благородных предков взирает сейчас на него с небес, но был уверен, что найдет в себе силы держаться до конца так, как это подобает рыцарю. Даже если…

Ни мысленный настрой, ни гимнастические упражнения не помогли. Он думал, что сумел настроить себя на нужный лад, исполнившись кротости и смирения, но это было лишь обманом разума. В тот миг, когда он услышал скрежет наружного засова в петлях, страх вернулся, усилившись многократно, страх столь сильный, что чуть не вытряхнул его из собственной кожи, а в мочевом пузыре плеснулась с шипением раскаленная ртуть.

— Доброго дня, мессир! Сладко ли почивали?

* * *

Гримберт обмер. Зубы намертво сцепились между собой, точно затвор со стволом, и только потому не лязгнули. А впору было бы.

Но этот… Гримберт непременно попятился бы, кабы украшенная изморозью земляная стена оставляла ему возможность для такого маневра.

— Я надеюсь, вам понравились ваши покои, — вошедший захихикал, точно гиена, — Я лично подбирал их. И это было не так просто, смею заверить. Для этого мне пришлось выселить отсюда полдюжины дохлых крыс, обосновавшихся тут прежде вашего сиятельства! Так что если вас беспокоит запах, это запах их недовольства, мессир!

Это был горбун, калека, согнутый в три погибели, но, несмотря на свою немощь, он не выглядел таким же беспомощным и жалким, как туринские нищие, толпящиеся на паперти после утренней службы. Он был… Зубы Гримберта расцепились, позволив ему глотнуть воздуха. Он был жутким. Гремящим, как несбалансированный механический узел, извлеченный из двигателя, тяжело переступающим, дергающимся. Вместо зимней одежды он носил на плечах какую-то рванину наподобие плаща, почти не скрывавшую жуткого устройства его тела. А под ним…

Под плащом виднелись пласты брони, но от времени они потемнели и местами вздыбились рыбьей чешуей, обнажая жуткие потроха согбенного тела — гулко движущиеся поршни и лязгающие эксцентрики, а еще великое множество мелких деталей, которые жили своей механической жизнью, издавая жужжание, гул и скрежет. Жуткий горбун, движущийся тяжело и неловко, с грацией издыхающего индюка, был наполовину механическим существом.

Возможно, на лучшую свою половину. Та ее часть, что была от человека, находилась в еще более жалком состоянии, чем механическая. Уцелевшие участки кожи казались приклеенными к бронированной обшивке клочками сухого пергамента. Обвитые пружинами и стиснутые муфтами кости рассыхались от старости, издавая при каждом движении негромкий хруст. Остатки кишечника напоминали подвешенную внутри гирлянду из гнилых фруктов и сырого мяса.

Кто бы ни собирал эту странную машину с обильным вкраплением человеческой плоти, едва ли он замышлял ее в качестве камердинера или прислуживающего за обедом лакея, слишком очевиден был функционал, почти не скрытый лохмотьями и кусками мумифицированной кожи — хищного вида зазубренные лезвия глеф, выдвигающиеся из лап, абордажные

крючья, ржавые антенны давно не функционирующих излучателей… Без сомнения, боевая машина. Но кому вздумалось впихнуть ее в столь неподходящее тело, старое и немощное, совсем не созданное для подобной начинки?

Тюремщик хихикнул, вполне удовлетворенный произведенным впечатлением.

— Чем могу быть полезен вам, мессир? Я в полном вашем распоряжении. Сменить белье? Может, потереть спинку? Не стесняйтесь, Бога ради! Только попросите!

Горбун выставил перед собой руки — жуткие скрежещущие лапы боевой машины, походящие на пару зазубренных протазанов. Несмотря на то, что они тряслись так, что не удержали бы и стакана воды, Гримберт подумал, что заключенной в них силы должно быть достаточно, чтоб разорвать его пополам, как ветхую простынь.

Череп его ссохся до такой степени, что скальп на нем казался причудливым головным убором, присохшим к темени, щеки треснули и провалились вовнутрь, обнажая гофрированный шланг гортани, глаза же светились в глазницах двумя мутными вяло ворочающимися самоцветами. Тем более жуткой казалась присохшая к его древнему лицу усмешка — самая настоящая саркастичная усмешка, а вовсе не судорога растянутых губ, прилипших к остаткам лица.

Гримберт сразу решил, что будет молчать, когда явятся палачи. И неважно, какой подход они испробуют, обрушат на него свои оскорбления и угрозы или станут поносить Господа Бога самыми последними богохульствами, надеясь вывести его из душевного равновесия. Будет молчать, и все тут. Даже если они станут искушать его богатством, славой и всем прочим, чем обыкновенно искушают слуги дьявола попавших в беды рыцарей.

Сухой горбун, ковылявший к нему, не оскорбился этим. Напротив, вдруг подмигнул, отчего под прорехами в его лице мелькнули бронзовые пластины с вентиляционными отверстиями.

— Ну, ваше сиятельство, пожалте на выход.

Язык сдался сам собой. Подхваченный слабостью, выплеснувшейся из глубин обмороженного тела, вяло трепыхнулся во рту, породив беспомощный квакающий звук:

— К-куда?

Горбун ухмыльнулся. И Гримберт вдруг подумал, что если бы эту усмешку, состоящую из сухих желтых зубов и всаженных в челюсть стальных пластин увидели бы отцовские рыцари, запах в маркграфской зале мгновенно сделался бы таким же зловонным, как в его подземной камере.

— Известно, куда, мессир. На пруд, уточек кормить.

Лязгнув несмазанными сочленениями ног, горбун вдруг одним стремительным шагом оказался возле Гримберта. Склонился, выворачивая голову на скрипящей механической шее, так, чтоб заглянуть ему в лицо. Улыбка на его наполовину истлевшей маске вдруг превратилась в злой оскал, натянутый до треска, а лапы-протазаны зловеще хрустнули, едва не задев его подбородок.

— Вольфрам имеет желание взглянуть на свой новый трофей. И лучше бы тебе его не разочаровать. Попытайся хоть пикнуть — я выпотрошу тебя как цыпленка, а твои жилы натяну на свою старую лютню вместо струн!

* * *

Лагерь еретиков, который он представлял себе, терзаясь муками холода и неизвестности, не вполне соответствовал той картине, что открылась ему на поверхности. Точнее даже, не соответствовал ни в малейшей мере. Гримберт сам не знал, что ожидает увидеть, но воображение, отчаянно мечущееся под сводами черепа, точно запертая крыса, неизменно рисовало нечто жуткое, похожее одновременно на мрачные апокалиптические гравюры и те пошлые миниатюры из розового мрамора, что продавались в Турине из-под полы за два денье.

Зловещих идолов, сложенных из человеческих черепов и увитых пьянящими наркотическими цветами. Безудержно совокупляющихся друг с другом безумцев, пьяных от похоти и неведомых алкалоидов. Какие-нибудь жуткие, ржавой стали, зиккураты… Но увидел нечто совсем иное.

Определенно, его захватили не чемреки, не маркосеи и не монофелиты. Не патрициане, мессалинцы или гомунциониты. Это были… Гримберт не знал. Возможно, для этого еретического культа, свившего себе логово в глухом лесу, даже не существовало названия. Но выглядел он…

Это не похоже на убежище еретиков, вынужден был признать Гримберт, двигаясь за приплясывающим и скрипящим горбуном на подламывающихся ногах. Это похоже черт знает на что, но только не на убежище еретиков. Скорее на…

На походный лагерь, подумал он, оглушенный великим множеством звуков и запахов. На чертов походный лагерь не очень большой, но очень шумной и странно устроенной армии. Или даже не армии, а пестрого беспорядочного сборища, которому лишь предстоит превратиться в монолитную солдатскую массу, будучи сбитым воедино тяжелыми

сержантскими кнутами.

Здесь не обустраивали ни хижин, ни домов, зато виднелось множество походных, грубого брезента, шатров, умело замаскированных ветками и снегом. Кое-где виднелись неглубокие землянки вроде той, в которой он едва не замерз насмерть, неказистые, похожие на крохотные могильные курганы, насыпанные после Бог весть какой битвы. Костры жгли тоже с пониманием, как-то хитро и по-особенному складывая дрова, так что те почти не испускали дыма.

Их было много. «До черта», — подумал Гримберт, судорожно озираясь и ощущая на себе жгучее излучение чужих взглядов, неприязненных и тяжелых. Полсотни душ, а может, и больше, много больше. Сотня? Две? От свежего морозного воздуха кружилась голова, оттого перед глазами все плыло, сливаясь в неразборчивую пеструю картину, из которой он выхватывал лишь разрозненные фрагменты.

Аркебузы, стоящие в пирамидах, заботливо прикрытые тряпьем. Котлы с аппетитно булькающим варевом, по которым с хохотом лупят ложками едоки. Шлепки карт по отполированной колоде, перемежаемые проклятьями и звоном проигранных монет.

Ни ритуальных кинжалов из черного проклятого обсидиана, ждущих свою непорочную жертву. Ни адских алтарей, обагренных пролитой кровью. Ни…

Гримберт ощутил, как его язык медленно примерзает к нёбу, точно мокрая ветошь.

Он мог бы поверить в то, что Папа Римский по ночам облачается в куфию и тайком отплясывает с магометанами сатанинские пляски. Или в то, что колокол Брауншвейгского собора первым послеполуденным звоном излечивает глухих. Но только не в том, что этот беспрестанно жрущий, препирающийся и бездельно слоняющийся люд вокруг него имеет отношение к какой бы то ни было ереси, пусть даже самой позабытой в империи.

Можно ли представить, что эти здоровяки с исполосованными шрамами лицами, ухающие над собственными шутками, будто совы, с наслаждение греющие ноги у костров, сбросив грудой доспехи, допив вино отправятся вершить богопротивные ритуалы? Да ничуть. Скорее можно было вообразить оседланного петуха или зеленое солнце.

Вон тот здоровяк в неказистом плакарте[12], сооруженном из гусеничных траков, с лицом, навеки перекошенным после удара алебардой, можно ли представить его в робе, возжигающим на алтаре черные свечи из жира некрещенных младенцев? Скорее, в

яростной атаке, дробящим кистенем чужие черепа. Или его собеседник, статью напоминающий мула-тяжеловоза, озабоченно пытающийся грубой нитью прихватить обратно ко лбу здоровенный лоскут кожи и ругающийся при этом на зависть сапожнику — неужто он, оставив позади дневные заботы, с наступлением ночи будет возносить сложно сплетенные молитвы Бафомету? Или тот, третий, небрежными тумаками заколачивающий в землю своего недавнего партнера по картам при совершенно равнодушном отношении прочих игроков…

Это солдаты, мгновенно и безотчетно понял он. Уловил, точно сплел воедино царящие в воздухе ароматы походных костров, ружейного масла, подгорелой каши, дешевого пороха и конского навоза, мгновенно смешав их с хриплым смехом, грубыми шутками и протяжными стонами раненых.

Ему приходилось бывать в солдатских лагерях, пусть и будучи огражденным от бурлящей пехотной массы рядами маркграфских пикинеров, он безошибочно узнал этот дух, едкий, беспокойный, проникнутый запахом крови — как древней, давно впитавшейся в землю, так и еще не пролитой, однако отчетливо ощущающейся в воздухе.

Не еретики.

Это лесное воинство, погубившее его, совсем не походило на все то, что было создано его воображением в томительные часы плена.

Странный лагерь, подумал Гримберт, мучительно плетущийся вслед за скрипящим горбуном. Странный лагерь, странные солдаты, странные порядки. Нет ни боевого охранения, как это заведено повсеместно во франкских землях, ни сигнальщиков, замерших недвижимыми статуями с горнами наперевес. Где шатры офицеров и вытянувшиеся цепи личных телохранителей? Почему не слышно возбужденных вестовых, снующих по лагерю точно беспокойные муравьи?

Следующая мысль кольнула его в основание черепа тупой иглой, едва не парализовав тело. Возможно, это отряд кого-то из отцовских вассалов. Какого-нибудь здешнего графа или барона, двигающегося по своим делам да завернувшего случайно в маркграфский лес или застигнутого здесь непогодой. Его авангард принял бесцеремонно шествующего «Убийцу» за дерзкого раубриттера, промышляющего тут каким-то подлым ремеслом, и…

Гримберт сглотнул, отчаянно вертя головой во все стороны, чтобы разглядеть сеньорский герб. Хорошо бы это был граф Камерино или кто-то из его многочисленных кузенов, их всегда привечали в Туринском дворце. Или барон Лукки, обаятельный

старый миньон, похожий на мудрую седую обезьяну, которого туринские рыцари, большие шутники, за глаза прозвали Мессир Лизоблюд. Или…

Гримберту вдруг захотелось втянуть голову в плечи. Он внезапно понял, чем именно этот лагерь выделяется среди множества прочих, которые ему прежде приходилось видеть. Здесь не было ни единого герба. Мало того, все встреченные доспехи, опаленные пламенем неведомых ему битв, не имели ровно никаких обозначений, если не считать вмятин от пуль и ржавых рубцов на боках. То, что он поначалу принял за тактические обозначения, привычные на доспехах туринской тяжелой пехоты, имело не большее отношение к тактике, чем к иконописи. Это были грубо намалеванные миниатюры самого циничного, странного и оскорбительного нрава — мужские гениталии, выполненные в разных манерах живописи, но одинаково гипертрофированные, отрубленные головы, обагренные кровью топоры, голые женщины, падающие крепостные башни, языки пламени, золотые монеты…

Не сектанты, подумал Гримберт, ощущая себя маковым зернышком, плывущим меж тяжелых жерновов, которые в силах искрошить даже каменный валун. Что-то другое, совершенно чужое, но смутно знакомое, будто уже когда-то виденное или…

Нужное слово вдруг само пришло к нему. Щелкнуло, точно снаряд, вложенный в патронник сервоприводами.

Наемники. Эти люди, нашедшие укрытие в отцовском лесу, никакие не еретики, укрывающиеся от правосудия и Святого Престола. Просто наемничий сброд, по какой-то причине вынужденный зимовать вдали от теплых городов. Может, непогода просто застала их в пути или же они успели отметиться в окрестных городах так, что не особо надеялись на теплый прием — Гримберт не знал этого и не хотел знать.

Но это, черт возьми, многое объясняло.

* * *

В Турине всегда презирали наемников. Город рыцарской чести, не единожды отражавший орды лангобардов, он был достаточно богат, чтобы позволить содержать рыцарское знамя в четыре дюжины боевых единиц, не считая артиллерии, пехоты и младших рыцарей, следующих за своими сеньорами. Может, не великая рать по меркам империи, отдельные части которой стальные рыцарские ноги порой превращали в распаханную пашню, но весьма грозная сила для восточных окраин, погрязших

в пограничных стычках с еретиками.

Иногда, когда рыцарей и городского ополчения было недостаточно, отец, скрепя сердце, призывал под свои знамена наемников — ландскнехтов, галлогласов и кондотьеров. Те прибывали в Турин, словно на ярмарку, разряженные в пышные шелка, с разноцветными перьями на шляпах, щеголяющие немыслимыми украшениями и имплантами, и зачастую производили впечатление беспечных гуляк, ловеласов, краснобаев и любителей дармовой выпивки, чем солдат.

Но стоило только загрохотать над полем боя первым выстрелам, как становилось ясно, что туринская казна не прогадала, назначив им щедрую плату. В бою наемники зачастую демонстрировали больший пыл, чем самое воодушевленное христианское воинство, которому епископ пообещал райское блаженство сразу после мученической смерти на лангобардских пиках.

И только в бою делалось очевидным, что разноцветные щегольские шелка укрывают под собой закаленную сталь. Ощетинившиеся аркебузами, цепи наемников оставались незыблемы даже под градом вражеских снарядов, а ванадиевые пули без промаха били на двести метров, разя вражеские доспехи в уязвимые места и приборы наблюдения. Даже венецианские аркебузиры, признанные мастера огневого боя, иной раз вынуждены были отступать, столкнувшись с яростью наемных отрядов. Не боящиеся ни Бога, ни черта, не чтящие ничьей чести, кроме своей собственной, охочие до золота, по части кровожадности способные дать фору самым изуверским еретикам, на поле боя наемные части зачастую вершили страшные чудеса, которые святые отцы не спешили внести в церковный информаторий, ибо попахивали те отнюдь не елеем.

За обитателями многочисленных восточных марок и графств Франкской империи давно и небезосновательно закрепилась слава гордецов, чтящих традиции предков превыше здравого смысла, и беззаветных рубак, что намертво срослись со своими рыцарскими доспехами. Но когда небо застилало пороховым дымом, возвещая наступление черных дней и очередное нашествие варваров с востока, редкий владетель считал зазорным заручиться помощью наемников.

Велеречивые каринтийцы, известные своими несокрушимыми пехотными терциями, самоуверенные фриульцы, большие знатоки по части дальнобойных орудий, даже веронцы, достигшие совершенства по части тяжелых штурмовых доспехов — все они призывали на помощь наемников, когда становилось очевидно, что дело оборачивается скверно.

Не потому, что те были неодолимой силой — нет ничего, что нельзя было бы смять при помощи огнеметов и комбинированного фугасно-осколочного огня — а потому, что они обладали еще одним особенным качеством, за которое и ценились более всего.

Наемники не бежали.

Никогда, ни при каких обстоятельствах. Что бы ни творилось вокруг, их боевые порядки оставались незыблемыми, как волнолом, преграждающий путь бушующему морю, паникеров же они судили собственным судом, скоротечным и жестоким.

Гримберт знал много тому подтверждений. Семь лет назад граф Вермандуа и герцог Геристальский сошлись в смертельном противостоянии, не поделив несколько провинций почившей Карантанской марки. Дело меж сеньоров обычное, но в тот раз кто-то из них произнес в перепалке несколько лишних слов, расплатой за которые стали три года опустошительной войны, обескровившей северные графства лучше, чем удар ножом в брюхо посреди пьяной драки.

Генеральное сражение произошло под Карнбургом и впоследствии стало известным как Три Пьяных Креста. Канонада грохотала восемь дней подряд, с такой неистовой силой, что ангелы Господни, должно быть, метались на небесах, теряя перья, вообразив, будто пропустили приближение Страшного Суда. К исходу восьмого дня окровавленные остатки армии графа Вермандуа, израсходовавшие последние силы в самоубийственных контратаках, обратились в беспорядочное бегство, неудачно названное сменой диспозиции.

Уцелевшие рыцари графа, броня которых была изъязвлена вражескими снарядами, уходили на юг, устало огрызаясь пулеметным огнем. Боевые трициклы беспомощно чадили в воронках, похожие на туши исполинских стальных быков. Гвардия бежала прочь, побросав запасы пороха и забыв про арьергард. Остались только наемники — две сотни душ из «Ржавой компании» капитана фон Штерца. У них не было ни тяжелого вооружения, ни рыцарских доспехов, только загадочный кодекс чести — и пороха на три часа плотного боя.

«Ржавая компания» отбивалась под Карнбургом четыре полных дня. Окруженная, истерзанная огнем, смятая бомбардировками и ядовитыми газами, она непостижимым образом воскресала с началом каждой новой атаки и вновь вставала в боевые порядки с примкнутыми к стволам байонетами. Когда с ними наконец было покончено, герцог Геристальский, говорят, лично похоронил в земле горсть праха, что осталась от капитана фон Штерца, и приказал возложить на этом месте

мраморную плиту со словами: «Только стальному человеку ведома цена золота».

Сотня тяжеловооруженных галлогласов лорда Селкирка, известная в миру под бахвальским названием «Штопанные гульфики», полегла в полном составе на Оркнейских островах, превратившись в кровавую накипь в волнах прибоя — в тщетной попытке остановить высадку берберских сил. Это вызвало у безбожников такое уважение, что еще многие годы самым популярным амулетом среди их варварских военачальников оставались зубы и костяшки лорда Селкирка, оправленные в серебро, а его глаз, заключенный в стеклянный сосуд с консервирующей жидкостью и инкрустированный рубинами, носил на груди сам Аль-Мансур ибн Хаммад, Черная Секира Севера.

Сборный отряд «Татцельвурм», собранный из ландскнехтов со всех Альб, принял свой последний бой на перешейке Эшель, встретив лавину рыцарей такой ожесточенной пальбой из серпантин, которые переносили по горам на руках, что одних только маркизов и графов настреляли больше, чем воробьев в крестьянском огороде. Когда ландскнехтов втоптали в холодный камень Альб, их раненый вагенмейстер поджег оставшиеся запасы пороха — и устремившаяся со скал лавина камня и льда стерла без следа и победителей и побежденных. Насколько было известно Гримберту, у этой их безвестной победы даже не осталось имени.

Наемники всегда сражались до последнего. Не потому, что чтили данные нанимателю клятвы, им зачастую и клясться было нечем, кроме своих шпор. Не потому, что испытывали в бою религиозный экстаз или ненависть к противнику — они с равной охотой поднимали на пики представителей всех известных конфессий, деноминаций и культов. Это было принципом цеховой чести, своеобразной круговой порукой. Если наемники побегут, оставив боевые позиции, неважно, чем закончится бой и какое название он получит впоследствии, важно то, что об этом узнает сеньор-наниматель. И в следующий раз уже не заключит с ними договор-кондотту, оставив их семьи умирать с голоду в горах. Дурная слава более прилипчива, чем сифилис, один раз ее заработав, можно скитаться по миру до конца дней и все равно не избавиться от ее гнилостного запаха.

Маркграф Туринский, безупречный рыцарь и защитник христианской веры, беззаветно чтивший рыцарскую честь, вполне сознавал силу наемников и не колеблясь усиливал свою рыцарскую дружину несколькими сотнями профессиональных ландскнехтов, если к тому принуждала необходимость,

предпочитая отряды из квадских племен — те славились особенной дисциплиной на поле боя.

* * *

О том, что он здесь не гость, а пленник, ему напомнили неожиданно, но вполне доходчиво. Стоило ему случайно замедлить шаг, разглядывая это удивительное место и его обитателей, как ковыляющий горбун, секундой раньше казавшийся дряхлой развалиной, одним шагом покрыл разделявший их туаз и ткнул его пальцем в живот. И пусть палец этот состоял из полуистлевших костей и ржавого металла, Гримберт захлебнулся от боли — точно в диафрагму ему вогнали полновесный пилум.

— Живее, ваше сиятельство! — прокаркал старик, щелкнув древними зубами, — Негоже заставлять ваших слуг ждать! А попялиться по сторонам еще успеете, будьте покойны. Под виселицу вам самый высокий дуб в лесу приспособим, оттуда, сверху, далеко видать! До Аахена, мож, и не доглянете, а до Турина запросто!

Солдаты вокруг костров встретили эту сцену без малейшего сочувствия, напротив, одобрительным ворчанием и смехом.

— Так ему, Железный Паяц! Задай трепку!

— Откуси ему пару пальцев, увидишь, враз живее станет!

— Хер ему, а не виселицу. Петеру имперской пулей хребет сломало что лучину, всю ночь корчился, пока не помер. А этому, значит, виселицу? Не пойдет!

— Сюда его! У нас и угольки свежие! Набьем ему рот, чтоб дым из ушей пошел!

— Копченые перепелиные язычки! Как во дворце каком, ты подумай!

— Давай-ка его к нам, в шатер! Ишь какой чистенький цыпленочек, точно из курятника удрал. Ни тебе единой оспины! Клянусь, он и пахнет, небось, не дерьмом и потом, как некоторые, а сплошь туалетной водой и розовыми духами. Ей-Богу, одолжи его нам на полчасика, Паяц! Что тебе? Все равно кончать будете, а так хоть повеселит напоследок!..

Кто-то шагнул в их сторону от костра. Кто-то с усмешкой поелозил кинжалом в ножнах — вроде и в шутку, но с недобрым прищуром. Кто-то сделал вид, будто расшнуровывает шоссы, готовясь их стащить.

Скрежещущий костями старик вдруг подбоченился и полоснул по весельчакам таким взглядом, что те враз потеряли

запал, а некоторые даже машинально отодвинулись от него подальше, не обращая внимания на едкий дым походных костров. Чувствовалось, что эта ржавая развалина, нелепо семенящая, дергающаяся, скрипящая изношенными поршнями и суставами, пользуется в кругу этого странного воинства значительным авторитетом, против которого не рискнут идти даже эти опаленные огнем и клацающие зубами псы. Неужели он их вожак, а вовсе не тот здоровяк в звериных шкурах? Эта развалина, которую кличут Паяцем? Но…

— Этот цыпленок — собственность Вольфрама. Попробуй только клацнуть зубами против его воли, Франц, и я разорву тебя как тряпку, а после поссу на твои корчащиеся кишки.

— Ну тебя к дьяволу, Паяц, — буркнул тот, на котором остановился взгляд горбуна, враз теряя и в размерах и в грозности, — Совсем котелок проржавел, вот шуток и не понимаешь…

Железный Паяц вдруг захихикал, отчего в его утробе задребезжали какие-то вживленные в разлагающуюся плоть детали.

— Шуток? Это я ли не понимаю шуток? Когда я шутил, графья катались по полу как малые дети, а один герцог даже изволил обмочить панталоны со смеху, когда я показывал императорского камердинера. Это я не умею шутить, Франц? Ну-ка подойди поближе и я покажу тебе отменную шутку. Хочешь знать, какую? Я оторву тебе естество вот этой самой рукой, а потом отправлюсь к твоей жене, если во всем мире существует тупица, согласная именоваться твоей женой, и поднесу ей его с букетом из астр и фиалок! Ну, как тебе шуточка?

Калека смеялся как оглашенный, ударяя себя по ляжкам и ударами этими едва не высекая искру из вросшей в плоть брони. Он не играл на публику, понял Гримберт, ему и в самом деле это казалось чертовски, уморительно смешным.

— Катись к черту, Паяц. И цыпленка своего прихвати, пока ему шею не скрутили. Но если Вольфрам думает, будто…

Калека не удосужился сделать вид, будто собеседник интересует его хоть в какой-то мере. Рыкнул на Гримберта и зашагал, даже не оборачиваясь, в полной уверенности, что пленник беспрекословно следует за ним.

* * *

Шатер, к которому вел его скрипящий старикашка, был, как будто, больше прочих, однако тоже не имел ни штандартов, ни

знамен — кажется, это лесное воинство не ощущало необходимости в подобных символах.

— Внутрь, — хрипло приказал Железный Паяц, — Не то ребра вырву.

Гримберт стиснул зубы. Полог в шатре был устроен таким образом, что ему пришлось низко склониться, чтобы протиснуться внутрь, и это, хотел он того или нет, чертовски напоминало поклон.

В крови, несмотря на холод и страх, вскипели, обжигая вены, крошечные огненные фракции. Маркграфам Туринским особым императорским эдиктом, выданным при жизни его прапрапрадеда, даровалась вольность склонять голову лишь перед императорской особой и никем более. Вольность, в нынешние времена ставящая их выше иных герцогов и досточтимых прелатов. Склонить голову перед каким-то разбойничьим царьком, хитростью и подлостью одолевшим его, казалось еще более позорным, чем бежать из боя, сидя внутри едва передвигающего ноги «Убийцы».

Смирись, шепнул он себе мысленно. Ты еще не знаешь, с чем столкнулся. Быть может, впереди тебя ожидает нечто куда более скверное, чем необходимость склонить голову перед бандой лесных разбойников…

— Вот он, — буркнул за его спиной Железный Паяц, — Как просили.

От царящего внутри шатра тепла у него мгновенно закружилась голова, точно в нее, твердую и хрупкую, как высушенная тыква, вдруг запихнули смоченный в эфире огромный ком сладко пахнущей ваты. По телу поплыли флюиды слабости, тяжелые, как валуны и мягкие, как шерстяная пряжа. Если бы не стальная лапа проводника, тряхнувшая его так, что во рту с костяным звуком клацнули зубы, он бы беспомощным лягушонком шлепнулся на пол, блаженно теплый и, кажется, даже покрытый какой-то дерюгой.

От этой слабости глаза вдруг застило слезами, сквозь которые он почти ничего не разбирал, одни только плотные тени по углам. То, что эти тени были не предметами обстановки, а людьми, он понял не зрением, а каким-то иным чувством. Должно быть, тем же, которым верный «Убийца» ощущал на своем корпусе излучение вражеских лазерных дальномеров, подсвечивающих цель. Это взгляды, понял он. Пристальные взгляды, устремленные на него со всех сторон. Разглядывают. Молча, но внимательно, пристально.

Нельзя выдавать своей слабости, понял он, отчаянно пытаясь сморгнуть невесть откуда берущиеся на замерзших глазах слезы.

Ни в коем случае нельзя. Все эти разбойники, городские ли, лесные ли, сродни животным, чужую слабость чуют безошибочно. И растерзать могут в мгновение ока, иной раз даже без причины, от одного только куража.

Только эти едва ли сразу растерзают. Эти, безусловно, хитры, раз уж догадались устроить засаду, в легкую перемоловшую две боевые машины. И то, что они исповедуют христианскую веру, а не кровавые культы невесть каких богов, не делает его участь ощутимо лучше.

— Вялый он какой-то, — буркнул мужской голос из дальнего угла, тяжелый и сухой, будто войлочный, — Едва ноги тащит. Кабы не сдох, щуренок…

— Вялый — это он от холода, — с готовностью пояснил другой голос. Хозяин которого, судя по шумной одышке, был обременен многими стоунами лишнего веса, — Это пройдет.

— И бледный, как сифилитичный шанкр.

— Ерунда! Видел бы ты, любезный Бальдульф, какими бледными и вялыми были кроаты под Зарой, когда мы их позиции семь лет назад в ночь перед штурмом газом залили. Славный был газ, иприто-дифосгеновая смесь, сам епископ Пьяченцы освятил, не побрезговал. Вот также само ползали, вялые как слизни и белые что Папская сутана. Потом у половины животы полопались, ну и смрад же там стоял! А остальных мы, значит, цепами…

— Смрад здесь и сейчас стоит, — отозвался первый голос, ничуть не более миролюбиво, — только от тебя самого, Бражник. Хоть нос отрезай! Опять в твоем хозяйстве что-то прохудилось, видать…

Замечание было грубым, но уместным. Атмосфера в шатре в самом деле стояла удушливая, едкая, тяжелая, точно в погребе, и Гримберт поблагодарил свой только оттаивающий нос за то, что тот пока не может разобрать и десятой доли царящих здесь ароматов. Как крысиное логово, ей-Богу! Пахло несвежей пищей, плохим маслом, плесневелым брезентом, ружейной смазкой, дешевым свечным воском, потом, еще чем-то…

Гримберт привык к тому, что в шатрах пахнет миррой, сандалом и ароматическими маслами, которые слуги заблаговременно разжигают в курильницах. Иногда еще гашишем, вином и медом от арабских сладостей, к которым был неравнодушен отец. Посторонние запахи в маркграфский шатер не допускались, несмотря на то, что шлюзами он оборудован не был, для этой цели имелись слуги и специальный распорядитель, надзирающий за протоколом даже во время боевого похода. Нечего и думать было проникнуть внутрь, будучи одетым неподобающим образом или испуская телесные зловония любого

свойства.

Как-то раз, говорят, отцовские слуги не пропустили внутрь походного маркграфского шатра самого Магнебода — за то, что тот заявился, будучи одетым в пропотевший рыцарский гамбезон. Оплошность старого рыцаря была понятной — он явился прямиком с поля боя. В ту пору шло как раз одно из завершающих сражений в цепи битв, ставших известных как Проклятая Мельница, Магнебод потерял пяток верных рыцарей на минном поле, вдобавок его правый фланг крыли беглым огнем еретические полевые орудия, причиняя изрядное опустошение в рядах наступавших. Впавший в бешенство Магнебод, пытавшийся получить у маркграфа резервы и тем исправить свое отчаянное положение на поле боя, выхватил лайтер и превратил в пепел пятерых излишне настойчивых слуг разом.

— Виноват, — отозвался отдышливый толстяк, все еще невидимый в темноте, — Кажется, у меня селезенка протекла. Никак не могу законопатить чертову щель, вар ее совершенно не берет. Может, если гусиным жиром… Что до мальчишки, любезный Бальдульф, я думаю, вы же сами и виноваты. Приложили его своей ручищей, точно забойщик колотушкой, а это отрок, не годовалый бычок, вот у него мозговые жилы и полопались от сотрясения. Не удивлюсь, если у него пойдет ушами кровь и он издохнет прямо тут, у нас на глазах.

— Ударил бы сам, раз ученый! — огрызнулся его собеседник, — Ах да, я забыл, для этого тебе требовалось по меньшей мере очутиться рядом, вот только грузовые телеги, способные выдержать твой вес, вязнут в глубоком снегу!..

Толстяк обиженно засопел, но возразить не успел.

— Он точно помрет, пока вы спорите, — голос вмешавшегося в перебранку был негромким, но звучным и обладал странной мелодичностью, свойственной скорее музыкальной шкатулке, чем мужчине, — К слову, выглядит он на удивление сносно. Да, оглушен и порядком изморожен, но отнюдь не смертельно. Что скажете, моя дорогая?

К удивлению Гримберта, ответила ему женщина.

— Фенотип как будто в пределах нормы, — сухо произнесла она, — Два глаза, череп не деформирован, пальцев не больше положенного. Неплохо. Я бы сказала, даже удивительно для мест, в которых даже баронские дети частенько щеголяют жабрами или лишней парой глаз.

Если его кровь так же чиста, как и его кожа…

— Ваше мнение, госпожа блудница?

— Двести денье серебром, — спокойно произнесла женщина, — Возможно, целый флорин, если он еще не вступил в

пору фертильности, такой товар у подпольных лабораторий пользуется большим спросом. Выплеск юношеских гормонов сильно сказывается на качестве донорских тканей.

* * *

Он не видел лиц говоривших, лишь едва различимые силуэты, скрытые царящим в шатре полумраком. Оттого, может быть, отчаянно вслушивался в голоса, пытаясь вообразить их обладателей. Чертовски непростое занятие. Голос женщины тоже был странного свойства. Он звучал глухо, со странной вибрацией, точно пропущенный через сложно устроенный диффузор.

— Флорин… — задумчиво пробормотал тот, что с музыкальным голосом, — Выходит, двести сорок денье?.. Немного за столь чистый образец. Готов поспорить, за вчерашний день мы истратили больше на один только порох.

— Ничего не поделать, виконт — возраст. Будь он младше на пару лет, было бы лучше. Один мой знакомый, содержатель «Аргентум Руссус[13]» из Амальфи, легко выложил бы за него в восемь раз больше.

— Какая-то секта? — осведомился толстяк, досадливо сопевший оттого, что его небрежно вытеснили из разговора, — Знавал я в Амальфи одну забавную ложу, вышедшую из бывших лукианистов, члены которой возносили молитвы, не поверите, жареной утке…

— Это не секта, — кратко отозвалась женщина, — Это публичный дом, господин Бражник. И неплохой, насколько мне известно. Его посещают многие придворные особы, даже герцоги. Инкогнито, разумеется.

Толстяк, именуемый Бражником, издал пренебрежительный смешок.

— Ну, этот-то едва ли придется кому-то по вкусу. Я думал, в Амальфи хватает своего товара.

— «Аргентум Руссус» хватает мяса для случки, — отозвалась собеседница и Гримберт вдруг ощутил, что она улыбается, — Смею заверить, на любой вкус и любого возраста. Каждую осень перед его черным входом выстраивается очередь в три арпана длиной — это окрестные пейзане, подсчитав небогатый урожай, тащат за руку своих юных отпрысков, намереваясь сдать их в обслугу, хотя бы и за бесплатно. Для многих из них это хоть какой-то шанс пережить голодную зиму. Нет, господин Бражник, у «Аргентум Руссус» в распоряжении больше мяса, чем у многих городских мясников. И куда более свежего, замечу.

— Тогда к чему…

— Этот удивительно чистый. Готова поспорить, он вскормлен на настоящей пшенице и молоке, а не на протеиновой крупе, замоченной в фонящей радиацией воде. Из таких получаются хорошие херувимы.

— Ты имеешь в виду розовощеких пухлозадых ангелочков с луками, которые…

— В «Аргентум Руссус» есть свой штат херувимов. Что-то вроде изюминки заведения. Высший шик. Для этого лучше всего подходят дети, из тех, что не вошли в пору фертильности. Специально нанятые коновалы выжигают им часть нейронов, после чего пичкают гормональными блокаторами и лошадиными дозами серотонина. А еще орудуют острыми ланцетами, возвращая их телам младенческие черты и пропорции. Через полгода из них получаются хорошенькие маленькие ангелочки, играющие друг с другом, смеющиеся и озорничающие.

Толстяк поперхнулся.

— Вот уж чего придумают господа в Амальфи… Что ж, уверен, это здорово оживляет обстановку.

— Клиенты довольны, — сухо заметила женщина, — Правда, задавленный подобного рода вмешательством интеллект остается на уровне комнатной канарейки, но едва ли это кого-то заботит. Херувимам и полагается быть беззаботными, ведь так?

— Но он…

— Да. Слишком стар и уже сформировался. Он бесполезен.

— Готов, поспорить, он из баронских сынков, — произнес кто-то, сидящий поодаль, — Здесь в округе полно таких. Их любимое развлечение, пока папашки пялят служанок в свинарнике, сколотить небольшую банду из себе подобных, заполнить под завязку боеукладку и искать приключений по округе. Разорить соседнюю деревню, расстрелять шутки ради ярмарку, вытоптать посевы…

Разбойник с мелодичным голосом, которого прочие называли виконтом, но который едва ли мог претендовать на этот титул, понимающе хмыкнул.

— Мне знакома эта порода. Такие даже до войны обычно не доживают. Тонут вместе с доспехом где-нибудь в болоте или разносят друг дружку в клочки на какой-нибудь никчемной дуэли. Если ему и суждено вырасти, он сделается раубриттером. А этого дерьма по нынешним временам и так больше, чем нужно…

— По крайней мере, за него можно получить выкуп.

— Какой? Колесо от телеги и старую шляпу?

— Кем бы ни был его папаша, он смог позволить рыцарский

доспех своему крысенышу. Так что добавь по меньшей мере половину коровы.

— В таком случае я буду столь щедр, что поделюсь с тобой хвостом от нее!

— Оставьте что-нибудь и господину Олеандру!

— Скорее я поверю в дождь из розового масла, чем в то, что Олеандр Бесконечный заинтересован в выкупе! Этот святоша и верно вознамерился живым войти в Царствие Небесное!

— Тогда я претендую на его долю. И черт бы меня побрал, если я собираюсь получить меньше двух флоринов! И половину коровы можете оставить себе, может, она сможет утешить тебя, когда Орлеанская Блудница лишит тебя своей милости!

— Ты ревнуешь, Бражник? Скажи на милость! Когда ты скулишь, то делаешь столь жалок, что мне невольно хочется одарить своей милостью и тебя! Вот только незадача, даже если сумеешь найти контейнер со своим хером, наверняка окажется, что тот давно изгнил или его сожрали мыши!

Они принялись переругиваться, порыкивая и ворча, точь в точь как волчья стая, в которой каждый из хищников силен и опасен, но недостаточно уверен в своих силах, чтобы бросить открытый вызов всем прочим. Однако Гримберт уже не вслушивался в поток едких подначек, грубоватых острот и насмешек. Не потому, что пытался пробудить все чувства обмороженного, едва держащегося на ногах, тела, а потому что в голову ему пришла мысль.

Они не знали, кто он. Эти дьявольские стервецы, уничтожившие двух рыцарей, даже не понимали, кого изловили. Неудивительно. Всякий рыцарский доспех, владельцу которого впору пить вино, а не молоко, имеет на своей броне множество символов и отметок, которые внимательному наблюдателю расскажут более, чем цифровая сигнатура и базы данных, а для знатока рыцарских традиций и вовсе послужат увлекательной повестью о всех приключениях, которые доспех пережил за несколько сотен лет.

Герба и вензеля сеньора, клейма мастеров, тактические обозначения его знамени и места в нем, сложно устроенные инсигнии, каждая из которых — короткая повесть о битвах и сражениях, в которых ему довелось побывать… Ничего этого на броне «Убийцы» и «Стража» не имелось — в Турине считалось зазорным украшать учебные машины. Если их с Аривальдом доспехи и несли какие-то обозначения, то только лишь небольшие гербы Туринской марки на лобовой броне, да и те, наверно, сделались нечитаемыми после многократных сокрушительных попаданий, скрывшись за копотью и вмятинами.

К тому же и гамбезон на самом Гримберте был обычный, дубленой кожи — Магнебод не терпел, когда его ученики облачались в модное, скроенное придворными портными, одеяние из углеродных волокон и полимеров, приучая своих воспитанников к простоте.

Скособоченный старик, чьи старые кости трещали от количества врощенной ржавой брони, внезапно издал резкий колючий смешок и сплюнул себе под ноги сгусток мокроты, больше похожий на пятно отработанного масла.

— Ну вы, вороньё! — лязгнул он насмешливо, обводя собравшихся в шатре взглядом тусклых мертвых глаз, — Закончили трещать? Смотреть на вас тошно, ну точно кардиналы на церковном клире. Всё уже промеж себя поделили? И шкуру и душу? Свою долю не прошу, старому шуту уже не много в этой жизни надо. А долю Вольфрама, благодетеля своего, не позабыли ли часом?

Зрение почти пришло в норму, но Гримберт все равно вздрогнул, когда услышал голос, донесшийся до него из полумрака. Новый, из числа тех, что не участвовал в перебранке. И тогда сделалось очевидным, что людей в шатре больше, чем он представлял. Не только сопящий толстяк, сереброголосый «виконт», странная женщина, отменно разбирающаяся в публичных домах, и угрюмый тип по имени Бальдульф. Все это время с ними был кто-то еще. Кто-то, кто не вмешивался в разговор и все это время наблюдал за Гримбертом исподтишка. У Гримберта вдруг заныли оттаивающие жилы. Едва лишь этот человек заговорил, как все прочие голоса в шатре почтительно стихли.

— Не стоит волноваться за меня, ржавый дядюшка. Вольфрам Благочестивый, может, не так силен и хорош, как в молодости, но все еще способен постоять за свой кусок пирога. А теперь подведи ко мне нашего юного гостя.

* * *

Железный Паяц, скрежетнув челюстями, толкнул его в спину. Тычок был не очень сильным, но Гримберт едва не упал, до того онемели ноги.

— Прояви больше почтительности, дядюшка, — укоризненно попросил таинственный Вольфрам, — «Смиренным Гиенам» позволительно в бою забывать про вежливость, но я трижды ударю ножом в грудь того, кто скажет, будто мы забыли о гостеприимстве.

Железный Паяц клацнул зубами так, что жалобно звякнули разболтанные шарниры его челюсти, облеченные остатками сухой плоти.

— Гость? Гость?! Открой глаза, Вольфрам! Этот гость не далее как вчера со своим дружком исполосовали твоих людей, как палаческая плеть спину! Мой отряд потерял по меньшей мере дюжину, еще шестеро истекают кровью как герцогиня после брачной ночи!

— Моим вчера тоже крепко перепало, — поспешил вставить сопящий и булькающий Бражник, которого Гримберт уже научился узнавать по голосу, — Одну серпантину как корова языком слизала и еще две повреждены. Если бы не преподобный Каноник с его дьявольской Греттой, нам бы всем перепало на орехи…

— Тише, — Вольфрам поднял руку, и оба мгновенно умолкли, — Не станем портить доброе знакомство взаимными претензиями и упреками. Подойди ближе, дитя мое, не бойся. Эти люди могут выглядеть грубиянами, незнакомыми с хорошими манерами, но это простительно людям нашего ремесла. Они мои преданные офицеры и если тот сброд, которым мне приходится командовать, еще не приколотил Вольфрама Благочестивого к ближайшему дубу, то только лишь их стараниями.

Гримберт осторожно шагнул вперед. Он уже отчетливо видел Вольфрама и теперь удивлялся, как мог не заметить его сразу, в шатре тот занимал не так уж мало места, к тому же, располагался на почетном месте в самом его центре, на лежанке, устроенной из звериных шкур и пышных перин.

Он был… Гримберт всегда терялся, когда ему приходилось описывать внешность человека, к тому же взрослого, давно прошедшего пору цветения, как изъяснялись туринские миннезингеры. Иметь дело с доспехом куда проще, всем известно. Даже самый неуклюжий язык уж как-нибудь извернется, чтобы описать общую компоновку, устройство бронекорпуса, тип ронделей и шлема, вооружение, ходовую часть…

Вольфрам Благочестивый не был молод, это он мог сказать с уверенностью. Но, кажется, не был и стар. По крайней мере, плоть на его лице еще не пошла складками, как у придворных стариков, и не скрывала под густым слоем пудры густых венозных соцветий. С другой стороны… Дядюшка Алафрид, герцог де Гиень, выглядел не сильно старше отца, но Гримберт знал, что лет ему больше, чем многим церквям в Турине, лет полтораста, не меньше. Это была заслуга не его генетической линии, скорее, императорских лекарей — Алафрид входил в силу при дворе и скоро, как поговаривали, должен был принять из рук владыки

титул императорского сенешаля…

Лицо у Вольфрама было невыразительное, тяжелое, без тех тонких черт, что, будучи улучшенными скальпелями и сложными нейро-декоктами, свидетельствуют об аристократичности рода. Он и не был аристократом, на месте своем возлежал в небрежной позе, отставив пустой кубок, и если на кого и походил, то не на предводителя разбойничьей шайки, а на почтенного торговца, умаявшегося от праведных трудов. Ни богатой одежды, ни выставленных напоказ украшений — простой потертый камзол, шоссы из грубой некрашенной шерсти, теплый колпак на голове.

Не разбойник, подумал Гримберт, не зная ни как вести себя, ни что говорить.

Разбойников он видел в Турине, когда тех по воскресеньям выводили на помост подручные палача, прежде чем разорвать на гидравлической дыбе. Обычно это были озлобленные типы самого неприятного вида — скрюченные, злобно косящиеся на улюлюкающую толпу, украшенные варварскими татуировками, богохульствующие… Проходило немало времени, прежде чем палач, используя свои многочисленные умения, заставлял их преисполниться христианским смирением, чтобы спокойно воспринять свою участь. Но пока их тела сохраняли способность двигаться, а глаза — видеть, они казались исчадиями Ада, смертельно опасными даже в кандалах.

Этот… Этот не был таким.

— Добро пожаловать под сень нашего лагеря, — Вольфрам доброжелательно кивнул ему, — Наверно, мне стоит начать с извинений. Судя по всему, произошла ошибка, и весьма прискорбная. Я бы даже сказал, мы с вами оба стали участниками одного чудовищного недоразумения, мессир.

Мессир. Одно это слово сделало больше, чем благотворное тепло, наполняющее жилы Гримберта. Враз придало сил и дало возможность стоять не шатаясь. Может, он был несопоставимо более юн по сравнению с этими сварливыми псами, нашедшими убежище в отцовском лесу, может, не выстоял бы в поединке на отточенной стали, не сравнился в жизненном опыте, но он был рыцарем — и они это сознавали.

— Недоразумение? — Гримберт хотел вложить в это слово едкий сарказм, но оно выбралось через сведенные зубы вялым и похожим на подыхающую мышь, — Мой оруженосец погиб! Мой доспех уничтожен! Мой…

Вольфрам прижал руку к груди. Рука эта не была пухлой, как у многих придворных или духовных лиц, но не была и грубой, как у молотобойцев или солдат. Обычная мужская рука, обычные пальцы без видимых дефектов, украшенные парой недорогих

медных колец.

— О нет, мессир. Ваш спутник не погиб. Он страдает от многих ран, это верно, но делает это с мужеством, достойным рыцаря. Уверен, мы в силах поставить его на ноги. Что же до вашего доспеха… Если не ошибаюсь, его как раз сейчас осматривает Преподобный Каноник. Он заверил меня, что повреждения значительны, но многие из них вполне поддаются ремонту в походном лагере.

Аривальд жив. Сердце, уже привыкшее было размеренно биться, вдруг суматошно заколотилось в груди, точно двигатель на холостых оборотах, чьи патрубки оказались забиты.

Жив! Жив! Жив!

Вальдо, чертов хитрец, я постарел на полсотни лет за эту ночь, воображая твои муки, а ты… Гримберт едва было не рассмеялся от облегчения. Такого чувства легкости во всем теле он, кажется, не испытывал даже на пороге исповедальни. Точно с его тела стряхнули сотни квинталов мертвого железа разом.

Аривальд, мерзавец ты этакий! Черт возьми, я забуду все те упреки, что ты говорил мне, всю твою невыносимую дерзость, я даже сыграю с тобой в твои чертовы шахматы, я…

— В сущности, ему повезло, — Вольфрам сдержанно улыбнулся, — Наша Гретта обладает очень тяжелым характером, мессир, обычно одно прямое попадание превращает крепостные ворота в труху. А уж если придется в рыцарский доспех…

Этот выстрел должен был смять меня, подумал Гримберт. И смял бы, кабы не Вальдо.

— Ваша… Гретта?

— Тяжелая осадная мортира. Гордость нашего Преподобного Каноника. Видели бы вы, мессир, как он чахнет над нею все свободное время, ну прямо мать над колыбелью дитяти, — Вольфрам усмехнулся, — А теперь позвольте сгладить то скверное впечатление, которое мои дьяволята успели на вас произвести. «Смиренные Гиены» стяжали славу во многих уголках империи, но только не знатоков хороших манер и придворного этикета.

— «Смиренные Гиены»?

— Мы рутьеры, мессир. И это наш вольный отряд.

* * *

Рутьеры. Слово было колючим, не из тех, что приятно катать по языку.

Он даже не сразу вспомнил его смысл. Тот медленно

пробивался на поверхность, как сухой корень, растущий в глинистой земле. Да, он слышал это слово, и не единожды. От отца, от Магнебода, от Алафрида. И судя по тому, с какими интонациями оно обычно произносилось, ничего доброго это слово не несло.

Раубриттеры. Разбойники. Вольные грабители, воображающие себя солдатами.

Обычных разбойников в Туринской марке хватало во все времена. Чаще всего эта погань пряталась поглубже, не доставляя особых неприятностей. Резала глотки спешащим на ярмарку купцам в глухом лесу, грабила погонщиков скота, спешащих сбыть свой товар, иногда устраивала дерзкие налеты на небольшие деревеньки, спеша урвать свое прежде, чем нагрянувший рыцарский разъезд передавит их, точно крыс.

Они никогда не причиняли чрезмерно много неприятностей, в городах им противостояла обученная стража, в полях и лесах — егеря и разъезды, а Туринская казна исправно платила за их поимку. Поднимать голову они осмеливались лишь в те времена, когда отец вынужден был стягивать все силы на восток, чтобы отразить очередной набег лангобардов. Чуя безнаказанность, разбойники вылазили из нор, но пировали обыкновенно недолго. У них не было ни сообразительности, ни толкового оружия, ни общности, так что все подобные вспышки обычно быстро тухли, не порождая пожара.

Другое дело — рутьеры.

Особая каста в разбойничьей братии, к которой прибивались самые прожженные головорезы, слишком жадные, чтобы зарабатывать на жизнь честным трудом и, в то же время, слишком хитрые, чтобы поджидать добычу с цепом на дороге, как их примитивные собратья.

Подражая кондотьерам, профессиональным наемникам, эти сбивались в банды, которые самоуверенно именовали отрядами или вольными командами, выбирая себе предводителей из их же числа и названия — столь дерзновенные и цветастые, как парадные облачения ландскнехтов. Они не искали славы, хоть и именовали себя защитниками христианской веры, они не занимались грабежом, хотя их методы обыкновенно именно к грабежу и сводились. Они просто занимались своим ремеслом, к которому были приучены и в котором недурно разбирались.

Их ремеслом была война.

Рутьерские отряды кочевали по империи, влекомые запахом гари и пороха — тем самым, что всегда сопутствует всякой резне, будь то баронский мятеж, сеньорская грызня или осада вольного города, чей магистрат стал не в меру многое себе позволять. Их

манила война, поскольку только она давала им пищу, служа им естественной средой обитания, как разлагающийся труп служит средой для плотоядных личинок и мух.

Рутьеры никогда не сражались самостоятельно. Это не было сообразно их природе. Они вливались в первую встреченную им по пути армию, немало не интересуясь ни ее гербами, ни намерениями. Они бы присоединились даже к адскому воинству Люцифера, если бы им посулили по миске похлебки и возможность принять участие в разграблении павших городов.

Всякая армия лишь издалека кажется монолитным стальным клином, чьи части подчинены единому управляющему механизму и слаженно действуют. Истинное устройство армии куда сложнее. Гримберт знал это и, может, потому грубое устройство шахматных армий, разделенное по двум цветам, всегда казалось ему ужасно упрощенным.

Как тело состоит из органов, так всякая армия, на что бы ни были устремлены ее боевые порядки, состоит из великого множества элементов, скрепленных друг с другом кое-где при помощи вассальных клятв и договоров, кое-где при помощи золота или векселей, а кое-где не скрепленные почти ничем кроме смутных намерений и обещаний.

Сеньорские дружины и разнородные баронские отряды. Ведомые императорскими маршалами подкрепления и наемные пушкари из венецианских городов. Сводные отряды вечно голодных раубриттеров и стройные пехотные когорты Папских нунциев. Спаянные железной дисциплиной кондотты и едва вооруженное крестьянское ополчение. Боевые сотни рыцарей-монахов и банды кровожадных ланскнехтов. В это пестрое воинство, едва управляемое дюжинами военачальников самых разных чинов, рангов и полномочий рутьеры вписывались наилучшим образом.

В бою они не искали для себя сложных задач, поскольку в тактическом отношении мало чем отличались от ополчения. Не рвались на самые сложные участки, поскольку не тяготели к воинской славе. Не стремились стойко переносить потери и выдерживать вражеский натиск, поскольку не имели ни гербов, чью честь могли бы защищать, ни клятв, во исполнение которых стоило бы умирать. Зато они превосходно справлялись там, где не требовалось ни тяжелое вооружение, ни военная сметка, ни стойкость. Терзали вражеские тылы, вырезая обозы и подкрепления, разоряли деревни, устраивали глубокие рейды и облавы, вырезали пойманные врасплох гарнизоны, особенно блестяще проявляя себя в том, что имперская тактическая наука стыдливо именовала «Exspoliantes», а именно — резня уцелевших

после осады жителей.

Раубриттеры были истыми стервятниками, пирующими на поле боя. Каким бы ни был исход, едва только смолкли последние выстрелы, они спешили стащить все, что представляло собой мало-мальски значимую ценность и бежать, пока дележкой не начали заниматься более крупные хищники.

Если ландскнехты, галлогласы и кондотьеры были профессиональными вояками, в жизни не державшими плуга, но знающими триста сортов пороха на вкус, то рутьеры в большинстве своем никогда не являлись внушительной военной силой, если их и терпели в армиях, то только в силу их природных качеств — врожденной дерзости, презрения ко всем существующим клятвам и обычаям войны, а еще — звериного чутья, которое выручало их лучше, чем любой доспех.

* * *

«Смиренные Гиены».

Гримберт стиснул зубы. Если бы отец узнал о том, что в его владениях, укрывшись в Сальбертранском лесу, обосновалась рутьерская банда, да еще столь немалая, в пару сотен душ, несомненно впал бы в ярость и искоренил бы ее со всей рыцарской злостью.

Но отец не знал. И Магнебод не знал. И, надо думать, даже Алафрид, мудрый старый Алафрид, которому прочат место сенешаля при самом императоре, тоже не знал…

Что ж, по крайней мере, это не разбойники, подумал он, силясь обрести утешение в этой мысли. Они могут презирать правила чести и христианские добродетели, но с имперскими законами им приходится считаться, а равно как и чтить волю сеньора, на земле которого они находятся. Они это знают. То-то предводитель шайки, этот увалень Вольфрам, враз сделался таким предупредительным и учтивым, даже извинения принес за поврежденный доспех. Как и подобает вожаку, он нутром чует то, чего не чуют его самозванные офицеры-головорезы, а именно — неприятности. Видит Господь, маркграф Туринский может обеспечить им больше неприятностей, чем в свое время было послано на головы египтян.

— Недоразумение? — зубы Гримберта лязгнули, едва не перекусив это слово пополам, — Значит, так вы это называете? Недоразумение?

Вольфрам скорбно вздохнул. Несмотря на то, что он сохранил на лице выражение вежливого участия, а тело его пребывало в

прежней вальяжной позе, чувствовалось, что он ощущает себя отнюдь не так уверенно, как хочет выглядеть. А пожалуй, даже порядком нервничает, несмотря на то, что сидит среди вооруженных до зубов приспешников, в окружении нескольких сотен головорезов, готовых выполнить всякий его приказ.

Гримберт мог понять всю затруднительность его положения.

Отец наверняка не давал разрешения этому рутьерскому сброду пересекать границы своих владений. Никто в здравом уме не привечает рутьеров, да еще и в мирное время. Это то же самое, что приглашать в свои земли стаю голодных шакалов, милостиво предложив им скромный завтрак. Через неделю они сожрут все, до чего смогут дотянуться, а после исчезнут, бесследно, как дым от сожженных ими деревень — чтобы еще неделей позже объявиться в сотнях лиг отсюда — в Бургундии или в Аквитании или…

Эта банда — как там ее называют? «Смиренные Гиены»? — находится в Сальбертранском лесу не по приглашению его владельца. Более того, без его ведома и согласия. Это знание наполнило Гримберта силой, точно его измученное тело вдруг оказалось подключено через нейро-шунт к рыцарскому доспеху исполинской мощи.

Этот Вольфрам, кем бы он ни был, изображает из себя предводителя разбойничьей шайки, но он даже вполовину не так уверен в себе, как хочет показаться. Он не заискивает, чтобы не потерять уважения своих соратников, не молит прощения, но внутренне знает, что все его жалкие кулеврины и аркебузы враз потеряли свою силу.

Стоит маркграфу Туринскому узнать, что это разбойничье племя самовольно вторгнулось в его земли, обосновалось в его лесу, а после, будто этого было мало, устроило засаду на его сына, едва не затравив, точно дикого зверя…

Должно быть, Вольфрам Благочестивый обладал или стальными нервами, либо отсутствием воображения, потому что если бы он дал себе труд представить хотя бы одну десятую тех мук, которые ждут его впереди, то уже пытался бы нащупать на своем толстом брюхе кинжал, чтобы вспороть себе горло.

— Недоразумение, — Вольфрам развел руками и Гримберт вновь отметил, до чего размеренные у него движения, плавные как у танцмейстера и, в то же время, отточенные, как у фехтовальщика, — Трагическое, досадное недоразумение из числа тех, что время от времени случаются против воли Господа.

— Вы заманили нас в ловушку! — выдохнул Гримберт, с трудом заставляя себя сдерживаться, — И расстреляли из засады!

— Досадный случай, — согласился Вольфрам, медленно

кивнув, — Но, согласитесь, мессир, вполне предсказуемый. Разгуливать ночью по лесу в доспехе без опознавательных знаков?.. Немного безответственно с вашей стороны, вы не находите? Неудивительно, что мои люди приняли вас со спутником за пару раубриттеров, промышляющих разбойничьим ремеслом и рыщущих по лесу в поисках поживы. Мы… кхм… в некотором роде выполняли долг всех честных христиан, мессир!

Гримберт на миг задохнулся — словно в лицо ему вновь хлестнул ледяной порыв Сальбертранского леса. Но в этот раз это был не холод. Это была злость. Злость маркграфов Туринских, которая выдерживалась в их роду на протяжении столетий — на зависть самому изысканному вину.

И которая погубила чертовски много голов, напомнил он себе, пытаясь овладеть этой злостью, клокочущей в трубопроводах его души, не дать ей вырваться на поверхность. Держи себя под контролем, болван. Видит Господь, этой ночью ты и так наделал много дел, о которых тебе суждено жалеть до конца дней, прояви сдержанность хотя бы сейчас.

Этот тип, именующий себя предводителем рутьеров, но похожий на растолстевшего самодовольного писаря, расшибется в лепешку, чтобы загладить свою вину. Он уже сообразил, в какую пропасть заглянул и, без сомнения, попытается загладить ошибку. Надо дать ему эту возможность. Кем бы ни были эти люди, не стоит ожесточать отношения с ними — по крайней мере, до тех пор, пока он не увидит вокруг надежные крепостные стены Турина и тусклую сталь отцовских телохранителей. А уж тогда… Тогда маркграфские дознаватели вызнают у них все — с какой целью тайно пересекли границу марки, для чего укрылись в лесу, скольких еще путников и егерей извели в своих коварных засадах…

Но это все потом, потом. Сперва надо добраться до дома и убедиться, что Аривальду ничего не угрожает.

— Да уж, мессир, очень неблагоразумно с вашей стороны! — должно быть, Вольфрам принял его молчание за неуверенность и, как многие недалекие люди, воображающие себя хитрецами, решил надавить на него для вящего эффекта, — Даже безрассудно! Мало того, что вы безосновательно подвергли опасности свою жизнь и жизнь своего спутника, так вы еще и причинили изрядный ущерб моим людям. Я еще не получил списки погибших, но когда получу, будьте уверены, я не замедлю выставить счет за весь причиненный мне убыток вплоть до последней лошадиной подковы! Вычту все до медного обола!

Вольфрам заложил руки за пояс. Но если этим жестом он силился продемонстрировать уверенность в собственных силах,

то сам сыграл против себя. От Гримберта не укрылись ни его дрогнувшие на мгновенье пальцы, ни взгляд, который опасливо крутился вокруг его собственного, точно совершая какой-то бесконечный маневр уклонения. Даже пояс у него был странный. Не солдатский ремень, потертый и выдубленный радиоактивной пылью, а расшитый муслиновый кушак в подражание купеческому. К такому не подвесить оружие страшнее стилета, разве что чернильницу да помандер[14] с благовониями.

Ухоженные холеные пальцы, не знающие оружия. Расшитый пояс. Бегающий взгляд. Все эти изящные мягкие обороты и груды подушек посреди шатра…

Фальшивка. Гримберт ощутил это безотчетно, как казначей, ощупывая монету, ощущает вкрапления олова в благородном серебре. Как инквизитор чует порочную слабину в допрашиваемом, едва лишь возложив на него ладонь.

Этот человек, именующий себя Вольфрамом Благочестивым, предводителем рутьерской банды, в глубине души был не большим рутьером, чем лицедей на театральных подмостках, играющий предводителя разбойничьей ватаги, но мало что смыслящий в том, что должен изображать. Пытаясь держаться небрежно, с тем особенным холодным достоинством, что выдает многих завзятых рубак, бретеров и наемников, он даже не ощущал, что переигрывает, что манеры его неестественны, интонации наиграны, а жесты неуместны. Даже когда он грозно двигал бровями и выставлял вперед челюсть, силясь произвести грозное впечатление, Гримберт не испытывал ни страха, ни смущения, одну только тягучую едкую гадливость.

Этот человек, силящийся произвести впечатление вожака разбойничьей банды, куда более походил на раздобревшего холеного писца, который в силу каких-то неведомых обстоятельств поднялся куда выше, чем было уготовлено ему судьбой. Жалкая мошка, едва не лопающаяся в попытке сделаться больше в чужих глазах, впечатлить, напугать и смутить.

В этом человеке, надменно восседающем на куче подушек посреди шатра, совершенно не угадывалось той силы, которая, в представлении Гримберта, была необходима всякому разбойничьему предводителю, чтобы держать в узде свою скалящуюся стаю. Это было тем более удивительно, что он явственно ощущал животную злость, излучаемую его подручными, которые расселись по углам и сохраняли столь почтительное молчание, будто присутствовали при богослужении самого Папы Римского.

Как они еще его не растерзали, этого пыжащегося от собственной важности пустозвона? Почему позволили

верховодить собой, да еще и почтительно вслушиваются в его болтовню? Отчего выполняют его приказы?

Странный тип, подумал Гримберт, с ним, пожалуй, надо держать ухо в остро. Пусть Аривальд жив, пусть ситуация прояснилась, ощущение облегчения, которое неизменно должно было накатить, обмахнув душу ангельскими перьями, отчего-то запаздывало. Он не ощущал облегчения.

— Я думаю, мой отец будет рад побеседовать с вами об этом недоразумении, — процедил он, испытывая немалое удовольствие от того, как Вольфрам ерзает под его взглядом, — И заодно о том, по чьей вине и кому был причинен ущерб.

Вольфрам наградил его улыбкой, кислой, как уксус. Он явно раскаивался в том, что отдал приказ взять мальчишку живым. Сгори он внутри своего доспеха, замерзни в снегу, истеки кровью от пули в спине, все сложилось бы куда лучше. Но сейчас…

— Надеюсь, я смогу хоть маленькой толикой сгладить это недоразумение, мессир, доставив вас и вашего спутника в добром здравии в родные пенаты.

Гримберт ощутил в груди медленно зреющую искру злорадства. Приятное чувство, напоминающее разогревающийся двигатель.

— Полагаю, это самое малое из того, что вы можете сделать в сложившихся обстоятельствах.

— В таком случае соблаговолите назвать свое имя, мессир, и места, из которых происходите.

Верно, вспомнил он, я же не представился. Сперва было не до того, а после и позабыл. Что ж, тем лучше. Хочу посмотреть на его лицо, когда он это услышит. Черт возьми, да у него глаза из орбит выскочат…

— Меня зовут Гримберт и я наследник маркграфа Туринского.

Это имя должно было произвести в шатре эффект разорвавшегося восьмидюймового снаряда. Гримберт заранее предвкушал испуганный шепот «офицеров», трусливыми крысиными лапами шуршащий по шатру. И испуг на лице их предводителя, который слишком поздно понял, в какие неприятности ввязался.

Но не обнаружил ни того, ни другого.

Подручные Вольфрама молча сидели на своих местах, вяло почесываясь и клацая зубами, точно скучающие псы, сам же он лишь рассеянно потер подбородок. Не услышал? Или, как и многие другие рутьеры, падок на какое-нибудь нейро-зелье, размягчающее мозг?

— Вот оно как… — пробормотал Вольфрам, — Подумать

только. Вот оно, значит, как…

— До Турина почти сорок лиг, — холодно произнес Гримберт, — И я хотел бы отправиться в путь немедленно. Если вы хотите принести мне извинения по всей форме, это можно сделать в дороге. И я хочу увидеть своего оруженосца, мне надо убедиться, что он в порядке. Что до доспеха…

Вольфрам медленно поднялся. Он оказался не таким уж толстяком, как показалось сперва Гримберту. Да, тяжелый, плотный, как двухлетний лимузенский бычок, но колышущийся подкожный жир нарос определенно не на голых костях, под ним угадывались тяжелые, как у вышедшего на пенсию молотобойца, мышцы.

Вольфрам вдруг усмехнулся, обнажив бледно-желтые стертые зубы. Но не Гримберту.

— Учитесь, никчемное отродье, — буркнул он своим головорезам, — Две минуты — и он сам выложил мне все как своему любимому дядюшке. А я даже пальцем к нему не прикоснулся. Ну а сколько дней потребовалось бы вам? Два? Может, три?

Кто-то в углу хмыкнул.

— Управились бы за час.

— Час! — Вольфрам презрительно оскалился и вдруг развернулся, резко, как на пружинах, враз перестав казаться похожим на раздобревшего трусоватого писца, — За час вы бы измордовали его до полусмерти, скоты, да так ничего бы и не выбили! А если бы взялись пытать, и подавно свели бы в могилу!

— И вовсе не обязательно пытать, — обиженно протянул тот, кого прочие звали Бражником, — Есть у меня кислота одна потрясающая, у византийского маркитанта взял. Две, максимум три капельки — и он бы сам с превеликим усердием все выложил как на духу, уж уверяю вас…

— Заткнись ты со своей кислотой, — сухо произнесла женщина. Голос ее звучал глухо, как из бочки, но все равно оставался мелодичным, — Вот вам и тележное колесо, господа… Кто бы знал, что такая птица нам попадется, а?

— Колесо! — Бражник хихикнул, — Тут уж одним колесом не обойдется, я так смекаю. Тут уже золотом пахнет, и не мелкой кучкой. Тут, если хотите знать, тысячей флоринов пахнет, вот что. Настоящих, туринской чеканки. А может даже и флоринами…

— Остается рассмотреть вопрос комплектации.

— Что вы имеете в виду, уважаемая госпожа блудница?

— За тысячу флоринов убитый горем папаша получит своего ублюдка живым, но и только. Многие на его месте и тому были бы рады. Но, скажем, если он немного заплатит от щедрот своих,

то сможет получить его же в… скажем так, более богатой конфигурации. Например, с ушами, пальцами и глазами…

— Превосходная идея!

— И весьма благородная, — промурлыкал тип, державшийся с другой стороны шатра, — Подумайте только, ведь можно назначить плату за каждый пальчик, каждый орган, даже каждый квадратный дюйм кожи. Мы ведь не принуждаем никого к сделке, это низко. Мы просто объявляем прейскурант, а желающий вернуть дитя сам определяет, какие его части ему любы более всего…

Гримберт ощутил, что мягкий пол в шатре вдруг сделался неустойчивым, точно палуба корабля. Или бронекапсула идущего полным ходом доспеха. Но в этот раз у него не было гироскопов «Убийцы», готовых автоматически выровнять положение.

— Извольте объясниться, — произнес он, задыхаясь, — Я хочу… Я требую, чтобы вы…

Вольфрам подошел ближе, неспешно, ленивым медленным шагом. Гримберт ощутил исходящий от него запах, тяжелый, но не опасный. Не такой, какой издают смертоносные по своей природе устройства и механизмы, скорее, запах товара, залежавшегося в лавке и захватанного бесчисленным множеством рук.

— Объясниться? Прошу простить мои манеры, мессир. Сейчас. Сейчас. Сейчас старый Вольфрам все вам растолкует…

Удар был столь стремителен, что Гримберт не то, что отразить его, но и заметить. Точно сверхзвуковая боеголовка, запущенная по хитрой извилистой траектории, просчитать которую оказались бессильны баллистические вычислители. Эта боеголовка угодила ему в правую часть живота и в первый миг показалось даже, что удар вышел ослабленный, не серьезный, потому как боли почти не было, только неимоверное удивление да замерзшее на губах ругательство, выдохнуть которое так и не хватило воздуха.

А потом боль пришла. Лопнула внутри, как лопается застарелый нарыв, надувшийся отравленной кровью и гноем. И все его внутренности вдруг оторвались от своих мест, сделавшись кровавыми сгустками, и перепутались между собой, превратившись в один огромный, раскаленный, пульсирующий клубок.

Он попытался отступить на шаг, но тело ему уже не подчинялось, оно подчинялось только боли и только ее слушало, безжалостно глуша все прочие частоты. Он попытался сдержать ее, впившись пальцами в живот, но это было не проще, чем сдержать голыми ладонями прорвавшую плотину. Он

попытался…

Должно быть, он всхлипывал при этом, потому что тот, кого именовали виконтом, рассмеялся:

— Вот тебе и маркграф. Полагается ли венценосной особе так скулить?

Вольфрам удовлетворенно кивнул, потирая кулак. Кулак был совсем ее большой и на вид не тяжелый, но веса в нем было больше, чем в двенадцатидюймовом снаряде. А злости и того больше.

— Пусть скулит, — предводитель рутьеров подмигнул ему, обходя Гримберта кругом, — Знать, у нашего мессира при дворе много учителей было, да только все не те. Ну это ничего. Думаю, «Смиренные Гиены» быстро научат его этикету…

Сейчас ударит, понял Гримберт. Но ни защититься от второго удара, ни даже шевельнуться не смог.

Уличные остряки напрасно смеются над высокородными господами, которые, якобы, падают в обморок, уязвив кончик пальца розовым шипом. Гримберт знал, что такое боль, может, не в таких дотошных нюансах, как некоторые прочие, но знал — и во многих обличьях.

Ему приходилось ощущать боль, и не раз. Магнебод не позволял ему во время тренировок прикасаться к бортовому запасу обезболивающих, утверждая, что боль и голод — толковые наставники, воспитавшие больше рыцарей, чем самые дотошные учителя.

Ему приходилось разбивать в кровь колени, выпав из бронекапсулы, хлюпать разбитым носом после плохо рассчитанного маневра, который не смогла компенсировать примитивно устроенная амортизирующая система доспеха, украдкой хныкать после учебного поединка из-за отшибленных ребер…

Но эта боль, которая взорвалась осколочным фугасом в его потрохах, была какой-то другой. Ее нельзя было терпеть, как предписывалось рыцарю терпеть все телесные тяготы на пути своего служения. Ее нельзя было игнорировать, как малозначимые показания визора. Она появилась и, мгновенно расширившись из огненной точки в его животе, погребла под собой весь мир, сокрушив его вековечные устои.

Больше не было ни Турина, ни Сальбертранского леса, ни Аривальда. Ни неба, ни земли, ни святых, ни грешников. Не было даже грязного шатра, в который его завели. Одна только боль — бездонный пульсирующий океан жидкого огня, разрывающий его внутренности изнутри.

Гримберт попытался вздохнуть, но не смог. Все мышцы в его

теле расплавились, в выжженной утробе не осталось внутренностей, лишь звенела звеньями раскаленная медная цепь. Тщетно открывая рот, он уткнулся лицом в зловонные, скверно выделанные шкуры на полу, втягивая их землистый запах, но не в силах сделать вздох.

Вольфрам подошел неспешно и почти беззвучно. Гримберт почти не видел его, но хорошо видел начищенные до блеска носки его сапог, замершие напротив лица. Должно быть, их полировали усерднее, чем туринские пажи броню «Убийцы» — ему показалось, что он может разглядеть собственное отражение, если хорошенько присмотрится.

Только сил на это не оставалось. Даже на вдох — и то не было.

— Слушай внимательно, — в голосе Вольфрама не было злости, он звучал спокойно и немного укоризненно, как у учителя, раздосадованного легкомысленностью своего ученика, но и только, — Это не Турин. Это лагерь «Смиренных Гиен». Здесь один властитель. Это я. И звать меня господин Вольфрам Великодушный. Так что в следующий раз, когда ты вздумаешь открыть свою пасть, подумай, а давал ли я тебе на то соответствующее разрешение?

Кажется, ему удалось сделать вдох. Крошечный глоток воздуха обжег отшибленные внутренности как кислота, но и он был блаженством.

Святой Пантелеймон, дай сил не лишиться чувств. Дай…

— Что? — Вольфрам приложил ладонь к уху, — Вам нездоровится? Слуг позвать? Одну секунду, юный сеньор. Одну крохотную секундочку…

Удар сапогом в живот выбил из него те жалкие крохи воздуха, что он успел втянуть. Внутренности скрутились в тугие узлы, точно грязное постельное белье, слюна во рту сделалось горькой как полынь.

— Все в порядке, мессир? — участливо осведомился Вольфрам, вновь занося для удара ногу, — Не извольте… беспокоиться!

Гримберт попытался выставить перед собой руку, но та была слаба как цыплячье крылышко.

Боль разорвалась под ребрами. И еще раз. И еще.

Когда Вольфрам наконец отошел от него, ему казалось, будто его тело превратилось в прилипшую к полу ветошь.

— Куда его? — мрачно осведомился Железный Паяц, кажущийся снизу высоким как каланча, — Обратно в землянку, что ль?

— В землянку? — Вольфрам удивленно приподнял бровь, —

Ты что, мой друг, из ума выжил? Держать нашего досточтимого гостя в земляной конуре? Где твои манеры, помилуй Господи?

Кажется, кто-то хотел возразить, Гримберт уловил подобие недовольного шороха, прокатившегося по шатру. Но Вольфрам, услышав его, лишь осклабился.

— Что, грязные псы, в самом думали, что я оставлю этого золотого гуся вам на поживу? Чтоб кто-нибудь из вас темной ночью сбежал с мальчишкой под мышкой, вознамерившись получить за него куш? Кто из вас собирался это сделать? Ты, Бальдульф? Или ты, Блудница? Я вижу вас насквозь, чертовы хитрые гиены! Каждого до самого душевного донышка! Я знаю, о чем вы подумываете!

Где-то сердито засопел Бражник. Недовольный, как и все прочие, он в то же время был достаточно осторожен, чтобы не навлекать на себя гнев главаря.

— А куда ж его тогда?

— Куда? — Вольфрам ухмыльнулся, — Паяц! Ты опять забыл о гостеприимстве, ржавый ты мерзавец! Какое мнение у нашего гостя сложится о «Смиренных Гиенах»? Ну-ка отведи мессира в его маркграфские покои и убедись, что он устроился там наилучшим образом! Кстати, у нас в обозе еще осталась та славная собачья цепь?..

Часть 3

Иногда ему казалось, что все, что происходит, происходит не с ним. Что он просто читает пространную запись из церковного информатория, в которой, в силу машинных сбоев, прохудились и лопнули многие сосуды, смешав воедино все свое содержимое — жизнеописание мучеников, записи о рыцарях минувших веков, куски проповедей, нравоучительные притчи, фрагменты старых преданий и технических наставлений.

Иногда ощущение это было столь сильно, что он забывал, кто он и где находится. Это было блаженное время, похожее на сон, время, которое он желал бы растянуть как можно дольше.

Но он вспоминал. Всегда вспоминал.

«Маркграфские покои», отведенные ему Вольфрамом, были ямой. Не сырой каменной норой, в которой ютилась чернь в Турине, не прохудившимся брезентовым шатром из числа тех, в которых коротали время сами рутьеры на стоянке — обычной ямой, выкопанной посреди лагеря прямо в мерзлой оскизлой земле. Глубиной по меньшей мере в два туаза[15], она смогла бы содержать пленника на две головы выше Гримберта — даже подпрыгнув, он не смог бы уцепиться за ее край руками.

Сработано было основательно и крепко. Едва ли потому, что маркграфские покои, как издевательски поименовал их Вольфрам, готовились к приему высокого гостя. Если они к чему и готовились, так это к приему нечистот, и, кажется, успели послужить в этом качестве по меньшей мере пару дней. Огромная выгребная яма посреди лагеря, вот что это было такое.

Яму эту «Смиренные Гиены» оборудовали со всей тщательностью, так, будто штудировали имперские военные наставления по оборудованию лагеря. Едва ли из-за привычки к чистоплотности и порядку — сам их лагерь представлял собой беспорядочное скопище шатров, палаток и землянок — скорее, не понаслышке знали про страшную «аквитанскую болезнь», которая поселяется в кишках и выжимает их досуха, заставляя своих жертв исторгать из себя жизнь вперемешку с кровавой слизью. Говорили, «аквитанская болезнь» способна в считанные дни уложить целую армию, причем столь неприглядным образом, что о ее гибели церковный информаторий вместо полагающегося защитникам веры акафиста ограничится лишь сухим отчетом.

Именно такая судьба, по слухам, постигла воинство Людовика Углеродного в святых землях. Понадеявшись на чудодейственную силу волоса Святого Пантелеймона, оно не

озаботилось ни выгребными ямами, ни нужниками для пехоты, оттого в самом скором времени потеряло боеспособность — еще до того, как подоспевшие сарацины сделали первый выстрел. Защитники Гроба Господнего в этом страшном бою полегли все без остатка, однако, живописуя их последний бой, уличные трубадуры обычно оказывались щедрее на детали, чем досточтимые миннезингеры с их «крестовым песнями». Некоторые такие уличные песни осмеливались утверждать, что бой армии Людовика Углеродного не был таким уж долгим и отчаянным, а некоторые — что такого боя и вовсе не было. Будто бы славные рыцари к тому моменту, когда в их лагерь ворвался авангард сарацин, находились в столь жалком состоянии, что не были пригодны для боя, а многие из них молили даровать им смерть, даже не пытаясь забраться в доспехи.

От ямы смердело так, что Гримберт, стоя на ее краю, невольно закашлялся. Такого количества миазмов, кажется, не обитало ни в кожевенных мастерских Турина, круглый год наполненных запахами гниения, ни в аммиачных цехах, частенько сливавших отработанные реактивы в городской ров.

Но Ржавый Паяц не проявил никакого участия к его судьбе. Может, сам не ощущал запаха вследствие того, что его нос давно разложился, оставив только хлюпающий провал посреди лица. А может, полагал, что ни к чему идти на поводу у склонных капризничать благородных господ.

— Располагайтесь, ваше сиятельство, — буркнул он, бесцеремонно толкая Гримберта в спину, — Покои в самый раз под вас, не извольте сомневаться. А ежли что нужно будет, так вы не смущайтесь, просто позвоните в серебряный колокольчик. И мы, значит, сделаем все, чтоб ваше сиятельство обеспечить.

Первый день своей новой жизни он не запомнил вовсе. Будто и не было его, этого дня. Время слиплось в зловонный клубок, в котором не различались часы и минуты. Он просто сидел, привалившись спиной к осклизлой земле, и механически бормотал молитвы, не понимая смысла произносимых слов.

Радуйся, Мария, благодати полная…

Áve, María, grátia pléna…

Возможно, это был спасительный транс, в который Господь погрузил его, чтоб избавить от душевных мук, что-то сродни сильнейшей дозе обезболивающего, погружающей в плотный, непроницаемый для мысли, туман. Может, это и спасло его в те первые, самые страшные, дни.

Он редко оставался в одиночестве, сверху на него почти всегда пялились любопытные рутьеры, заглядывающие в яму и встречающие хохотом каждое его движение.

— Мессир! Мессир! Как вам благовония? Всем лагерем собирали, букет ну чисто горная фиалка!

— Вот ведь бледный какой… Это что ж, благородная бледность какая или морозом его подпортило?

— Так ить кровь же голубая, вот и бледный. Ему так по породе положено, дурень!

— Дай мне на час его в шатер, глядишь, быстро порозовеет! Косточки тонкие, лицо без парши… И, небось, без сифиля, как половина профурсеток в борделе у мамаши Круаз!

— Отвянь, Йохан! Дай его сиятельству расслабиться в своих покоях, не портий ему вид своей гнилой рожей! Эй, мессир, а правда, што ежли вы в нужник сходите, то к вам лакей специяльный приставлен, что розовым маслом вам жопу трет?

— Ты глянь, волосья какие у него. Ну чисто пух. Я так думаю, почтенная братия, у него в этих волосьях и вшей нет. Потому что вша, значит, непременно поскользнется на них и упадет!

— Ах шельма, это ты метко приладил!

— А, что там, слушать вас тошно! Камнем ему голову проломить — и вся недолга!

— Я тебе дам камнем, полудурок! Ножичком его надо аккуратно в печенку. Рыцарский череп он же свойства особого, из такого черепа можно любое варево пить — и не отравишься!

— Будете делить, прихватите для меня селезенку. У меня приятель во Франкфурте есть, здорово в этом деле разбирается. Если графскую селезенку отварить в уксусе и поджарить на углях, через которые девица нерожавшая трижды перепрыгнула…

— Ну попробуйте, умники. Чихнуть не успеете, как Вольфрам вас на лоскуты разделает!

«Благословенна Ты между женами, — твердил Гримберт, силясь отключить глаза и уши, как прежде отключал сенсоры верного „Убийцы“, — Benedícta tu in muliéribus…»

Иногда в него швыряли всякой дрянью — камнями, шишками, огрызками. Иногда опорожнялись прямо в яму нарочно у него на виду, торжествуя и разыгрывая целые спектакли. Иногда… Он надеялся, что когда-нибудь сможет забыть самые паскудные и отвратительные из фокусов, которые разыгрывались на его глазах и в его честь.

Его разглядывали, как диковинку. Его поносили, как последнего из грешников. Ему угрожали, как лютому врагу. Над ним насмехались, как над никчемным шутом. Всему этому он не мог ничего противопоставить. Ничего и не было, кроме смертной усталости и тягучего нефтяного отупения, забившего все сосуды и поры.

Когда насмешки становились нестерпимыми, он закрывал

глаза, но от этого делалось еще хуже. Перед ним словно открывался визор, в котором он видел дотошную запись, сделанную через сенсоры «Убийцы». Вновь взметался хлопьями иссеченный свинцом снег, вспыхивали вспышки орудий, скрежетали, лишаясь ветвей, деревья.

И верный «Страж» вновь и вновь подставлял бронированную грудь под выстрел.

И снова. И снова. И снова.

Благословен плод чрева Твоего Иисус…

Et benedíctus frúctus véntris túi, Iésus…

Засада была устроена не так уж ловко, как ему показалось сперва. Не было в ней ни тактического искусства, ни большой хитрости, ни такта. Только лишь обычная разбойничья сметка, примитивная, как самый простой ловчий силок. Это он понял уже тут, в яме, когда у него внезапно оказалось в распоряжении больше времени, чем он способен был потратить. Но он угодил в ловушку со всего маху, ослепленный воображаемой мощью своих орудий, опьяненный возможностью совершить свой первый — и единственный — в жизни рыцарский подвиг. Погубил свой доспех и своего оруженосца. Оказался пленен бандой никчемных разбойников и головорезов. Навеки опозорил имя и честь маркграфов Туринских.

«Как, говорите, его зовут?..»

«Гримберт Туринский. Не помните?»

«Позвольте, тот самый, который разбил лангобардов при Дьявольской Наковальне»?

«Нет, то его отец. Этот известен лишь тем, что загнал свой доспех в дебри Сальбертранского леса и оказался в плену кучки браконьеров, вооруженных ржавыми аркебузами».

«Ах да, кажется припоминаю. Ну и шуму в свое время наделала эта история, а? Говорят, следующие два года в Туринском палаццо питались соломой, чтоб выплатить выкуп, а его наставник, мессир Магнебод, был огорчен так, что отринул рыцарский титул и с того дня ушел в монастырь…»

Отравленные мысли текли в венах, едкие, точно окислитель для ракетного топлива. Вместо того, чтоб подпитывать измороженное, избитое и едва живое тело, они подтачивали его последние устои, подталкивая рассудок к краю заполненной мутной жижей провала.

Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных…

Sáncta María, Máter Déi, óra pro nóbis peccatóribus…

Будто одного этого было мало, чтоб сломать его дух, Вольфрам Благочестивый распорядился надеть на своего гостя ошейник. Это изуверское орудие пыток притащил ухмыляющийся

Ржавый Паяц, после чего заклепал на его горле. Возможно, раньше этот ошейник в самом деле принадлежал собаке, однако размер у него оказался вполне подходящим и для шеи двенадцатилетнего отрока. Выкованный из стали, он не казался непомерно тяжелым, однако причинял серьезные мучения, большие, чем самые изуверские вериги.

Под избыточным весом этого ошейника его позвонки едва не трещали, вкручиваясь друг в друга, в придачу он клонил голову к земле с такой силой, будто на шее у Гримберта обосновался совокупный вес всех известных смертных грехов. А еще он чертовски натирал шею. Кожа Гримберта, привычная к тонкому шелковому белью, оказалась недостаточно грубой, чтобы сопротивляться едва полированной стали, в скором времени ошейник покрыл ее кровавыми струпьями. Напрасно Гримберт тайком подкладывал под него клочки ткани, это не умаляло его мучений, лишь усиливало нестерпимый зуд.

Может, Вольфрам Благочестивый имел не лучшие представления о тактике, однако в унижении разбирался на уровне господ в кардинальских биреттах[16]. Ему мало было заточить своего пленника, мало подавить волю к сопротивлению, он нарочно подчеркивал его жалкое полу-собачье положение. Кусая губы, чтобы не завыть от мучительного зуда, Гримберт поклялся самому себе, что когда отец спросит о судьбе никчемных рутьеров, он попросит для них легкой смерти. Для всех, кроме Вольфрама Благочестивого.

Еще одним испытанием был холод.

Какое-то время, пока он находился в полузабытьи, присутствие его, этого истинного властителя Сальбертранского леса, почти не ощущалось. Зато позже он навалился с такой силой, что едва не выжал из него последние крохи жизни.

Днем холод больше издевался, чем в самом деле пытался погубить его. Облизывал шершавым гранитным языком лицо, грыз тупыми зубами костяшки пальцев, пробирался под гамбезон ледяными ручейками, зато ночью брал свое сполна.

Первые две ночи Гримберт не мог заснуть, холод перемалывал его тело с такой силой, что хотелось выть во весь голос, а слезы мгновенно превращались в ледяную коросту прямо на щеках. Потом кто-то — кажется, это был Виконт — милосердно бросил ему несколько охапок соломы и шкуру. Шкура была дрянная, вонючая, скверно выделанная и больше похожа на гниющий остов какого-то животного, но Гримберт зарывался в нее на ночь, ощущая едва ли не блаженство. Он еще не знал, что холод лишь одно из первых уготованных ему испытаний.

Были и другие — много других.

Иногда вперемешку с насмешками и камнями ему перепадала пища. Она падала прямо в помои и испражнения, что всякий раз ужасно смешило рутьеров, вызывая среди них оживленные споры о том, сколько вилок для рыбы полагается иметь за графским столом и не причинили ли они, часом, оскорбления своему гостю, нарушив принятую при дворе очередность блюд.

Пища была такого свойства, что мало чем отличалась от отбросов, что уже располагались в его покоях. Соленая рыба когда-то, может, и годилась в пищу, но вагенмейстер, если такой имелся среди «Смиренных Гиен», ничего не смыслил в ее хранении, влага превратила ее в хлюпающие брикеты из разлезающейся органики. Хлеб был самого дрянного качества, из отрубей пополам с еловой стружкой, таким впору было натирать доспех, а не употреблять в пищу. По сравнению с ним даже каменной твердости брикеты аварийного рациона походили на сдобную булку.

Иногда попадались кости из похлебки, обгрызенные, точно с ними развлекались голодные псы, и прочая дрянь, на которую Гримберт смотрел с нескрываемым отвращением. Одна только мысль о том, чтоб прикоснуться к этой еде, вызывала такое отвращение, что давно пустовавший желудок отзывался колючей дрожью.

Два дня голода дались ему без особого труда. Измученное тело не просило пищи, оно просило лишь легкой смерти, которую Гримберт не в силах был ему предоставить. И, подточенное холодом и смертной усталостью, быстро слабело. Видит Бог, он уже достаточно унижен за свою самоуверенность. Но есть объедки, со смехом бросаемые в яму, не станет, даже если окажется на пороге голодной смерти. Спаси Господь его душу, умрет, но не станет.

Разве не уморил себя мессир Авровех, оказавшись со своими войсками в сарацинской осаде? Терзаемый муками голода, он тридцать дней оказывал сопротивление, не отпирая крепостных ворот Триполи и мужественно игнорируя все предложения о капитуляции. Говорят, когда сарацинский посол на его глазах демонстративно стал есть виноград, храбрый мессир Авровех лишь сплюнул в пыль у своих ног, заявив, что скорее сожрет свои пальцы, чем позволит им совершить преступление против веры и рыцарской чести. Некоторые даже говорят, будто это не было хвастовством с его стороны, запертый в своем доспехе, он и верно обгладывал плоть с собственного тела, чтобы сохранить в себе жизнь. Этих деталей рыцарские хроники империи не сохранили, но хоронили мессира Авровеха в закрытом гробу, так что, быть может, какие-то основания у этих слухов и были…

Однако Гримберта ждало предательство, неожиданное и потому вдвойне омерзительное. Его собственное тело предало его, точно самый паскудный из наемников. Обмороженное, измученное, вжавшееся в клочья гнилой соломы на земляном полу, подвывающее от тоски и злости, оно вдруг напомнило о себе голодной резью в желудке, да такой сильной, что его всего затрусило.

Тело хотело жить. Состоящее из смертной плоти, оно не интересовалось ни честью, ни моралью, ни обстоятельствами, оно тщилось жить, отчаянно продолжать текущие в нем биологические процессы, и ради этого было способно на любое предательство, даже своей бессмертной души.

Гримберт скрипел зубами, но не протягивал руки к объедкам, несмотря на доносящиеся сверху смешки. Есть хотелось страшно, до одури, до беспамятства, до кровавых сполохов перед глазами. Он вспоминал, как они ели с Вальдо, устроившись возле своих замерших машин, ловко орудуя ножами и запивая трапезу сладким вином…

Муки голода продолжались три дня и вряд ли продлились бы еще столько же — холод выпивал силы из тела так быстро, что то съеживалось на глазах. Должно быть, его любезный хозяин, Вольфрам Благочестивый, тоже пришел к такому выводу, потому что на четвертый изволил самолично нанести визит своему гостю и заглянул в яму.

Он сытно отрыгивал, губы его блестели от жира — судя по всему, владетель «Смиренных Гиен» сам недавно изволил отобедать и ел явно не отбросы вроде тех, что бросались в яму.

— Что такое, ваше сиятельство? — осведомился он, — Ваш камердинер опять докладывает мне, что вы встали из-за стола голодным? Неужели наша грубая рутьерская пища вам не по вкусу? Ах, горе-то какое! Если так, вам стоило сказать, я велю вашему личному повару подать цыпленка в тушеных трюфелях, только не извольте гневаться, если цыпленок окажется пищащим и с крысиным хвостом!

Рутьеры взвыли от восторга, вниз опять полетел всякий сор, вынуждая Гримберта прикрыться рукой.

Не дождетесь, поганые псы. Вы одолели маркграфа Туринского в бою, бесчестно и хитро, всем скопом, как крысы, вы вольны убить его или подвергнуть любым пыткам на свой выбор, однако унизить его вы не способны.

Вольфрам сделал короткий жест и Гримберт едва не отпрянул в сторону.

Бомба. Граната с ядовитым газом. Или…

Кусок хлеба. Он упал в туазе от него, отскочив от стены

подобно ядру, и выглядел так, как никогда не выглядит хлеб, вышедший из пекарни доброго христианина. Кусок какой-то сухой дряни, похожий на трухлявое дерево, покрывшийся снаружи белесым узором плесени. Судя по всему, тесто, замешанное для него, наполовину состояло из древесной целлюлозы, а наполовину — из дрянного жмыха.

— Пирожное по-фламандски, — Вольфрам причмокнул губами, — Мой повар лично приготовил для вас и определенно будет обижен, если вы отнесетесь к его стряпне с такой оскорбляющей пренебрежительностью. Отведайте, мессир, уважьте старика.

Может, хлеб был и съедобен, но…

Гримберт молча отпихнул хлеб ногой, несмотря на отчетливое дрожание желудка. Он, этот желудок, согласен был даже на такую пищу, но Гримберт не собирался идти у него на поводу.

Скорее, сдохну, подумал он, а не прикоснусь.

Подобной дрянью в Турине не кормили даже сервусов — бессловесных, лишенных разума созданий, которые могли грызть даже землю, если бы получили соответствующий приказ. Иногда пажи, что развеселить своего господина, выкидывали забавный фокус. Подманивали сервуса из дворцовой обслуги и совали этому болвану что-то съестное, но с сюрпризом. Иногда это была горсть плотницких гвоздей — и сервус долго еще шатался по двору, скрежеща, точно мясорубка и орошая брусчатку льющейся из разорванного горла кровью. Иногда небольшая пороховая бомба — и бедолага мычал с развороченной челюстью, не понимая, что произошло, пока подоспевшие стражники не выколачивали из нее душу или, точнее, то, что от нее осталось. Особенно забавно было залить в сервуса украденный из лаборатории дрожжевой раствор. Фокус был сложный, но стоил того. Несколько дней такой сервус шлялся по дворцу, выполняя немудренные поручения, но с каждым часом зловоние вокруг него делалось все более стойким, а живот ощутимо вздувался под ливреей. Однажды один такой булькающий идиот разорвался прямо посреди дворцовой кухни, отчего та на несколько дней оказалась непригодна для использования. Отец был в ярости, пажи украдкой хихикали, а Аривальд…

Вольфрам, с интересом наблюдавший за ним сверху, внезапно хмыкнул.

— А зубы-то у вас, ваше сиятельство, прямо-таки первый сорт, — произнес он задумчивым тоном, — Глянь белые какие, ну чисто топленое молоко! Небось, мягкую пшеничную булку этими зубами жевали, пока наш брат дохлого воробья на восемь частей

делил…

Гримберт не ответил. Этот человек, кем бы он ни был и кем бы себя не считал, не заслуживал такой чести.

— Значит, вот что, — Вольфрам зевнул, обнажив собственные зубы, неухоженные и желтые, как глина, — Вы, ваша светлость, кажется, неверно понимаете ситуацию. С одной стороны, вы, безусловно, гость «Смиренных Гиен», однако же с другой… С другой вы, ваша милость, в некотором наше имущество. И нагадь мне ангел Господний прямиком на голову, если не самое дорогое имущество во всем обозе.

Гримберт молчал, вжавшись лицом в мерзлую землю. Так было проще.

Вольфрам вздохнул. Непринужденно усевшись на краю ямы, он вытащил щепку и принялся ковыряться ею в зубах, точно крестьянин.

— Про нас, рутьеров, много всякого болтают, — вздохнул он, не прерывая своего занятия, — Обыкновенно весьма паскудного. Мол, и грабители мы бездушные и грешники отчаянные и отцеубийцы каждый второй. Мне же со своей стороны казалось, что рутьеры всегда ближе к торговцам. А вы видели когда-нибудь торговца, который позволяет своему товару пропасть?

Гримберт не ответил. Даже стиснул зубы, чтобы какое-нибудь слово ненароком не вырвалось само собой.

Вольфрам, бросив щепку, разглядывал его сверху. Без злости, даже, кажется, с каким-то добродушным интересом.

— Неужели вы думаете, что я позволю вам отойти в мир иной, точно какому-то монаху, вознамерившемуся принять голодную смерть, чтоб попасть на небеса? Нет, не позволю. И знаете, как я поступлю?

Голос его сделался вкрадчивым. Каким-то омерзительно добродушным, мягким, но такой дрянной мягкостью, что Гримберт вновь невольно вспомнил дворцовую кухню, на которой взорвался сервус.

— Если вы, ваше сиятельство, соизволите еще раз отказаться от трапезы, я не побрезгую спуститься в ваши покои — и вышибу все ваши белые красивые зубы до единого. Собственноручно. Я думаю, из них получится отменное ожерелье для Орлеанской Блудницы, она падка на такие вещи… Ах да, после того, как вы лишитесь зубов, я велю вставить вам в глотку шланг от горючки и пропихивать через него еду, которую любезно будет разжевывать для вас Ржавый Паяц. Как вам такая перспектива, мессир?

Это испытание, подумал Гримберт. Просто еще одна пытка, которую он выдержит с христианским смирением, как подобает рыцарю, даже если…

Его предало собственное тело. Уловив миг слабости, оно безотчетно впилось руками в кусок дрянного хлеба, валяющийся в нечистотах и, прежде чем Гримберт понял, что происходит, впилось в него зубами.

Твердый, прелый, отдающий мякиной, травой и опилками. Гримберт глодал его, точно голодный пес, захлебываясь от жадности, давясь крошками и собственной слюной, задыхаясь. И съел по меньшей мере половину, прежде чем осознание происходящего хлынуло из каких-то внутренних отсеков, заставив его судорожно выгнуться в рвотном позыве, тщетно пытаясь извергнуть все съеденное на мерзлую землю.

— Будем считать, это разногласие мы с вами решили, — заметил Вольфрам, с усмешкой наблюдавший за ним, — Вот видите, ваше сиятельство, до чего странно устроен мир. Среди той сотни человек, гостеприимством которых вы пользуетесь, не найдется ни одного, умеющего читать, а мамку свою и вовсе знает хорошо если каждый десятый. Однако даже они, эти безграмотные черти, способны научить вас манерам!

Ныне и в час смерти нашей. Аминь
Nunc et in hóra mórtis nóstrae. Ámen

Больше Гримберт молиться не пытался.

* * *

Иногда его навещали Вольфрамовские прихвостни, взявшие на себя роль офицеров в этой разбойничьей банде. Эти обычно молчали, но разглядывали его так пристально, что внутренности смерзались в еще более тугой клубок. Как разглядывают свинью, предназначенную на убой, прикидывая, не отъелась ли она в достаточной мере. С интересом, от которого в его пустом желудке колыхалась холодная слизь.

Он научился узнавать их, хоть и не желал того. Мозг, большую часть времени проводивший в спасительном забытьи, бесконечно твердя потерявшие смысл строки молитв, невольно вычленял отдельные черты из общего месива, омерзительного и грязного, пока эти черты не сложились сами собой в подобие картин. Портретов самого дурного свойства, которыми никогда не украсили бы даже захудалую каморку в Туринском палаццо.

Первым из них, конечно, был Ржавый Паяц. Вообразив себя

чем-то вроде личного камердинера и тюремщика в одном лице, он не упускал ни единой возможности навестить «маркграфские покои» и редко являлся с пустыми руками. Для высокого гостя у него всегда было что-то запасено — котелок помоев, кусок мерзлой земли, которым он норовил запустить ему в голову или, на худой конец, очередная дрянная шутка.

— Ах, ваше сиятельство! — скрипя, восклицал он на рассвете, едва только проверив смену часовых вокруг лагеря, разглядывая Гримберта, съежившегося под своей вонючей шкурой и дрожащего, как новорожденный цыпленок, — Прислуга говорит, вы опять скверно почивали этой ночью. Что такое? Опять дурные сновидения? Ничего, мессир, в следующий раз я спою вам колыбельную!

Это существо, похожее на обросший ржавой броней скелет, было исполнено злости ко всему сущему, причем злости не грубой, разбойничьей, а хорошо выдержанной. Этой злостью он щедро награждал всякого, кто имел неосторожность попасться ему на пути — растяпу-часового, выронившего аркебузу, замешкавшегося охотника или даже собрата из той касты самозванцев, что именовали себя офицерами.

Гримберт для него, звенящего старым металлом старикашки, стал настоящей отдушиной. Мишенью для всей его неистраченной за день злости. Обыкновенно Ржавый Паяц являлся к яме уже с рассветом, спеша выплеснуть ему на голову вперемешку с помоями придуманные за ночь остроты, а вечером он же провожал ко сну, хрипло похохатывая и скрежеща своими невесть как держащимися вместе потрохами.

Гримберт сносил все издевки молча, не удостаивая своего личного тюремщика даже взглядом. Для него быстро сделалось ясно, что Ржавый Паяц, несмотря на всю свою показную свирепость, не занимал в «Смиренных Гиенах» видного положения. Занимая согласно разбойничьему табелю о рангах положение квартермейстера, он заведовал рутьерским обозом, на деле же чаще всего исполнял обязанности секретаря Вольфрама Благочестивого, шута и слугу для особых поручений. Может, тем и объяснялась его злость на весь мир — превращенный чьей-то волей в боевого сервуса, он был лишен той единственной услады, которая им дарована — радости боя.

Еще одним частым его гостем был Бражник.

Одышливый толстяк, чью нездоровую полноту не скрывал даже просторный балахон. Во всякую пору дня он был облачен в просторный балахон из грубой мешковины, который со всех сторон необычайно плотно был навьючен сумками, кошелями, флягами и склянками. Неудивительно, что при передвижении он

издавал столько булькающих, сопящих, стенающих и гудящих звуков, что его приближение можно было предсказать раньше, чем наступление Пасхи. Но полнились все эти контейнеры и емкости, связанные между собой гофрированными шлангами, гудящими фильтрами и муфтами отнюдь не вызревающим вином.

За толстым стеклом фляг можно было разглядеть плавающие в полупрозрачном растворе потроха самого Бражника. Бесформенную кляксу его селезенки, бледные дрожащие ломти легких, колышащееся пурпурное месиво, похожее на стиснутую чрезмерно тесным аквариумом медузу — его печень.

Посмеиваясь и подмигивая, Бражник ежеминутно проверял их состояние, придирчиво изучая многочисленные термометры, барометры и сложно выглядящие датчики.

— Тромбоцитов многовато нынче… — бормотал он, щелкая ногтем по каким-то клапанам, выдающимся из его тела и издающим отрывистый свист, — И уровень лимфоцитов на четверть ниже нормы. То-то я чувствую боли опоясывающие и голова звенит. Ну ничего, мы сейчас магния карбоната немного впрыснем, да кросповидона, может, с Божьей помощью до вечера-то и дотянем…

Его общество не тяготило Гримберта — несмотря на то, что в «Смиренных Гиенах» Бражник выполнял важную роль, отвечая за всю рутьерскую артиллерию, нрава он был незлобного и больше напоминал брюзгливого крестьянина, чем профессионального душегуба. Часто сидел на краю и клял жизнь или рассказывал какие-то дурацкие истории, в которые Гримберт не вслушивался.

Он вообще не вслушивался особо в те обрывки разговоров, что долетали до него. Рутьеры редко обсуждали что-то стоящее, а если и болтали, обыкновенно зубоскалили, как и полагается всякому терпящему вынужденное безделье человеку, чихвостили друг друга почем зря и вспоминали старые деньки — жратву, которую они жрали, и женщин, чьим расположением пользовались. Их рассказы обычно были столь омерзительны и полнились столь дрянными деталями, что после них даже помои, которые ему доставались на завтрак, уже не казались такими уж зловонными. Да и голоса были под стать. Визгливые, злые, рыкающие — и впрямь стая гиен на привале, лениво разодравшая свою незадачливую добычу и ссорящаяся ради самых сладких кусков.

Чтобы не слышать их, Гримберт охотно вставил бы в каждое ухо по пучку грязной соломы. Мешала только брезгливость и надежда услышать из своего узилища хотя бы крохи полезной ему информации. Впрочем, было еще кое-что, в чем он стыдился признаться себе самому. Было еще любопытство. Затаенное, но

оттого не менее постыдное. Во всем лагере был лишь один человек, чей голос он ловил, безотчетно, как чуткий радар ловит всплеск сигналов на заданной частоте. И, в ответ на этот звук, уловленный им из глубины своей зловонной ямы, сердце как будто бы начинало делать на один удар больше положенного.

* * *

Орлеанская Блудница. Она не была ни маркитанткой, ни наложницей Вольфрама Благочестивого, как он сперва было предположил, исходя из ее малопочтенного прозвища. Ее положение в крысиной стае, воображающей себя армией гиен, оказалось не так-то просто понять, тем более, что сама она была молчалива по природе и, бывало, целыми днями не открывала рта или же пропадала где-то вдали от лагеря, возвращаясь лишь под вечер.

Она никогда не отчитывала лесорубов за малое количество дров, как Ржавый Паяц, не обрушивалась с руганью на кашеваров и считала ниже своего достоинства пререкаться с хозяйственной обслугой, обеспечивающей лагерь всем необходимым. Зато она умела находить общий язык с теми, кто по неосторожности или в силу природной глупости имел неосторожность вызвать гнев Вольфрама. Воришку, застигнутого на краже у своих собратьев, она не стала долго отчитывать. Лишь кратко выдохнула заковыристое ругательство на кельтском, после чего одним коротким ударом вышибла из бедолаги полдюжины зубов и по меньшей мере половину его бессмертной души. Гримберт не видел этой картины, обзор из его личной ложи был недостаточен, чтоб наблюдать за сценой, зато отлично слышал детали.

В другой раз обошлось еще короче. Одного из рутьеров поймали при попытке к бегству. Может, его вконец утомило общество гиен, озлобленных жизнью, сварливых и вечно готовых разорвать друг друга, кабы не хлысты офицеров да Вольфрам Благочестивый, которого боялись пуще маркграфских егерей. А может, ему просто надоело терпеть высасывающий душу холод Сальбертранского леса. Как бы то ни было, патрули Бальдульфа, прочесывавшие окрестности лагеря среди ночи, притащили незадачливого беглеца обратно в лагерь и суд над ним оказался еще короче, чем можно было предположить.

Никто не предлагал ему оправдаться, никто не зачитывал приговора.

— А, что уж там… — пробормотал Вольфрам, — Блудница, твоя работа.

Гримберт услышал короткий скрип взводимого курка, после чего наверху негромко хлопнуло. Не аркебуза, машинально определил Гримберт, что-то небольшое, но с хорошим боем, может, кремневая крупнокалиберная пистоля. Спустя минуту рутьеры швырнули в яму тело, с которого уже содрали всю одежду до исподнего, с нелепо разбросанными руками, неестественно широко раскрытым ртом и головой, похожей на раздавленный плод, из трещин в которой все еще вился пороховой дымок.

— Новый сосед вам, ваше сиятельство, — буркнул Ржавый Паяц, — Только не очень-то с ним озорничайте по ночам, мессир…

Нет, Орлеанская Блудница не была ни маркитанткой, ни наложницей. Она была личным палачом Вольфрама Благочестивого, а еще капитаном его небольшой тяжеловооруженной гвардии.

Вслушиваясь в ее шаги, Гримберт всегда отмечал, до чего сильно скрипит приминаемый ею снег — будто эта женщина, весящая, судя по голосу, едва ли более, чем квинтал со стоуном[17], несла на своих плечах солидную ношу, точно монах, увешанный тяжелыми веригами. Иногда он слышал сопровождающий ее движения тяжелый шелест железа, хорошо ему знакомый, железа не дрянного и ржавого, а хорошо закаленного и прокованного.

У него ушло немало времени, чтобы понять — этот звук издает доспех. И, судя по всему, не какой-нибудь легкая пехотная кираса, которыми щеголяли самые удачливые из рутьеров, а настоящий стальной панцирь, к тому же в комплекте со всем тем, что носили обычно его венценосные предки позабытых древних эпох — горжетом, набедренными щитками, наголенниками, сабатонами… Великий Боже, подумал он, эта женщина, должно быть, носит на себе чертову груду железа. И непохоже, будто этот вес ее гнетет или сильно обременяет. Уму непостижимо…

Только тогда он понял, отчего голос Орлеанской Блудницы, изредка доносившийся до его крысиных покоев, звучит приглушенно, точно через резонатор или огромную стальную бочку. Она не снимала шлема. Вообще не снимала. Днем и ночью ее лицо было закрыто стальным забралом, которое она никогда даже не приподнимала, а если ела, то лишь в уединении собственного шатра, не утруждая себя компанией.

Будь она монашенкой, Гримберт предположил бы, что это какой-то извращенный метод усмирения плоти, вот только Орлеанская Блудница, молчаливый палач Вольфрама, меньше всего была похожа на человека, озабоченного будущим своей

бессмертной души. Гримберту приходилось встречать людей, по доброй воле облачающихся в стальной доспех, похожий чертами на карикатурный, уменьшенный во много раз, рыцарский, вроде тех, что носили его далекие предки, еще не облагодетельствованные технологиями телеметрии, расщепления атома и гидравлических сочленений. Обычно подобным образом облачались некоторые из придворных туринских вельмож, однако делали они это руководствуясь не столько необходимостью защиты собственной жизни, сколько подчиняясь веянию моды, чтобы подчеркнуть благородство происхождения и многовековую связь с древними рыцарями. Он и сам тайком от отца и майордома примеривал лежащий в замковой оружейной барбют[18], оставленный его невесть в каком поколении прадедом, оттого знал, до чего тяжело носить на плечах эту тяжеленую железяку, как сильно она ограничивает обзор и препятствует свободному дыханию.

Орлеанская Блудница делала это по собственной воле и без нареканий, подчиняясь непонятным ему мотивам. Гримберт размышлял об этом иногда, не столько для того, чтоб унять любопытство, сколько по той причине, что все прочие мысли и догадки, которые ему оставались, обыкновенно были связаны с самыми дурными предположениями и оттого несли с собой лишь дополнительные страдания. Возможно, она, единственная женщина в этой своре, находила утешение в тяжелой броне, противопоставляя ее своей порочной слабой природе? Ведь недаром же сказал кто-то из святых отцов «В женщине преобладает кровь; в ней с особенной силой и утонченностью действуют все душевные страсти, преимущественно же тщеславие, сладострастие и лукавство. Последней прикрываются две первые». Впрочем, в этом случае едва ли Блуднице требовался квинтал латной стали, чтобы удовлетворить эту потребность — тщеславием она была наделена не более, чем прочие рутьеры, сладострастия и лукавства же в ней не угадывалось вовсе, одна только молчаливая холодная ярость, готовая выплеснуться мгновенно и сокрушительно.

Может, это было частью какого-то обета, который она мужественно соблюдала. Или частью неведомого наказания, наложенного на нее неизвестно кем. Или же… Может быть, она просто дурнушка, решил Гримберт, вот и вся загадка. Мало ли среди женского пола тех, на которых без ужаса и не взглянуть? Изуродованное оспой лицо, больше похожее на миску подгорелой каши, изъевшие плоть сифилитичные язвы или россыпь жутких шрамов…

Но чем больше Гримберт об этом размышлял, тем больше

склонялся к мысли, что шлем Орлеанской Блудницы скрывал под собой не вопиющее уродство. Почему? Он и сам не смог бы с уверенностью сказать. Может, все из-за голоса. Того голоса, что доносился до его ямы так редко, но по какой-то причине заставлял его напрягаться под ворохом гнилой соломы, точно зашифрованные радиосигналы на какой-то секретной частоте. Противоречивые сигналы, запускавшие в его нервную систему непонятные и смущающие его команды, вроде и мучительные, но несущие какое-то невесть чем обозначенное удовольствие.

Что-то подобное он испытывал в прошлом разглядывая украдкой гравюру с обнаженной девицей, купленную им случайно на улице за два денье и спрятанную между страниц «Отмщения за сира Рагиделя, прозванного Атомным Архангелом». Про эту гравюру не знал даже Аривальд, посвященный во многие его тайны, Гримберт хоть и не понимал сам толком этих сигналов, но внутренне ощущал, что они недостойны рыцаря и природу имеют самую что ни на есть низменную, греховную, и это гнело его.

Нет, она не дурнушка и не уродина.

Его отец потратил многие десятки флоринов на наставников, обучавших его искусству пения и игре на арфе. Деньги эти, несомненно, были выброшены впустую, он не выучился ни тому, ни другому, тратя отведенное на уроки время или на рыцарские романы или на проказы в обществе пажей. Однако эти занятия со временем выработали в нем музыкальный слух, небесполезный в некоторых ситуациях. И этот слух утверждал, что голос Орлеанской Блудницы не был голосом дурнушки. Ни глухой шлем, ни звенящее в ее голосе холодное презрение не могли скрыть его чистоты и безукоризненной правильности произношения. Нет, подумал Гримберт, это не озлобившаяся крестьянка, примкнувшая к рутьерам по неведомым причинам, и уж точно не блудница. И не бывает у дурнушек такого голоса…

Он сам злился на себя за эти мысли. Как бы ни выглядела Орлеанская Блудница под своим глухим шлемом, это никак не могло изменить его незавидной участи. Если она не издевалась над ним, как прочие, то только лишь потому, что не удостаивала его своим вниманием, как не удостаивают вниманием никчемный мусор, валяющийся под ногами. Он был уверен, что стоит Вольфраму произнести «Блудница, твоя работа», указывая на него, как она без всякой жалости свернет ему шею или же вышибет мозги из пистоли, которую всегда держала под рукой. Нет уж, подумал он, избави меня Господи от ее внимания, лучше уж так…

Олеандр Бесконечный. Еще одно странное прозвище — еще один странный человек, невесть по какой причине связавший

свою жизнь с грязным рутьерским отродьем. Этот не бранился, не угрожал, не смеялся. Он, кажется, вообще не произнес ни слова за все время, находя молчание вполне удовлетворительной формой общения. Может, удалил себе язык, как монахи-иеронимиты? Взял на себя обет молчания, искупая старые грехи? Просто презирал всех окружающих настолько, что не считал их достойными услышать его голос?..

Он и двигался так, будто существовал в мире, где кроме него никого и нет, скользящими плавными движениями танцора, который репетирует сложный танец в пустой бальной зале, где потушены даже свечи. Ему ни разу не приходилось с кем-то столкнуться — все прочие с похвальной предупредительностью уступали ему дорогу, а если он поднимал взгляд своих безразличных полуприкрытых глаз, машинально терли грудь, прогоняя сглаз.

Как Блудница не расставалась со своими доспехами, так Олеандр Бесконечный не расставался с оружием. Только был это не элегантный клинок венецианской стали, который не прочь были прицепить к поясу некоторые туринские придворные, а тяжелый громоздкий люцернский молот, покачивающийся у него за спиной, исполинское архаичное чудовище давно прошедшей эпохи, созданное чтобы крушить броню и проламывать черепа вместе со шлемами. Гримберт никогда не видел эту штуку в деле, туринская гвардия для ближнего боя предпочитала куда более практичные алебарды, но был наслышан про его жуткие свойства. Говорят, эта неказистая смесь гизармы с чеканом, похожая на посаженный на древко молот, обладала столь калечащими свойствами, что Папа Римский намеревался даже запретить технологию его изготовления. И обязательно бы запретил, кабы она ни была так подкупающе проста в изготовлении.

Чем занимается в рутьерской иерархии Олеандр, выяснить тоже было непросто, но путем сопоставления обрывков разговоров, которые доносились до его ямы и которые он сплетал воедино с прилежностью подмастерья ткача, его делом в рядах «Смиренных Гиен» была разведка. В сопровождении нескольких рутьеров он исчезал из лагеря еще до рассвета, а возвращался обычно в компании звезд и луны. Что он видел за это время, не знал никто, равно как и того, каким образом ему удавалось поведать об этом Вольфраму. Вот уж что Гримберт послушал бы с большим удовольствием.

Виконт Кархародон. Еще один странный тип из компании Вольфрама, предводитель отдельного отряда легкой пехоты. Этот пользовался среди разбойничьей братии немалым уважением, но едва ли за боевые заслуги. Скорее, за то, что умел изящно

держать себя на благородный манер, снисходительно поглядывая на окружающих с высоты своего роста, обильно используя в речи латынь и обороты из великосветской литературы, смысл которых чаще всего оставался его собеседниками не понят. Наверно, сам Виконт полагал себя образчиком великосветского лоска, но, с точки зрения Гримберта, на благородного был похож не больше, чем захудалая ветряная мельница на графский замок. Да и титул наверняка был фальшивым, как золотая фибула[19], скреплявшая его плащ. В сочетании с крысиными повадками его подчиненных этот фальшивый лоск производил необычайно странное впечатление. Но Виконт, кажется, этого не замечал. Даже в стужу облаченный в изящно отделанную серебряной тесьмой бархатную котту[20], такую длинную, что едва не доставала сапог, поверх которой он носил один только плащ, этот тип вышагивал по лагерю с таким видом, будто был императорским маршалом, совершающим смотр частей.

Возможно, в его жилах в самом деле текла малая толика благородной крови, вот только порченной и полнящейся изрядным количеством накапливаемой поколениями скверны. Чтобы определить это, не требовался генетический анализ, достаточно было просто взглянуть в лицо Виконта — одутловатое, с глубоко запавшими глазами, нелепо вывернутым носом и неестественно узкой челюстью, из которой росли тонкие как иглы зубы. Многие рутьеры могли похвастать куда более выдающейся внешностью, каждый второй среди них носил не менее впечатляющие отметки — шрамы, заросшие следы от картечи поперек лица, пороховые и кислотные ожоги. Но если все эти отметины говорили об их образе жизни и выбранном ремесле, то черты лица Виконта Кархародона были платой его предков за поколения родственных браков, кровосмесительных союзов, генетических хворей и неосмотрительных экспериментов.

Некоторое время Гримберт разглядывал его украдкой, сам не зная, что ожидает увидеть. Влажные от слизи щели жабр, укрытые за пышным воротником? Рыбьи чешуйки на шее? Но ничего подобного не обнаружил, родословная Виконта может и щеголяла явственными дефектами, но Создатель, как будто, не наделил его ничем сверх положенного, если не считать странного чувства юмора.

Что до внешности… Далеко не все благородные роды Туринской марки могли похвастать врожденной безупречностью черт. Гримберт доподлинно знал, что за доброй половиной благородных носов, правильных челюстей и мраморных скул стоят ланцеты лекарей и сложнейшие комбинации зелий. Иной раз следы вырождения оказывались так глубоко зарыты в

генокоде, что даже скальпель лекаря был бессилен исправить все уродства, и тогда на смену ему приходил другой инструмент — кисть художника. Придворные портретисты наживали состояния, изображая подобных страдальцев, в меру такта и собственного мастерства маскируя их внешние пороки.

Вспомнить хотя бы графа Монфраат. Древностью рода способный поспорить со многими вельможами из Аахена, он вынужден был вести жизнь затворника, никогда не выходил в свет, не наносил визитов и сам не привечал гостей — по его заверениям, по той причине, что отринул все искушения и соблазны светского мира, посвятив жизнь изучению Святого Писания. Но были и другие версии, которыми охотно делились друг с другом пажи и придворные сплетники, в частности о том, что генофонд рода Монфраат, щедро подкармливаемый запретными технологиями омоложения, еретическими декоктами и регулярным инбридингом, в конце концов превратился в такое болото, которое даже человекоподобных наследников производило не в каждом поколении, те же счастливчики, что имели сообразное человеческой особи количество руки и ног, все равно вынуждены были пожизненно носить глухие капюшоны, скрывая свои многочисленные уродства.

Может граф Монфраат и удалился бы от света, как многие его предшественники, кабы не насущная необходимость — будучи последним представителем своего рода, он вынужден был искать возможность если не очистить его от скверны, то хотя бы продолжить его в веках, не допустив увядания драгоценных генов. И поначалу казалось, что все его старания обречены пойти прахом. Он не жалел денег для художников и портретистов, которые силились изобразить его матримониальный портрет в таком свете, чтобы не ужаснуть будущую невесту, но удавалось это далеко не каждому. Он щедро платил всем — если не за достойный результат, то за молчание. Впрочем, иногда и это не помогало. Так, один из его портретистов, какой-то мэтр из Брно, после третьего или четвертого сеанса позирования повредился в уме и бежал из замка Монфраат позабыв даже лошадь и плащ. Сердобольные крестьяне привели его в таверну и попытались отпоить крепким вином, однако несчастный, окончательно перестав отличать явь от вымышленных поврежденным рассудком грёз, лишь вздрагивал и бормотал: «Лошадиная шкура… прямо на потолке… плесень… фиалки».

Тем не менее, несмотря на этот досадный случай, портреты графа Монфраата, разосланные по многим окрестным герцогствам и графствам, оказались недурны, по крайней мере, не вызывали явственного отвращения. О том, сколь далеки они от

реальности кроме досужих слухов свидетельствовала разве что череда досадных трагических случайностей, которые начали происходить с его молодыми наречёнными. Так, первая прожила после свадьбы всего два дня, после чего выпала из окна замка и скоропостижно скончалась несмотря оказанную ей помощь. Вторая по какой-то причине оказалась затянута в гидравлический пресс для белья — обыденная смерть для горничных и белошвеек, но не для супруги графа. Что было с третьей доподлинно неизвестно, тело ее увезли священники в крытой телеге, четвертая проткнула себе горло столовым ножом, с пятой тоже вышло что-то недоброе…

Говорят, в какой-то момент граф Монфраат совершенно отчаялся завести наследника. Он продолжал рассылать портреты, надеясь на хоть какую-то матримониальную партию, но ворота замков захлопывались перед носом у его гонцов с такой скоростью, будто те были разносчиками чумы. Ни один из уважаемых родов франкской империи более не спешил вступить с ним в кровную связь, очень уж незавидны были последствия.

Отчаявшись, граф Монфраат изъявил желание жениться даже на девушке из незнатного рода, пусть даже вообще из черни, лишь бы была молодой и здоровой, способной выносить его потомка. Мало того, обещал всякому отцу, чья дочь будет благословлена на брак с ним, тридцать тысяч флоринов. Но лишь с тем условием, если молодая супруга на протяжении семи дней после венчания не покинет замок и не лишит себя жизни. Это предложение прельстило многих. К замку Монфраат потянулись целые процессии, точно на ярмарку, только в этот раз телеги везли не спелые тыквы и не яблоки, а юных девиц со всех окраин империи.

Наверно, придворные живописцы в самом деле порядком приукрасили облик графа Монфраат, потому что ни один счастливый отец не смог похвастаться тем, будто получил от графа хотя бы медный грош. Условия договора оказались невыполнимы. Стоило взволнованной невесте увидеть наречённого жениха, как с ней делалось что-то нехорошее, разрушающее все надежды на счастливый союз. Самые удачливые, говорят, лишались чувств или теряли память, те, кому повезло меньше, могли утратить разум или слечь с мозговой горячкой.

Ни одна из невест не была достаточно сильна духом даже для того, чтоб дойти до алтаря, а та единственная, что все-таки дошла, несколькими часами позднее выбросилась на мостовую из церковного окна. По всему выходило, что граф Монфраат останется при своих деньгах и при своем генетическом материале, но помог случай. А еще — крестьянская хитрость.

Какой-то крестьянин из Саксонии, прознав про обещание, привез на выданье дочь и, кажется, был весьма горд своей смекалкой. Осталась ли столь же довольна дочь, выяснить не представлялось возможным — счастливый отец счел за благо избавить ее от глаз, ушей и носа, чтобы внешний вид жениха не привел ее в ужас, а заодно на всякий случай перерезал сухожилия на руках и ногах, чтобы сделать невозможным бегство из-под венца.

История кончилась на удивление хорошо. Пара сочеталась законным браком, после чего ни один из числа туринских сплетников не имел оснований сказать, будто бы кто-то из супругов выражал недовольство или был заподозрен в манкировании семейными обязанностями. Разве что случайные путники с тех пор обходили замок Монфраат десятой дорогой, даже если приходилось идти через топь — прошел слух, что счастливая жена в скором времени сделалась матерью, и никто не желал столкнуться с отпрыском этой четы даже не зная наверняка, какую последовательность генов он унаследовал от своих родовитых предков — просто из осторожности…

* * *

Но паршивее всего Гримберт себя ощущал, когда в яму заглядывал Бальдульф. Это случалось нечасто, но всякий раз, когда он видел коренастый силуэт в шубе на фоне обмороженного бледного неба, то рефлекторно вздрагивал, точно от электрического разряда.

Мьедвьедь. Проклятый демон зимнего леса. Безжалостное злобное чудовище.

Ему надо было испепелить его, когда была возможность, но тело подвело, запасы смелости оказались не так велики, как ему казалось, а потом момент был упущен — и уже навсегда. Бальдульф не упражнялся в остроумии, как Ржавый Паяц, но и не игнорировал его подобно Орлеанской Блуднице. Но лучше бы бранился или швырялся всякой дрянью, как прочие.

От его мрачной усмешки, заглядывающей в яму, точно зловещая Луна Охотника[21], Гримберт ощущал, как отвратительно ноют потроха, будто заново вспоминая всю ту боль, что им довелось пережить. Эта ухмылка, похожая на мрачный волчий оскал, была единственным украшением хмурого и невыразительного лица Бальдульфа, не считая россыпи старых шрамов, заработанных явно не христианским трудом. И обладала свойством вселять самые паскудные мысли.

Вот оно, решил Гримберт, силясь не съежиться под этим взглядом, не превратиться в жалкую мокрицу на дне своей зловонной ямы. Волк. Тяжелый, кряжистый, насупленный, Бальдульф и верно выглядел потяжелевшим и постаревшим волком на фоне визгливых вечно голодных гиен, однако волком, которому еще долго никто не осмелится бросить вызов. Вот уж в ком точно была разбойничья кровь, едкая, как токсичный топливный окислитель.

Бальдульф. Ублюдок, которого он едва не сжег лайтером посреди леса. Мрачный выродок с повадками не то уличного головореза, не то прожженного каторжника. Правая рука Вольфрама, и рука более карающая, чем занятая какой-то иной работой.

От Гримберта не укрывалось то, как рутьеры сторонятся Бальдульфа. Беспрекословно подчиняясь ему и выказывая все знаки уважения, они, в то же время, должно быть своим звериным чутьем безошибочно угадывали в нем волка, чужой биологический вид, находящийся с ними лишь в дальнем родстве. И вполне способного про это родство забыть, если того потребуют обстоятельства. Замкнутый в себе, нелюдимый, насмешливый, он явно не являлся душой здешней компании, однако, несомненно, в общем устройстве машины под названием «Смиренные Гиены» играл роль какого-то важного незаменимого агрегата.

Он был старше всех прочих, это ощущалось в его движениях, в его усмешке, в его взгляде. Сколько ему было? Лет сорок? В кругу рыцарей такой возраст не мог считаться солидным — если генетика благоволит, старания придворных лекарей могут растянуть срок жизни гораздо, гораздо дольше. Но для разбойника это, без сомнения, был почтенный возраст. На одного дожившего до седин, приходится несколько сотен менее удачливых собратьев — расстрелянных в бою, удавленных втихомолку завистливыми товарищами, сдохших от голода в канавах, растерзанных палачами, угасших на каторге… То, что Бальдульф прожил так долго, говорило о нем больше, чем записи в чемпионских книгах сорока окрестных графств.

Даже со дна своей ямы Гримберт замечал, до чего опасливо и уважительно к этому рубаке относятся прочие рутьеры, включая предводителей отрядов. И высокомерный Виконт и презрительно брюзжащий Паяц и холодная, как отравленный стилет, Блудница — все они разве что зубами не щелкали, когда их случайно касался подсвеченный недоброй ухмылкой взгляд Бальдульфа. Наверно, они тоже неуютно ощущали себя в его обществе.

В отряде «Смиренных Гиен» Бальдульф занимал должность не очень звучную и не очень внушительную, однако весьма

немаловажную для сведущего человека — он был начальником резерва. Рутьеры именовали ее на свой лад, но Гримберт машинально переводил обрывки доступной ему информации на более привычный ему язык. Бальдульф был тем, кто командует резервными силами, теми неприкосновенными запасами, которые вступают в бой в последнюю очередь, в тот судьбоносный миг, когда определяется исход битвы. И от того, сколь хорош резерв, зависит то, чем обернется сражение, безапелляционной победой или позорным разгромом.

Может, потому Бальдульф и держался особняком среди прочих, не разделяя с ними ни бесед, ни вина, ни общества. Если что-то и могло заставить его явиться в общий шатер, используемый «Смиренными Гиенами» для сборов, то лишь прямой приказ Вольфрама.

Это неизменно удивляло Гримберта. Этого он не мог понять, несмотря на все свои наблюдения. Отчего этот грозный лесной демон, принявший человеческое обличье, этот чертов Мьедвьедь, способный растерзать любого противника голыми руками и не терпевший над собой ничьей власти, так покорно выполнял приказы Вольфрама Благочестивого? По всему было видно, что ему не занимать опыта, а если дойдет до схватки меж ними, шансов на победу у Вольфрама не больше, чем у мальчишки, вооруженного пращой, одолеть исполинского «Великого Горгона» герцога де Гиеннь. И все же, стоило Вольфраму отдать приказ, как Бальдульф, этот могучий озлобленный на весь мир волк, покорно клацал зубами и отправлялся исполнять поручение.

Вольфрам…

Гримберт хотел бы изгнать из памяти это имя, однако оно поселилось в мозгу, сгустившись где-то у темени крохотной и очень тяжелой опухолью. Эта опухоль неизбежно завладевала всеми его мыслями, она правила его страхами и окрашивала чувства. Даже не опухоль, а осколок засевшего в мозговых оболочках шрапнельного снаряда, вызывающий страшный зуд, который он бессилен был извлечь.

Вольфрам.

Гримберт не осмеливался произносить это имя даже мысленно, ему казалось, что он катает во рту отравленный плод какого-то смертельно опасного растения или шарик крысиной отравы.

Вольфрам.

Властитель «Смиренных Гиен», железной рукой управляющий стаей свирепых лесных хищников. Самовольный захватчик маркграфских земель, так ловко свивший логово в Сальбертранском лесу, что даже отцовские егеря не сознавали

истинной картины происходящего. Трусливый садист и хитроумный интриган, который дважды обвел его вокруг пальца, причем с оскорбительной легкостью, как ярмарочного дурачка.

Чем больше Гримберт всматривался в его лицо, тем больше недоумевал, пытаясь понять, как этот самодовольный тиран, чванливый невежа и скудоумный выродок, принявший оскорбительно неуместное прозвище Благочестивого, обрел власть над выводком лесных хищников, способных в легкую растерзать на лоскуты даже прожженного и прокопченного пороховым дымом головореза.

Он явно не был достаточно силен, чтобы завоевать уважение в разбойничьей среде так, как это делает большинство вожаков. Тяжелый в движениях, неуклюжий, отрастивший по меньше мере четыре лишних стоуна[22] веса на дряблых боках, он не любил брать в руки оружия, а если брал, то обращался с ним неумело и неловко. Он кряхтел даже если ему приходилось натягивать сапоги без помощи Ржавого Паяца, и в повседневной жизни скорее походил на ворчливого старика, чем на заядлого бретера или хитрого головореза.

Представить его на ристалище, с кинжалом ли, с аркебузой ли, было совершенно невозможно. Даже тот коварный удар, которым он наградил Гримберта в памятный день их знакомства, не был признаком мастерства, скорее, обычной в среде лиходеев уловкой, до которых многие из них большие мастера. Если бы Вольфраму довелось выйти на бой против любого из своих «офицеров», Гримберт не колеблясь поставил бы полновесный флорин на его противника, кем бы он ни был. А Бальдульф и вовсе разорвал бы его в клочья со связанными за спиной руками. Нет, власть Вольфрама Благочестивыми над сборищем кровожадных гиен зиждилась явно не на силе. На чем-то ином.

Быть может, он стяжал себе лавры превосходного военачальника, принося своему грязному воинству бесчисленные победы? Нет, едва ли. В этом Гримберт убедился со временем, вынужденный слушать, как Вольфрам общается с разведчиками и патрулями из числа своего крысиного воинства, как ставит задачи и разграничивает зоны. Его представления о руководстве знаменами не сильно отличалось от представлений диких вендов, разве что его люди были куда лучше вооружены. Он явно не имел ни малейшего понятия о таких тактических приемах, как дебуширование, эксфильтрация или пехотный караколь, и даже в засадном искусстве, принесшем ему победу, проявлял больше звериную хитрость и смётку, чем понимание их боевой сути.

Черт возьми, даже читать он толком не умел, если ему приходилось разбирать обозные ведомости, прикидывая сколько

боккале[23] пороха осталось, он звал себе на помощь кого-то офицеров, и долго ворчал, пытаясь сложить самые простые числа.

Он вовсе не злой гений, с горечью понял Гримберт, грызя отдающую плесенью хлебную корку. Не величайший разбойник, не отъявленный хитрец и не дьявольский посланник. Он просто проявил толику звериной хитрости там, где он сам, Гримберт, проявил самонадеянность и гордыню. Если бы он не гнал «Убийцу» полным ходом, отбившись от верного «Стража»… Если бы проявил осмотрительность и вовремя заметил засаду… Если бы…

Нет, подумал Гримберт, этот мерзавец не просто талантливый разбойник, которому судьба в силу какой-то прихоти послала удачу. Тут что-то другое. Что-то, чего я пока не могу понять, но что обязательно пойму — пойму еще до того, как услышу его предсмертный визг на Туринской дыбе…

Очень уж легко подчинялись воле этого самозваного рутьерского князька прочие головорезы — Виконт, Бражник, Блудница, Олеандр, даже мрачный Бальдульф, а ведь каждый из них, пожалуй, легко мог вытряхнуть из его старческого тела вцепившуюся в высохшие кишки злобную душонку. Они не боялись его, хоть и поглядывали с опаской, они уважали его, как способны уважать только душегубы, признавая за вожаком какую-то неподвластную им самим силу. И то, что Вольфрам Благочестивый платил им за это не благодарностью, а насмешками и руганью, ничуть не умаляло их преданности ему.

Опасный человек, подумал Гримберт, пытаясь спрятаться от холода под зловонной шкурой и чувствуя приближение сна, тяжелого, но дарующего кратковременное забытье. Злобный, хитрый, безжалостный и очень, очень опасный. Никакой другой не смог бы завоевать власть среди «Смиренных Гиен», мало того, повести их едва ли не на верную гибель, в негостеприимную Туринскую марку, да еще посреди зимы.

Значит, у него есть цель. И еще какая-то сила, которой он повелевает, чтобы эту цель достичь. Надо только забыть про пульсирующую боль в желудке, про нестерпимый зуд от ошейника, про смертный холод, терзающий его кости, сосредоточиться, как учил Вальдо при игре в шахматы и…

Сон теперь приходил к нему внезапно, милосердно отключая от всего сущего, точно аппаратуру рыцарского доспеха.

Часть 4

«Смиренные Гиены», как и полагается хищникам, просыпались рано, у них не было ни толстых ватных перин, чтоб подолгу нежиться, ни богатых запасов подкожного жира, чтобы позволить себе праздную бездеятельность. Инстинкт будил их еще на рассвете, когда небо еще было похоже на черную подтаявшую полынью, наполняя лагерь перебранками, звоном котлов и насмешливой перекличкой.

Где-то там, на поверхности, невидимая ему, пробуждалась жизнь — злая голодная жизнь, ждущая возможности впиться кому-то острыми зубами в живот. Жизнь, бесконечно чужая Гримберту, непонятная ему и пугающая. Из своей ямы он слышал лишь ее отголоски, но по этим отголоскам, как чуткий радар, ловящий отраженный сигнал, силился воссоздать картину. Лишь быть дать хоть какую-то пищу агонизирующему угасающему рассудку. Пищу, которую уже не могло дать ему замерзшее, избитое и голодное тело.

Обычные работы по лагерю не представляли никакого интереса. «Гиены» делали все то же, что делают обитатели всякого походного лагеря, вынужденные остановиться посредине леса. Заготавливали дрова, варили нехитрую снедь, от которой ему доставались лишь объедки, остервенело ругались из-за очередности вставать в дозор или ухаживать за оружием. Побуждаемые окриками офицеров и щедрыми затрещинами, они топили снег, смазывали тележные оси, ремонтировали прохудившиеся шатры и все это время ожесточенно переругивались, выясняя отношения в сложной разбойничьей иерархии, омерзительно шутили и прочим образом коротали время.

Они здесь не по своей воле, внезапно понял Гримберт, осененный догадкой. У них нет запасов еды и теплой одежды, у них нет надежного зимнего транспорта, морозостойкой смазки и всех тех вещей, которыми заблаговременно запасается опытный путник, предполагая зимовку посреди леса. Судя по тому, как скуден их рацион и как скверно они ориентируются в округе, «Смиренные Гиены» вовсе не планировали скоротать зиму, спрятавшись в Сальбертранском лесу. Если они и явились сюда, то с определенной целью. Целью, которой явно не спешили делиться с сидящим в яме узником.

Кажется, Вольфрама Благочестивого не очень интересовало ворчание его людей. Он не уделял внимания их питанию и почти

не интересовался охранением, будто собственная безопасность ничуть его не беспокоила. Если он чем-то и интересовался, так это докладами разведывательных партий, которые собирал каждый день с щепетильностью скорее въедливого старого дьячка-летописца, чем предводителя разбойников. Гримберт не мог расслышать деталей, зато слышал напряжение в его голосе и это напряжение говорило ему о том, что «Смиренные Гиены» прибыли в лес вовсе не для того, чтоб устроить охоту на самоуверенных маркграфских отпрысков. Их вело что-то другое. Что?

Он не мог этого определить. Отчаянно напрягая рассудок, пытающийся ускользнуть от безжалостной реальности в чертоги сладких галлюцинаций, он обнаружил, что почти ничего не может сказать о побудительных мотивах «Гиен», поскольку почти ничего не знает о самих рутьерах.

То немногое, что он знал, было подчерпнуто от Алафрида или Магнебода и подробностей в нем было не больше, чем шкварок в похлебке посреди Великого поста. «Война — злой и жадный едок, которого мы согласны насыщать, пока он платит по счету, — как-то степенно ответил ему будущий императорский сенешаль, поглаживая ухоженную бороду, — Но ей мало сожрать тучного тельца и выпить бочку пива. Она сожрет все пастбище разом, потом сожрет мельницу, потом целое графство, следом соседнее, лес, поле… Но больше всего она любит мясо, все сорта мяса, которые только бывают. И сладкое герцогское и горькое крестьянское. А рутьеры… Что ж, это самое паршивое мясо из всех, которое есть в нашем распоряжении, полное трупного яда и зловонное. Но порой дела обстоят так скверно, что и его приходится кидать в котел».

Польщенный тем, что боевой соратник отца говорит с ним наравне, как с взрослым, Гримберт не обратил тогда должного внимания на эти слова. Но снова и снова вспоминал сказанное, разглядывая кусок неба голого неба над головой, обложенный полупрозрачными облаками и напоминающий обмороженную рану от граненого четырехугольного штыка.

Рутьеры никогда не могли стяжать себе воинскую славу. Они и не были воинами — ни по призванию, ни по выучке, всего лишь сбродом, стекшимся со всех концов империи на запах поживы. Они сами избирали себе вожаков, которых нарекали офицерами, и следовали за ними, но лишь пока те были достаточно благоразумны и щедры. После чего перерезали им глотки и выбирали следующих.

У них никогда не было настоящей воинской выучки, да и не могло быть. В своих действиях они подчинялись не столько

тактическим наставлениям, сколько разбойничьим инстинктам, повелевающим или впиваться в глотку своей жертве или драпать без оглядки, спасая шкуру. У них не было достойного арсенала, не говоря уже об экипировке единого стиля, каждый бился тем, что имел, или тем, что удалось отнять у соседа. У них не было знамен, ведь геральдические цвета не имели для этого сброда никакого значения. У них не было представлений о чести, для вчерашних крестьян и рудокопов воинская честь была лишь громоздкой обузой, не более ценной, чем дохлая лошадь. У них не было девизов — их извечным девизом был древний, как сами человеческие страсти, голодный рык.

Рутьерские банды с гордостью именовали себя отрядами и во многом силились подражать настоящим армиям, однако дело резко заходило дальше украшения себя на ландскнехтский манер в попытке перещеголять всех прочих. Их неумолимая разбойничья природа неумолимо брала верх над всякой воинской дисциплиной, едва лишь над полем боя начинали грохотать пушки.

Вчерашние грабители, беглецы, нищие, чернорабочие, батраки и каторжники, они ничего не смыслили в военной науке, но, как все примитивно устроенные хищники, компенсировали это одновременно безоглядной яростью и столь же потрясающей трусостью. Они мгновенно оставляли позиции, которые оказывались под огнем вражеских бомбард, даже если за ними располагались заградительные отряды сеньорских войск. Они тотчас забывали про все данные им приказы, как только чуяли добычу. Они безудержно бежали от всякого мало-мальски организованного натиска, а о контратаках имели такое же представление, как добродетельные отцы Церкви о публичных домах.

Они учиняли столь вопиющую резню в каждом взятом городе, что относительный порядок его новому владельцу удавалось установить только после того, как перекрестки украшались виселицами с рутьерскими телами. В открытом столкновении они зачастую проигрывали даже берзигелам, слабовооруженному маркграфскому ополчению из вчерашних крестьян и рудокопов. Но стоило им только ощутить сладкий вкус вражеского мяса…

Может, Гримберт мало что знал о рутьерской сути, но о подвигах этой разбойничьей братии он, пожалуй, знал не меньше самого Алафрида, очень уж часто те служили предметом пересудов среди мальчишек. Так что о многих собратьях «Смиренных Гиен» ему приходилось слышать, пусть и краем уха.

О «Венценосных Сподвижниках», учинивших столь жуткую резню под Седаном, что сам Папа Римский не погнушался издать

буллу, повелевающую изловить всех ее исполнителей и отправить под нейро-корректор, чтобы привести их великогрешные души к покаянию.

О печально известных «Ребятах из Тренто», которые за одну только ночь вырезали сто пятьдесят тысяч душ в захваченном городе, только лишь потому, что не смогли поделить промеж себя подсвечник стоимость пять денье и половину жареного гуся.

О вздорных «Алых Копейщиках», которые в течении одном только трехмесячном Желчном Вареве столько раз переходили с одной стороны на другую, что в конце концов сочли за благо дезертировать в полном составе — кто бы из сеньоров ни выиграл, их бы непременно развешали на деревьях за все их прошлые заслуги.

О мифических «Мантикорах», чьи отряды возникали из ниоткуда прямо посреди устлавшего поле боя порохового тумана и столь же таинственно исчезали с прекращением огня, оставляя после себя лишь обглоданные кости врагов.

О…

Рутьерское племя было бесчисленным как бурьян по весне. Регулярно выкашиваемое, удобряющее своими потрохами земли от Нанта до Женевы, оно неизбежно восстанавливало свои ряды и вновь пробивалось ростками по всем уголкам империи, впитывая в себя пролитую в бесчисленных войнах кровь. Вновь плелось за армиями на запах поживы, скрежеща зубами, распевая разухабистые богохульные песни, отчаянно сквернословя и учиняя столь безбожный грабеж на своем пути, что не снилось даже сарацинскому воинству.

Рутьерская зараза причиняла империи не меньше неприятностей, чем эпидемии чумы, нашествия лангобардов и крестьянские мятежи, однако в Аахане на нее смотрели сквозь пальцы, не вытравливая как ересь, а дозволяя ленным владетелям разбираться с ней по своему усмотрению и в меру своих сил. Не потому, что недооценивали — как выражался дядюшка Алафрид, единственное, что недооценивали при дворе, это сифилис — а потому, что хорошо знали природу этого бедствия.

При всех своих бесчисленных неудобствах рутьерские банды всегда обладали одним хорошо известным достоинством. Они были недолговечны. Как только утихала война, призвавшая их к жизни, они, подобно кровожадным демонам с наступлением рассвета опрометью бросались прочь, исчезая без следа. Самые проворные и сообразительные тащили в зубах добычу и, если сохраняли здравомыслие, пустив ее в рост, в скором времени могли позволить себе собственный трактир или мельницу — хозяйство, позволяющее положить под лавку старый кистень и

забыть былое ремесло. Те, кому повезло меньше, в короткое время спускали награбленное и возвращались на ту же стезю, уже под другим командованием и с другим названием.

Насколько помнил Гримберт, Туринская марка на протяжении последних пяти лет, после того, как отец разгромил лангобардов, внушив им смертный ужас и обратив в бегство, Туринская марка не знала ни крупных потрясений, ни бунтов, ни войн. Возможно, «Смиренные Гиены» заявились сюда из Салуццо — земли маркграфа Лотара в ту пору прилично лихорадило, отчего по ним повсеместно открывались язвы и нарывы самого разного свойства. Но чего они искали здесь, вдали от родных мест? Почему не распались, как распадаются все рутьерские отряды, лишившиеся привычной работы? Чего ждали здесь, в глубине Сальбертранского леса? Какова бы ни была магнетическая сила их предводителя, Вольфрама Благочестивого, даже последние дураки их его банды должны были понимать, что стоит им привлечь к себе чужое внимание, как каждый из них мгновенно получит кусок просмоленной веревки без долгих разбирательств — маркграф Туринский никогда не утруждал себя сложной судебной процедурой.

И все же они были здесь. Ютились в лесной чаще, страдая от холода и мучаясь бездельем, зверея день ото дня. Последнее Гримберт чувствовал особенно отчетливо — злость Гиен выливалась в первую очередь на его собственную голову потоком желчи, оскорблений и помоев.

Странная манера поведения для разбойников. Достаточно Вольфраму произнести одно-единственное слово в нужном радио-диапазоне, отец заплатит щедрый выкуп, который позволит каждому из этих оборванцев обеспечить себя хлебом и вином до конца дней, даже если они проживут до глубокой старости, по пять десятков лет. Однако вместо этого они ждали неведомо чего. И судя по тому, как с каждым днем накалялась атмосфера в лагере, как легко дружеские перепалки переходили в поножовщину и грязную ругань, нервы их были порядком напряжены этим ожиданием.

«Если они ждут самого большого дурака во всем белом свете, то лишь напрасно тратят время, — безразлично подумал Гримберт, — Самый большой дурак уже сидит в их яме».

* * *

Он хорошо понимал тягостные муки ожидания. Слушая свары рутьеров, ожесточившихся от бездействия и холода, он сам ждал,

вжимаясь в смердящую шкуру и грызя хлебную корку, оставлявшую во рту кислый запах плесени. Как только спасительное онемение первых дней спало, он сосредоточился на этом ожидании, чтоб не сойти с ума, не извести собственный рассудок жуткими воспоминаниями и ядовитыми мыслями.

Ждать, приказал он себе. Ждать, как ты ждал томительные часы на праздничной литургии, когда епископ Туринский неспешно читал «lavabo inter innocentes manus meas», омывая свои пухлые, унизанные язвами, руки. Ждать, как ты ждал возможности забраться в «Убийцу», пока Магнебод не спеша расхаживал кругами, декламируя семь рыцарских добродетелей. Ждать, как ты ждал своего посвящения.

Он знал, что его ожидание будет вознаграждено, причем в самом скором времени. Он так отчетливо представлял, как это случится, что иногда среди ночи вскакивал, задыхаясь от холода, стискивая руками стальной ошейник, сжавший его горло — ему казалось, что сквозь злое завывание ветра он слышит гул. Ритмичный хорошо знакомый гул, отзвук тяжелого рыцарского шага.

Этот звук был предвестником многих других, которые он тоже представлял, так отчетливо, будто слышал на самом деле. Испуганные крики часовых, мерзнущих вокруг своих чахлых костров. Треск падающих деревьев, сминаемых сотнями квинталов прущей сквозь них стали. И наконец выстрелы. Сперва короткие пристрелочные очереди, кажущие нестрашными, звенящие, как проснувшиеся среди зимы злые комары. Но им на смену быстро приходит настоящий огонь, который оглушительным валом катится прямиком через лагерь, расшвыривая в стороны мечущиеся фигуры и превращающая походные шатры в тлеющих огненных птиц.

Из своей ямы он, конечно, многого не увидит. Не увидит, как Туринские рыцари окружают лагерь «Смиренных Гиен», огромные, точно сомкнувшиеся вокруг него горные утесы Альб. Как «Багряный Скиталец», исполинский великан, устремляется во главе боевого порядка, превращая торопливо лающие серпантины рутьеров в пропитанную кровью крошку, втоптанную в снег и мерзлую землю. Как верные отцовские рыцари бьют тугими струями огнеметов в спины бегущих, тщетно пытающихся найти укрытие в лесу, и превращают их в шипящую на снегу золу.

Да, он, скорее всего, не увидит этого. Зато хорошо услышит, а воображение легко подскажет ему недостающие детали.

Он наяву видел, как возле бегущего Бальдульфа взрывается восьмидюймовый шрапнельный снаряд, отшвыривая его в сторону, превращая в бесформенный пласт мяса, обрамленный

клочьями тлеющей шубы.

Как тонко и испуганно верещит Бражник, тщетно пытаясь уберечь пухлыми руками свои драгоценные баночки, лопающиеся под градом пулеметного огня и извергающие драгоценные комки его внутренностей.

Как молча падает в снег Орлеанская Блудница, чья кираса изрешечена градом подкалиберных бронебойных снарядов, а забрало разбито пополам и вмято в лицо — окровавленное лицо с удивленно распахнутыми глазами, которое было вовсе не таким миловидным, как ему представлялось.

Как сдавленно бормочет проклятья умирающий Виконт, тщетно пытающийся ползти на окровавленных обрубках рук, не замечая занесенной над ним рыцарской ноги.

Как…

Дальше его мысли, теряя порядок, устремлялись к Вольфраму. Его смерть он представлял такое бессчетное количество раз, что сам сбился со счета, но каждая из его смертей приносила ему такое удовольствие, что даже мучительный холод на миг отступал.

Он представлял Вольфрама Благочестивого истекающим кровью в собственном шатре. Обезглавленным осколком снаряда и лежащим в куче своих дохлых подручных. Ревущим и охваченным пламенем, чувствующим, как его плоть медленно обугливается и стекает с костей. Разорванным, освежеванным, растоптанным, смятым…

Но лучше всего ему было бы остаться живым.

Вольфрам Благочестивый шлепнется в яму, издыхающий, глотающий собственную кровь, тщетно заламывающий руки в попытке добиться снисхождения, на которое не вправе рассчитывать. «Как ты хочешь, чтоб я поступил с ним? — спросит отец, кладя свою тяжелую руку на плечо Гримберту, — Этот человек причинил на своем веку много бед. Даже если он христианин, он не заслуживает снисхождения. Я хочу, чтобы ты сам решил его судьбу».

И тогда он…

Воображая бесчисленные мучения, которым он подвергнет Вольфрама, Гримберт кое-как вновь забывался сном, но стоило ему на рассвете вновь открыть глаза, как он слышал привычные звуки пробуждающегося лагеря, сквозь мешанину которых отчетливо был слышен ненавистный ему голос — Вольфрам Благочестивый костерил свой сброд за никчемность и лень, призывая на их головы все возможные проклятья.

Так было на третий рассвет. И на четвертый. И на пятый.

Не обращая внимания на тягучую боль в обмороженных

руках, Гримберт тайком прижимался ладонями к ледяной земле, силясь нащупать отзвуки тяжелого гула, возвещающие приближение рыцарей. Но мерзлая земля, твердая как сталь, не передавала никакой вибрации. Сожравшая тысячи смертных и переварившая их на своем веку, она была мертва, холодна и безразлична.

* * *

Еще рано, мысленно утешал Гримберт сам себя, отогревая слабым дыханием ладони. Рыцарский доспех тяжелого класса отличается невообразимой огневой мощью и несет на себе тысячи квинталов брони, но сам при этом делается заложником своей массы. Потребуется много времени, чтобы отцовские рыцари преодолели весь тот путь, который легко покрыли легконогие «Убийца» со «Стражем». Уж точно не один день. Допустим, часов тридцать, это если считать напрямик, а если с маневрами и рассредоточением, то и сорок, быть может…

Неважно. Он дождется, Апостол Лука ждал пятьдесят дней после Воскресения Иисуса, но не роптал, напротив, терпеливо ждал и возносил молитвы. Неужели он не вытерпит жалких несколько дней? Ведь сказал же Ефрем Сирин, «В ком нет терпения, тот подвергается многим потерям и не в состоянии стать добродетельным»…

Прежде ему казалось, что рассвет возвещает самую радостную пору суток, изгоняет дьявольские тени, возвращая мир под власть Господа. Но теперь каждый рассвет причинял ему мучения, точно последнему из адских отродий. Едва лишь только смерзшиеся облака делались полупрозрачными, пропуская солнечный свет, как Гримберт стискивал зубы до ломоты в висках, точно свет этот жег его заживо. Каждый следующий рассвет возвещал одно и то же. Еще один день, исполненный унижений и голода, еще один день в качестве рутьерской игрушки, на которой всякий желающий может выместить свою злость.

Они просто не спешат, уговаривал он сам себя. Им нужно время, чтобы провести разведку, чтоб окружить лагерь с разных сторон, чтоб подождать отставшие обозы…

Нет, нашептывал дьявол в левое ухо, помощи нет не поэтому. А потому, что ни твой отец, ни Магнебод, ни любая другая душа не имеет никакого представления, где искать пропавшего наследника. В какие дебри утащила его страсть к приключениям, в каком направлении увели мечты? Может, он рухнул в пропасть

на леднике или утонул в стремительной горной реке во многих лигах от Турина. Может, сбежал от отцовской власти, чтобы сделаться вольным раубриттером или тайно вступил в какой-нибудь орден, навеки отделивший его от дома.

Ты был хорош, шептал ему дьявол, и у дьявола было лицо Вольфрама Благочестивого. Ты в самом деле оказался ловким сорванцом. Никем не замеченный, покинул замок, потом долго двигался проселочными дорогами, ловко избегая патрулей и застав. Крался, точно контрабандист, мимо радарных станций и постов. Ты всех провел, юный Гримберт, всех обвел вокруг пальца. И теперь ты сгниешь в яме, имея полное право наслаждаться собственной хитростью.

Господи великий Боже, он прежде и не задумывался о том, как велика Туринская марка, сколько в ней квадратных арпанов земли и лиг. Сколько лесов и гор, среди которых ничего не стоит затеряться, сколько крошечных городов и сел, разбросанных от Гренобля до Асти. Даже если отец пошлет в каждый из них по гонцу на самой быстрой лошади из маркграфских конюшен, пройдет по меньшей мере месяц, прежде чем они вернутся обратно. Туринская марка, может, не в силах поспорить размерами с Каркассоном или Бургундией, однако она стократ больше Фуа, Жеводана, Шалона или Булони. Огромные, невообразимые расстояния, протянувшиеся во всех существующих направлениях, в каких мерах их ни считай, километрами или лигами…

Аривальд прав, он всегда оскорбительно мало внимания уделял цифрам. Одни только гигантские Альбы могут поглотить без следа целую армию с десятками рыцарей, что уж говорить про две небольшие учебные машины?..

Терпи, приказывал он себе, воображая, будто тело — это доспех, который обязан слушаться приказов. Терпи, тряпка. Ты просидел в яме всего три дня, а раскис так, будто растоптанный слизняк на клубничной грядке. Мужайся. Эти ублюдки думают, что могут унизить рыцаря своими насмешками и оскорблениями. Но им придется убедиться в том, что это не так. Сила рыцаря не только в его оружии, его сила в несгибаемом духе, который, питаемый рыцарской честью, возвеличивает своего обладателя над толпами презренных тварей. Надо терпеть. Терпеть, терпеть, терпеть…

Может, поэтому Вальдо был так хорош в шахматах, подумал Гримберт, он-то умел терпеть. Понимая, что в вычурных деревянных фигурах не заложено ни силы, ни боевой отваги, что они ценны не самим фактом своего существования, а тем положением, которое занимают на доске, он терпеливо ждал,

пока ситуация не сделается ясной, такой, которую можно использовать к своей выгоде. И несколькими ловкими контратаками перешибал хребет вражескому наступлению в паре ключевых точек.

Вальдо…

Мысли о нем были особенно мучительны, отчего Гримберт старался изгнать их из головы. Но они возвращались обратно, настойчивые, как терзающие северные рубежи империи кельты. Помойная яма, быть может, не так удобна для обитания, как его палаццо в Турине, но он, по крайней мере, успел к ней притерпеться. Так же, как и к холоду, скудной пище и насмешкам людей, которые прежде были бы счастливы облизывать языками Туринскую мостовую, очищая ему путь. А каково сейчас Аривальду? Должно быть, он лежит, раненый, окруженный хохочущими Гиенами, которые только и ждут момента, чтобы стащить с него, еще живого, сапоги. А может, он при смерти. Чудовищный удар, смявший «Стража», мог тяжело контузить его, причинив серьезные повреждения мозгу. В этом случае спасти его могут только туринские нейро-лекари и никто кроме. Это значит, на счету не просто каждый день, но и каждый час.

Почему Вольфрам медлит? Почему не спешит связаться с маркграфом Туринским, чтоб заключить сделку — быть может, самую удачную сделку в своей жизни? Осторожничает? Не хочет делиться с остальными? Чего-то выжидает?..

Вольфрам Благочестивый вел себя так, будто не только ни в малейшей степени не заинтересован в обмене своего пленника, но и вовсе забыл, кто оказался в его власти. Если он заглядывал к Гримберту в яму, то только лишь для того, чтоб отпустить очередную шутку, столь же смердящую, как окружающие его помои, или брезгливо столкнуть вниз камень. И это вместо того, чтоб отвести своему пленнику лучший шатер, потчевать лучшими угощениями и самолично сдувать с него пылинки!

Едва ли среди рутьеров встречаются прирожденные мыслители, обладающие острым интеллектом, но и отъявленных идиотов среди них обычно не водится, хищник остается живым лишь пока позволяет своему рассудку брать верх над голодом. Сообщив в Турин, кто именно сделался его заложником, Вольфрам смог бы обеспечить себя до конца дней. Да что там обеспечить, эта сделка принесла бы ему стократ больше, чем он заработал грабежом и мародерством за всю свою затянувшуюся жизнь! Гримберту были известны вассалы отца, обеспечившие себя баронской короной за куда меньшие услуги.

Однако Вольфрам отчего-то тянул. Будто шахматная фигура, которая двигается по какой-то своей хитрой траектории, а сейчас

лишь ожидает своей очереди сделать ход. Но какой?.. Гримберт изнывал от тоски и неизвестности, размышляя об этом.

Может, Вольфрам лелеет планы продать его не отцу, а кому-то другому? Но кому?

Настоящим еретикам? Сарацинам? Гримберт съеживался еще больше. В «Аргентум Руссус»?

А может, отцовским недругам? У маркграфа Туринского было много недоброжелателей, как и у всех «вильдграфов» на восточной границе — здешние ссоры, даже самые малозначительные, были сродни медленно заживающим ранам, после которых на коже еще долгие годы тянутся воспаленные рубцы.

Отец никогда не участвовал в Рачьих войнах и вообще сторонился людей в сутанах, утверждая, что «Если бы император дал волю святошам, они запретили бы все, включая гвозди — только потому, что иудеи прибили ими Христа к кресту». Никогда не стремился увеличить Туринскую марку за счет соседских владений, даже когда выпадал удобный случай, и поддерживал в меру возможностей добрососедские отношения с маркграфом Лотаром из Салуццо и графом Лаубером из Женевы. Могли ли у него быть могущественные недруги, для которых Вольфрам приберегал ценный товар?

Думать об этом было так же тяжело, как представлять мучения раненого Аривальда.

Если ты и должен был что-то понять за время вашей игры в шахматы, решил он, так это то, что хороший игрок умеет выжидать.

И он ждал.

* * *

Ожидание с каждым днем делалось все мучительнее. Если у «Смиренных Гиен» были какие-то занятия по лагерю, сам Гримберт вынужден был проводить часы в праздном безделье, отвлекаясь разве что на какие-нибудь особенно изобретательные оскорбления или летящие ему в лицо куски угля.

Чтобы занять чем-то время, он принялся вспоминать жизнеописания рыцарей, которые, подобно ему, вынуждены были пройти через мучения, прежде чем обрести, подобно немеркнущему нимбу, истинную славу. Возможно, их пример натолкнет его на какие-то дельные мысли или, по крайней мере, утешит дух.

Мессир Гийом, прозванный Сиятельным Львом Парижа, в

Битве Слепцов кромсал вражеские порядки огнем своих орудий, даже тогда, когда выпущенный мятежниками кумулятивный снаряд прожег его броню в уязвимом месте, вызвав пожар внутри бронекапсулы. Он мог покинуть свои доспехи, отделавшись незначительными ожогами, однако, не в силах подвести своего сюзерена, предпочел не выходить из боя. Он сражался даже тогда, когда его тело стало медленно превращаться в сгусток прилипшего к костям горящего жира внутри раскаленной металлической домны — не обращая внимания на боль, его мозг, медленно варящийся в черепной коробке, обрабатывал информацию и указывал цели для орудий. Очевидцы уверяют, что его грозный «Всевластитель» остановился лишь спустя восемь минут, когда от тела мессира Гийома осталась лишь липкая копоть.

Мессир Морель, успевший с честью послужить на своем веку двум императорам, наткнулся на мину и, потеряв подвижность, был окружен лангобардами. Не утеряв присутствия духа в безнадежной ситуации, он вызвал на переговоры двух лангобардских князьков, якобы для того, чтоб обсудить условия сдачи, а сам украдкой вынул все графитовые стержни из бортового реактора и демонтировал его оболочку. Переговоры тянулись несколько томительных часов, по истечению которых предводители лангобардов оказались поражены смертельной дозой радиоактивного излучения, отчего издохли самым паскудным образом через несколько дней. Мессир Морель пережил их лишь на несколько часов, но эти часы, наполненные невыразимыми муками, даровали его душе вечное блаженство в Царстве Небесном.

Мессир Анхенберд, страдая от ран, не остановился на марше, чтобы не снизить темп наступающего рыцарского знамени, так и истек кровью в бронекапсуле, сделавшейся его могилой. Мессир Бертеланд, защищая в споре честь своего сюзерена, позорному бегству предпочел смерть мученика — его утопили в выпотрошенном коровьем животе, перед этим ослепив и раздробив суставы. Мессир Лауновех, чей «Громогласный Вершитель» на протяжении восьми лет становился бессменным чемпионом императорских турниров, раскрыл придворный заговор, но поплатился за это жизнью — сложнейший токсин, которым отравили его заговорщики, превратил пышущего здоровьем здоровяка в огромную истекающую кровью опухоль, пораженную всеми известными лекарям болезнями одновременно, от зубной боли до бубонной чумы.

Примеров было множество. Сотни рыцарей сложили свои головы в битвах, ведомые верой и доблестью, но чем больше

примеров вспоминал Гримберт, тем незавиднее казалось ему его собственное положение. Все те рыцари, может, погибли мучительной смертью, однако судьба не лишила их главного — возможности принять эту смерть как полагается рыцарю.

Возможность, которой он сам, подчиненный чужой злой воле, был лишен.

Вольфрам не смотрел на него, как на пленного рыцаря. Как на противника, захваченного в бою или опасного врага. Если он и заглядывал в яму, то сохранял на лице брезгливо-удивленное выражение, в котором не было и толики почтения.

— Что там наше сиятельство, еще не сдохло? — обычно вопрошал он у Ржавого Паяца, его личного камердинера и надзирателя, — Ну и ну!

— Не сдохло, но попахивает, — скрежетал в ответ тот, ухмыляясь так, что кость терлась о ржавые пласты расколотой брони, — И смурное, как кусок дерьма. Я так думаю, это все из-за скуки.

— Ты что, не обеспечил нашему высокому гостю всех надлежащих развлечений? — притворно ужасался Вольфрам, — Ну ты и мерзавец!

Ржавый Паяц складывался в подобии раболепного поклона, от которого его сухой хребет дребезжал, едва не лопаясь.

— Обеспечил, ваша светлость! Еще как обеспечил! Кинул ему, значитца, в яму двух дохлых ворон. Теперь сможет каждый день с этими дамами балы-маскарады проводить да амуры крутить!

Гиены хохотали так, что на них чуть шкура не лопалась, а Вольфрам часто утирал слезу — Ржавый Паяц как тюремщик владел столь обширным арсеналом издевок и садистских шуток, что мог бомбардировать ими Гримберта с утра до ночи — к вящей радости прочих «офицеров» и скучающих гиен.

— Эй, мессир! — взывал он вкрадчиво, — Уж простите нас, сирых, что доспех вам попортили. Это мы не со зла, звезды так сошлись. Чтоб загладить свою вину, мы с ребятами вам новый изготовили, из цельного куска коровьего кизяка, «Великий Бздун» называется. Извольте сейчас примерить?

Легко изображать мученика. Легко играть роль рыцаря в беде, который, наперекор злой судьбе, сносит издевательства недругов. В конце концов, как ни сильна боль, она уязвляет лишь тело, но не достоинство. Гримберт оказался лишен такой возможности. «Смиренные Гиены» не смотрели на него как на пленного рыцаря, скорее, как на никчемного болвана, угодившего в распахнутую ловушку. Они высмеивали его внешний вид и аппетит, его предков и их кровосмесительные связи, подчас в таких подробностях, что Гримберт был вынужден грызть пальцы,

чтобы сдержаться.

Мессиру Анхенберду не приходилось иметь дело с таким унижением. Как и мессиру Морелю. Как и мессиру Гийому, прозванному Сиятельным Львом Парижа. Ни одна из записей из церковного информатория не говорила о том, как пристало вести себя рыцарю в такой ситуации, чтобы не потерять своего достоинства.

Поэтому Гримберт делал то, что было в его власти. С трудом отогревая коченеющие ладони дыханием, вновь и вновь прикладывал их украдкой к холодной земле, силясь ощутить в ее стальной толще едва заметную дрожь. И ощущая лишь неуверенный отзвук собственного едва бьющегося сердца.

* * *

Шестой день. Это был шестой день. Он знал это только потому, что острой щепкой делал глубокие царапины на собственном предплечье, ведя нехитрую летопись. Едва ли эту летопись станут штудировать в последующих веках так, как он сам штудировал повествования о героях былых времен.

Гримберт Туринский, Рыцарь Помойной Ямы.

Дни были заполнены насмешками и болью, а ночь холодом и сомнениями, отчего календарь причудливо исказился, а ход времени сделался странным и запутанным. Часы словно играли в чехарду, прыгая друг через друга, как проказливые пажи, и выстраиваясь самым непредсказуемым образом. Иногда он тщетно пытался понять, уставившись невидящим взглядом в зенит, отчего сейчас утро, если только что был вечер или отчего на небе солнце, если еще недавно там плыла луна…

Шестой день. Седьмого он не увидит, понял Гримберт. Сойдет с ума и удавится на собственной цепи. Или же начнет грызть зубами землю к восторгу «Смиренных Гиен», для которых сделался подобием домашнего питомца.

Пусть убьют. Пусть вытащат жилы и повесят прямо на них.

Он согласен был терпеть боль, терпеть холод, который сделался ему привычен, терпеть насмешки, которых больше не замечал. Но только не неизвестность.

— Господин Вольфрам! — крикнул он, задрав голову, — Господин Вольфрам, я, Гримберт Туринский, хочу поговорить с вами!

Должно быть, ночевки на морозе и скверная еда повредили голосовые связки — его голос дребезжал, как траки изношенной гусеницы, от былой мелодичности не осталось и следа. Надо

думать, отец будет очень расстроен, он отдал немало золота на учителей, учивших Гримберта петь под арфу и терменвокс…

Нет, подумал Гримберт, куда сильнее он будет расстроен, если наследник Туринской марки так и сгинет со света. Разве что какой-нибудь лесник через пару лет принесет ему сверток с обгрызенными костями, все, что зверье оставит от его тела после того, как с ним вдосталь порезвятся рутьеры.

— Господин Вольфрам!

Из глубин своей проклятой ямы он не видел лагеря, но научился ориентироваться по доносящимся звукам, многих из Гиен узнавая по отзвукам шагов. Небрежные шаркающие шаги, приближавшиеся к яме, не могли принадлежать ни закованной в сталь Блуднице, ни музыкально двигающемуся Олеандру. Только самому Вольфраму.

— Что это наш гость запел едва свет?

— Певчая порода, господин Вольфрам, — тут же проскрежетал своим железным горлом Ржавый Паяц, — Дайте-ка мне раскаленный железный пруток да его пяточки, он у меня так запоет, что графские соловьи будут что твои петухи!

Гиены с готовностью загоготали. Но Вольфрам, как ни странно, остался серьезен.

— Чего тебе, мессир рыцарь?

От одного этого слова сделалось хуже, чем от всех скверных шуточек Ржавого Паяца. Точно в душу вывернули целую бочку испражнений.

— Я хочу поговорить с вами лицом к лицу, как с… с честным человеком и христианином.

Рутьеры наверху взвыли и не смогли заткнуться даже после того, как на них рыкнул рассерженный Бальдульф. Должно быть, Вольфрама Благочестивого нечасто так именовали.

— Вот как? — отозвался наконец тот, — Учитесь, свиньи, как излагаться надо! Сразу видно, благородный господин, не вам чета… Ну что ж, сморчок, давай поговорим. Вытаскивай его, Паяц.

Прежде чем Гримберт успел спохватиться, цепь на его горле задребезжала, напряглась и вдруг натянулась так, будто за работу взялись, тысячесильные гидравлические приводы замковых ворот, приводящие в движение подъемный мост. Он попытался упереться, но не тут-то было. Его мгновенно оторвало от земли, едва не сломав шею, и потащило вверх, заставляя отчаянно упираться в земляную стену руками. Несмотря на то, что подъем длился едва ли дольше секунды, наверху он тут же повалился на землю, всхлипывая и ощупывая собственную шею. Ему не раз приходилось наблюдать, какие пляски устраивают в воздухе

висельники, нелепо дергая ногами, но он никогда не думал, до чего это жуткое ощущение.

— Ну-с, — Вольфрам Благочестивый разглядывал своего пленника с каким-то недобрым интересом. Как мясник, подумал Гримберт, который прикидывает, от какого бока можно отрезать шмат мяса так, чтоб не забивать всю корову, — И о чем же вы хотели побеседовать со мной, юный мессир? Уж надеюсь, не пожаловаться на условия содержания? Если так, я буду очень огорчен. Ржавый Паяц заверил меня, что ваши покои в полном порядке, он сам, не щадя старого хребта, ухаживает за вами аки пчелка!

«Смиренные Гиены», не упустив возможности, грянули хохотом. Грязные, одетые в какие-то лохмотья, сами бледные от холода, с горящими глазами, они больше походили на банду оборванцев, чем на закаленных разбойников. И на Гримберта смотрели так, как могут смотреть хищные обитатели леса на ухоженную домашнюю скотину с тучными боками.

Если бы не Вольфрам, разорвали бы, мелькнула мысль у Гримберта. На месте, едва только вытащив из доспеха. Не потому, что им было бы выгодно, а просто вымещая злобу, которая черной желчью скапливалась в них долгие годы. Злобу на сопляка, который всю жизнь питался пшеничным хлебом, маслом и молоком, а не гнилым мясом и просом, как они сами.

— Может, вам чего еще угодно? — Вольфрам широко распростер руки, точно в самом деле изображал гостеприимного хозяина, — Не стесняйтесь, только попросите, мессир. Если вам одиноко в ваших покоях, я прикажу, чтоб вам прислали девицу. У нас тут, знаете ли, богатый ассортимент женского пола, на любой вкус!

Орлеанская Блудница, к несчастью оказавшаяся рядом, резко подняла голову. Как он и ожидал, она носила глухой шлем из некрашенной стали, который на фоне снега казался серым, как перья кладбищенских ворон. Никаких украшений, никаких гербов, плюмажей, или фигурных вырезов, только тяжелая клепанная сталь с узкой Т-образной прорезью на месте лица. В этой прорези он увидел его глаза — не зеленые, как ему представлялось, а тускло-серые, как подтаявший снег, внимательные, недобро взирающие из-под коротких опаленных ресниц.

— Хочешь, чтобы я занялась нашим гостем? — Блудница повернула голову в сторону Вольфрама, — Сомневаюсь, что он дорос до настоящей женщины, если он и способен совокупляться, то разве что с обитателями маркграфского курятника ночью украдкой, но, если ты хочешь…

Она шагнула к нему, разводя стальные руки в нелепом подобии страстного объятья. Гримберт машинально подался назад — несмотря на грациозность, которую не могли сокрыть даже литые пластины брони, облекающие Блудницу со всех сторон, он чувствовал, что это объятье может раздавить даже крепкий дубовый ствол, один только треск от ребер пойдет.

Великий Боже, какую груду железа она на себе носит, подумал он, в миг забыв про предстоящий разговор с Вольфрамом, и как только кости выдерживают?

Кираса Орлеанской Блудницы ни в малейшей мере не напоминала те парадные латные облачения, что носили туринские вельможи, которые лишь выглядели массивными и внушительными, на деле же сделаны были из титана и облегчены настолько, что весили немногим больше двух стоунов[24]. Доспех Блудницы весил самое малое втрое больше и производил весьма внушительное впечатление. Собранный из нескольких фрагментов нагрудник, такой массивный, что, пожалуй, не прошибить из пулемета, разве только бронебойной пулей. Сложной формы плакарт[25], надежно прикрывающий живот. Выпуклые наплечники, каждый из которых походил на миниатюрный церковный купол. Доспех едва ли создавался под женскую фигуру, однако на Блуднице сидел как влитой, будто их изготовили на одной и той же фабрике, добиваясь идеальной подгонки вплоть до последнего микрона. Может, потому движения Блудницы, заточенной в эту уменьшенную копию бронекапсулы, выглядели естественными и даже грациозными, как никогда не выглядят у облаченного в боевой доспех человека.

В том, что доспех был боевым, у Гримберта не возникло никаких сомнений. Сталь была полирована и не имела ни одного пятнышка ржавчины, однако во множестве мест на ее поверхности угадывались следы, которые можно заполучить только в бою — крошечные оспины, оставленные пулями аркебуз, едва видимые царапины, которые явно долго полировала умелая рука, но так и не смогла полностью свести.

Двумя короткими движениями Блудница расстегнула ремни, которым ее доспехи крепились вместе, и сняла с себя горжет. Под выгнутой стальной пластиной обнаружилась удивительно бледная шея, тонкая, как тростинка, но почему-то кажущаяся мягкой, как лебединый пух. Вот только глаза ее остались двумя гибельными серыми омутами, от которых веяло даже не морозом — мучительной ледяной гибелью.

— Что ж, развлечемся, мессир? — спросила она своим низким голосом, пристально глядя на Гримберта, — Ты не будешь разочарован. В последний раз я развлекалась в Аквилее год назад,

с каким-то заезжим бароном на постоялом дворе. Не осуждай меня, мессир, если я рутьер, это не значит, что я не могу быть женщиной! У нас есть свои потребности. У меня — так точно. Я предупредила того барона, что он будет кричать всю ночь, но он не выглядел испуганным. Напротив, он, кажется, предвкушал это.

Она сделала еще шаг по направлению к нему, отчего Гримберту вдруг захотелось попятиться, несмотря на распахнутый зев ямы за его спиной. Удивительно, как у нее получалось двигаться так плавно и грациозно во всей этой броне, даже снег под ней не скрипнул.

— Он в самом деле кричал. Кричал всю ночь. Хорошо, что я нашла уединенное местечко. Сперва, конечно, он умолял меня прекратить, но мы ведь оба знаем, юный мессир, что в любовной игре мольбы и стоны — лишь прелюдия, часть сложной и древней игры? Мы играли с ним, упоительно долго. Черт, я могу выглядеть нежной, но на самом деле мое тело удивительно выносливо. Мы играли до рассвета, позволяя делать с собой все, что заблагорассудится. Ну ладно, он позволял. И знаете, когда на рассвете я одевалась, чтоб уходить, он, этот барон, выглядел чертовски, чертовски удовлетворенным. Он уже не стонал, ни визжал, не призывал проклятий, не молился, только едва заметно дрожал. Страсть — утомительная штука, в порыве которой не стоит забывать о благоразумии и он, пожалуй, мог служить надлежащим тому примером. Я думаю, он тоже запомнил ту ночь, если не повредился в уме, под конец мне показалось, что рассудок его несколько пострадал. Но вот повторить… Повторить он ее, боюсь, уже не сможет. Страсть, как известно, требует много сил, мессир, а ему, пожалуй, до конца дней потребуется помощь трех слуг, чтобы очистить себе вареное яйцо…

От нее пахло не грязью, как от прочих рутьеров, и не металлом, как от рыцарского доспеха. Чем-то душистым, тонким, тем, что обоняние иной раз ловит на краю душистого весеннего луга, но чему не в силах найти названия. Небом, мягкой травой, упоительной влагой звенящего в тени ручья, нагретым солнцем медом, соленой росой…

— Прекрати, — буркнул Вольфрам, косясь на Блудницу, — Напяливай свои железки и убирайся отсюда, а то я прикажу Паяцу вкатить тебе двойную дозу блокиратора феромонов. Не хватало еще, чтоб мой отряд, чего доброго, превратился в свору сцепившихся похотливых котов!

Орлеанская Блудница сделала книксен, отчего ее доспехи едва слышно задребезжали.

— Как прикажете, господин Вольфрам.

* * *

Гримберт ощутил себя немногим легче, когда она удалилась, игриво помахивая литым горжетом, точно веером. Но не намного. Потому что Вольфрам, осклабившись, придвинулся ближе к нему.

Грузный, тяжелый, он не выглядел опасным, но Гримберт слишком хорошо помнил его вспыльчивый нрав. И его небольшие, но удивительно тяжелые кулаки, которые вышибают из груди дыхание сильнее, чем мельничные жернова.

Не бояться, Грим, приказал он себе. Этот головорез может воображать себя отпетым разбойником, но все собравшиеся здесь знают, что по сравнению с маркграфом Туринским он не опаснее самоуверенного жука. Он глуп и самоуверен, как все рутьеры. Тебе надо сделать ему предложение, но так, чтоб не оскорбить, наоборот, польстить его самолюбию.

Именно так Алафрид общался с упрямыми варварами — инсумбрами, ценоманами, лигурами, когда хотел навязать им свою волю без кровопролития. Погрязшие в невежестве и ереси, они в то же время были опасными противниками, поскольку компенсировали эти недостатки несокрушимой варварской яростью, способной сметать тройные минные заслоны и преодолевать все мыслимые укрепления. Их невозможно было запугать, купить или сбить с толку, их примитивно устроенный разум попросту не сознавал таких материй, полагая всякую вежливость слабостью, а всякую дипломатию — уловками слабосильных имперских вырожденцев.

Однако их души, устойчивые к радиации и множеству токсинов, не имели иммунитета против лести. Признав в них великих воинов, ославив и заказав в честь их мнимых побед пару дрянных песен у местных миннезингеров, можно было расположить их к себе сильнее, чем обладая рыцарским знаменем в сорок машин тяжелого класса. Эту науку Алафрид пытался растолковать когда-то и отцу, но тот вспылил — его рыцарскому духу такие уловки были отвратительны и чужды.

Именно на это можно поймать Вольфрама, решил Гримберт. Может, этот ублюдок считает себя хитроумным и даже научился складно изъясняться, в глубине души он все же обычный головорез, который отчаянно робеет перед правом сильного и сознает собственное ничтожество.

Гримберт отвесил предводителю рутьеров короткий поклон. Движение, заученное, как фехтовальный выпад и предназначенное для особ равного достоинства. Словно этот самодовольный бродяга, промышляющий охотой на рыцарей в отцовском лесу, был по меньшей мере графом.

— Господин Вольфрам… Боюсь, судьба свела нас при неудачных обстоятельствах, в которых я, безусловно, отчасти виновен сам, — Гримберт попытался смиренно склонить голову, но смог лишь немного ее наклонить — шея от холода совершенно закостенела, — С моей стороны было в высшей мере безрассудно атаковать без предупреждения ваших людей, по крайней мере, не известив их надлежащим образом о своем намерении. Досадное стечение факторов привело к некоторому конфликту, который я бы желал по возможности сгладить, поскольку полагаю вас благородным человеком, заслуживающего безусловного уважения с моей стороны. В свете этого, полагаю, я должен принести извинения за… свою неосмотрительность и просить… иметь желание выразить…

Эту речь он составлял несколько часов, пока ледяная ночь стискивала его в своих гибельных объятьях, желая высосать всю жизнь через кожу. Быть может, немного витиеватая, она в то же время была составлена в простых, понятных даже крестьянскому уму, оборотах, и наверняка понравилась бы даже Алафриду, большому знатоку по части императорской грамоты и дипломатии. Но Вольфрам слушал ее, явственно скучая, брезгливо цыкая зубом.

— Чего ты хочешь? — резко спросил он, прерывая поток славословия, в котором сам Гримберт под конец немного потерял берега, — И в этот раз будь покороче, потому что я прикажу Ржавому Паяцу отвесить тебе удар хлыстом за каждое слово. Думаю, это научит тебя изъясняться лаконичнее!

— Мой… мой слуга, — выдавил наконец Гримберт, — Мой оруженосец, который был в другом доспехе. Я прошу, чтобы ему оказали надлежащую помощь. И транспортировали в Турин.

Бальдульф, стоявший в стороне, но явно прислушивавшийся к разговору, презрительно сплюнул в снег.

— Живоеды, — мрачно бросил он, — Проклятое семя. Как царапина случится, сразу нужны сорок лекарей, пяток святош, пуховые подушки, искусственная печень и сиделка с опахалом. Это когда нашего брата покалечат, можно просто в грязи оставить, а тут дело другое, тут дело благородное… Помню, как меня на Срамном Токовище иллирийским топором приложили по загривку. Три дня лежал под трупами, а сыт был только тем, что свою кровь из распоротой вены пил. Ан ничего, вылез.

— Мой слуга…

— Твой слуга, — Вольфрам усмехнулся, но в сторону рутьеров, не в сторону Гримберта, — Заботишься, значит, о слугах? Благородно, мессир, благородно. Только не думай, что я сейчас истеку, как сахар, от такой заботы. Знаю я господскую

заботу. И отец мой знал. Он конюшим был в графстве Соро. Крошечное совсем графство на востоке, нынче уж под лангобардами. Не доводилось бывать?

Гримберт хотел было сказать, что не доводилось, но не смог. Вольфрам не давал ему времени для ответа, а перебить его он не осмелился.

— Граф тамошний, имя из головы вылетело, с большим уважением к слугам своим относился. Радел за них, словно родной отец. Но еще милее ему были лошади. Благородная страсть, нам, грязнобоким, не понять. За огромные деньги покупал скакунов по всему свету, даже из императорских конюшен были. Пастбище у него было размером с половину этого проклятого леса, а конюшни такие, что там двести душ пехотинцев квартировать могло.

Гримберт не знал, какое отношение его судьба и судьба Вальдо имеет к лошадям из Соро, но вынужден был слушать, сдерживая дребезжащее в груди нетерпение.

— Однажды мой отец объезжал молодого коня из графских конюшен. Красавец был первостатейный, огромный такой иберийский жеребец, граф его в Барселоне купил за невыразимые деньги. Ни флоринов, ни денье в тамошних диких краях не ходит, только эскудо, но все равно выходило монет двести не меньше. Впрочем, неважно. Мой отец работником был ловким, с пониманием, всю жизнь при лошадях, ан один раз не углядел. Пришпорил жеребца чрезмерно и на узком бережку покатился, значит, кувырком вниз вместе с ним.

Рассказывая, Вольфрам равнодушно глядел вдаль, не удостаивая вниманием собеседника. Точно разглядывал мрачных дубовых великанов, берегущих зимний сон Сальбертранского леса.

— Коняшка-то отделалась легко. Что ей, твари Божьей, будет, только ногу сломала. А вот отцу крепко тогда досталось, — Вольфрам Благочестивый вздохнул, — Всех зубов лишился, ноги переломаны так, будто его лучшие аахенские палачи колесовали, ребра наружу торчат, в черепе дыра… Одним словом, в гроб краше кладут. Но видели бы вы, мессир, как убивался по этому поводу граф! Ночей не спал, все балы отменил, есть перестал. Призвал всех своих лекарей, сколько их было, даже иностранных выписал за звонкую золотую монету. Я сам видел, как он на коленях в храме стоял, Господа о здоровье молил. Можете представить?

— Он… благородный человек, — выдавил Гримберт, — Без сомнения.

Вольфрам кивнул.

— Я же и говорю, большой души был человек. Когда жеребец оправился, он в благодарность подарил тамошней церкви сотню флоринов. А отец… Ах да, забыл. Отца-то он забил до смерти шестопером. За невнимательность. И поделом, наверно. Отец-то мой, правду сказать, и вправду не очень-то внимательным был, я сам тому наилучшее подтверждение.

Гиены не смеялись, напротив, недобро затихли. И от этой тишины у Гримберта почему-то заскоблило под ребрами.

Бежать, подумал он, тоскливо глядя в сторону деревьев. Если бы не ошейник, плотно сдавивший шею, он и побежал бы, плюнув на вооруженных рутьеров, на онемевшие от слабости ноги, на прищурившегося в его сторону Бальдульфа. Побежал бы, как никогда не бегут рыцари.

Надо попробовать еще раз. С самого начала. Может, он не был таким тонким знатоком дипломатии, как Алафрид, но он должен справиться.

— Вы… честный человек, господин Вольфрам. Честный человек и добрый христианин, а потому…

— Честный человек? — смешок Вольфрама показался ему скрежещущим, тяжелым, — Добрый христианин? Я? Господь с вами, мессир. Если кто-то на свете и ждет меня больше моей обожаемой женушки и пяти ребятишек, так это палачи в доброй дюжине герцогств, графств и марок. И, надо думать, ждут они меня вовсе не для того, чтоб угостить вином и потрепаться о старых добрых временах, а?

Он издевается, понял Гримберт. Нарочно смеется. Выставляет меня на посмешище перед этим грязным сбродом. Делает вид, что не понимает, о чем идет речь, а сам наслаждается представлением.

— Пошлите человека в Турин, — отрывисто произнес он, — Мой отец вознаградит его за добрые вести. И вас. Вас он вознаградит стократно.

— Вот как… И во сколько же он оценит добрые вести?

Гримберт уже обдумывал этот вопрос. Он не знал, какой выкуп у этого сброда будет считаться весомым и соблазнительным. Даже сумма, которую Туринская казна тратила на ежегодный капитальный ремонт «Убийцы», могла показаться для них сказочным состоянием.

— Двести флоринов.

— Нет.

* * *

— Двести флоринов туринской чеканки! — Гримберт непроизвольно повысил голос, — В одном таком флорине на тройскую унцию золота больше, чем в парижском, и на полторы больше, чем в гульдене…

— Нет.

Гримберт попытался быстро сделать в уме расчеты, однако цифры в голове с трудом ворочались, точно тяжелые булыжники. Ему бы дар Вальдо жонглировать числами…

— Вы предпочитаете венецианские цехины? Хорошо, это будет…

Вольфрам Благочестивый коротко покачал головой.

— Нет, мессир.

Этого Гримберт не ожидал. Он думал, хитрый разбойник начнет торговаться, юлить, пытаться выторговать себе свыше предложенного, а то и попросту начнет запугивать его. Так поступают все разбойники, столкнувшись с наживой. Но предводитель «Смиренных Гиен», кажется, имел свой взгляд на торг.

Нельзя идти ему на уступки, решил Гримберт, еще до того, как его вытянули из ямы, точно пескаря из пруда. Тогда он почувствует слабость и уверится в собственной власти. Надо действовать аккуратно, исподволь, очень осторожно и…

— Триста цехинов! — выкрикнул Гримберт, — Три сотни!

— Нет, юный мессир.

— Пять сотен, господин Вольфрам. Мой отец даст вам пять полных сотен! И баронский титул в придачу!

Вольфрам задумался, наморщив лоб.

— Баронский титул… Пять сотен… Щедрое предложение, юный мессир. Вот только… Титул баронский мне ни к чему. Ну обзаведусь я баронским гербом, куда мне вешать его прикажете? На дуб ближайший? Или на карету, чтоб потом кататься туда-сюда по лесу, как записной болван? Кроме того, ежли я буду барон, выходит, что именовать меня вы, подлецы, будете «ваша милость». А какая у меня может быть милость? Мы же гиены, мессир. Милостивых мы разрываем в клочья.

— Тысячу! — Гримберту показалось, что его ноги сейчас подломятся. Будто он взгромоздил на две хрупкие кости исполинский вес рыцарского доспеха, — Тысячу!

— За тысячу я позволю тебе облизать свои ботфорты, — ухмыльнулся Вольфрам, — Ну, позабавились и будет. Ржавый Паяц, отправь нашего гостя обратно в его покои, пока ребята животы не надорвали. Черт, ну и повеселил он меня! Барон, а!..

Гримберт ощутил, что в голове его, чуть ближе к правому виску, что-то взорвалось. Беззвучно, но породив обжигающую

вспышку, как термобарический снаряд большого калибра. Эта вспышка вобрала в себя весь холод, сколько его скопилось в теле за последние дни, и весь страх. На короткий ослепительный миг дала ему силы.

Рука его сама собой скользнула в карман гамбезона. Там лежало его единственное оружие, жалкое, как и он сам. Не инкрустированный лайтинг с гербом Турина на золоченом корпусе. Даже не отравленный стилет. Заточенный кусок кости.

Этот кусок он нашел несколькими днями ранее среди объедков и, повинуясь инстинкту, спрятал в рукаве. Сперва он пытался по ночам с помощью него вырезать ступеньки в ледяной стене ямы, чтоб выбраться наверх, но быстро понял никчемность этой затеи. Земля была тверда как камень, ее не взяло бы и закаленное лезвие кайла, кроме того, даже если бы он нашел способ снять с шеи собачий ошейник, у него не было бы ни единого шанса уйти от вооруженных, привычных к лесу, рутьеров.

Подражая туринским кузнецам, он часами шлифовал свое жалкое оружие о звенья цепи, добившись в конце концов сносной остроты. Едва ли оно способно было выдержать хоть один удар, но Гримберт не думал, что ему доведется фехтовать с его помощью против настоящего клинка. Нет, его задача была куда проще.

Половину последней ночи он пролежал, прижав свое никчемное оружие к сгибу локтя, к тому месту, где под истончившейся кожей хорошо проглядывалась темно-синяя вена. Инстинкт подсказывал ему, что боли почти не будет. Холод быстро закончит его мучения. Надо лишь набраться духу и…

Не смог. Лежал, пока слезы не превратились в хрустящую корку на лице, а все-таки не смог. Опозоренный, униженный, уничтоженный, так и не смог уйти как должно рыцарю, подарив банде Вольфрама холодный скорчившийся труп. Самоубийство — великий грех. Для тех, кто лишил себя жизни в адских чертогах отведен, говорят, отдельный круг, где души грешников обречены вечно добывать урановую руду, разлагаясь заживо и пытаясь прикрыть свои кости лохмотьями из слезающей кожи.

Не смог. Сдался. Спрятал проклятую кость в карман, точно осквернённую святыню. Но стоило только Вольфраму, самодовольно усмехнувшись, повернуться спиной, как пальцы вдруг сами нащупали ее.

В шею, подумал он. Прямо под ухо. Всадить, и будь что будет. Проклятые гиены набросятся на него и мгновенно растерзают, но так, наверно, даже лучше. Не Бог весть какая, но все-таки рыцарская смерть. Жалкая, нелепая, но все же. Уж лучше так…

Он не успел сделать и шага.

* * *

— Сзади! — рявкнул Бальдульф, — Хватай!

Вольфрам оказался быстрее, чем он думал. Куда быстрее, чем полагается мужчине его возраста, комплекции и образа жизни. Мгновенно развернулся на каблуках. И развернулся так быстро и ловко, что сразу сделалось понятно — ждал. Может, не именно этого, но чего-то подобного в этом духе. Звериное предчувствие у этого мерзавца. Неудивительно. Иначе его ручные гиены растерзали бы своего вожака очень, очень давно.

Кулак Вольфрама потянулся к нему беззвучной кометой, обманчиво медленный и в то же время смертельно опасный.

Неуклюжий удар, нанесенный спешно, без понимания важности баланса и геометрического согласования отдельных движений в пространстве. Ничуть не ловкий, просто внезапный и резкий, способный ошеломить противника своей внезапностью. Но в этот раз и Гримберт был к этому готов, не позволил застать себя врасплох.

Ему никогда не приходилось участвовать в кулачном бою, но венецианские мастера, обучавшие его искусству фехтена по настоянию отца, отработали каждый денье Туринской казны. Его обучали владению не только длинными клинками, но и теми, которые в старой части империи считались неподходящими рыцарскому сословию — дагами, кастетами и кортиками. Кроме того, неотъемлемой частью фехтена был «нактефауст», наука о том, как следует двигаться, если противник обезоружил себя в поединке. Удивительно, но даже не имея в руках оружия, человек способен наносить удары изрядной силы, вырывая победу в казалось бы безнадежно проигранном бою.

Удар Вольфрама, мысленно разбитый на пространственные и динамические составляющие, не относился к числу опасных. От него можно было уклониться, если пропустить над головой. Потом, компенсируя разницу в росте и длине рук, сделать короткий полушаг с левой ноги, разворот, тычок в область гортани и…

Он не учел веса ошейника и тяжелой цепи. А может, отощавшее тело, тратившее все силы на поддержание жизни, забыло былые навыки, утратило координацию движений. То, что вполне ловко получалось у него на циновках фехтовального зала, превратилось в беспомощный порыв, лишенный и силы и скорости.

Кулак Вольфрама врезался ему в бок. Вроде и вскользь, почти не причинив боли, но попытавшись крутануться, чтобы контратаковать, Гримберт с ужасом ощутил, как его тело,

сделавшись мягким, будто студень, оседает в снег. Небо над голыми верхушками деревьев вдруг посерело. Точно и не небо, а огромный растянутый экран, у которого выключили питание и который медленно гаснет. Гримберт ожидал, что этот экран сейчас потухнет полностью, погружая его в непроглядную темноту, но тело, оказывается, сберегло крохи сил. Недостаточные для того, чтоб оказать пристойное сопротивление, но достаточные, чтоб сохранить сознание.

Сапоги Вольфрама замерли возле его лица. Сейчас ударит, понял он. Прямо в висок. Короткий хруст — и все. Если Господь Бог милостив к нему, не будет даже боли…

* * *

Вольфрам брезгливо откинул сапогом заточенную кость, его жалкое оружие.

— Вы, мессир, упрямы, — задумчиво протянул он, склоняясь над ним. Сквозь клубящуюся в глазах темноту Гримберт едва различал черты его лица, — Неудивительно. Среди сеньоров много упрямцев. Такая уж публика. Бальдульф, нож.

Гримберт не видел того движения, которым рутьер протянул своему вожаку оружие. Но хорошо ощутил прикосновение чего-то твердого к своему пупку сквозь гамбезон.

— Среди жеребцов тоже попадаются редкостные упрямцы, — Вольфрам задумчиво провел вертикальную черту по его бедру, заставляя проминаться толстую дубленую кожу, — Одержимые злым норовом, они часто причиняют вред себе или седокам или хозяйскому имуществу. Не понимая, что тем самым делают лишь хуже. Я уже говорил, что мой отец был конюшим в Соро? Ах да, уверен, что говорил. Говоря по чести, он был порядочным ублюдком, но вот по части лошадей разбирался превосходно — до того злополучного падения. Он-то и рассказал мне, как можно сделать благоразумным даже самого норовистого жеребца. Разумеется, если хозяин не намерен получить от него потомства.

Нож опустился еще ниже и коснулся его гульфика[26]. И хоть тело было обмороженным, обессиленным и налитым свинцовой жижей, Гримберт вдруг ощутил прикосновения ножа к коже даже сквозь плотную ткань. Может, потому, что кожа в том месте чувствительнее всего, а может, испуганно трепещущее воображение дорисовало детали. Он попытался вскочить, но Вольфрам небрежно ударил его кулаком в подбородок, отчего все мысли и страхи на миг утонули в зловещем, пронизанном оранжевыми искрами, гуле.

Нож замер у него между ног, задумчиво чертя бессмысленные узоры по ткани гульфика.

— Знаете, мессир, если будет необходимо, я сделаю это, — Вольфрам усмехнулся, глядя на него сверху вниз, — Без всякой жалости, более того, с глубоким убеждением, что оказываю вашему роду немалую услугу. Мы все знаем, как щепетильно старые уважаемые роды относятся к своему генетическому материалу. Как чтут чистые генетические линии и чистоту крови, как тщательно планируют браки и потомство. У сеньоров никогда не бывает, чтоб ребенок родился со свиным хвостом, как у крестьян в Остии, или с гроздью глаз посреди лба, как с недавних пор случается в Равенне после того, как в тех краях заработали три сталелитейных завода. А если такое недоразумение и случается по причине пылкой любви к родным сестрам и тетушкам, услужливый хирург быстро уберет его при помощи ланцета. На худой конец, придворный художник замажет на парадной картине, чтоб не пришлось краснеть потомкам.

Гримберт попытался отползти, но не смог, Вольфрам крепко прижимал его свободной рукой к земле. А второй… Гримберт не видел ее расположения, но хорошо ощущал. Очень хорошо. Так, что боялся дышать.

— Многие почтенные роды проявляют большую заботу о своем генетическом материале. Ничего удивительного, ведь мы живем в век, когда чистота происхождения главенствует над чистотой помыслов. Вы даже не представляете, как много скверных историй с самыми дурными последствиями произошли только потому, что чей-то генетический материал не усидел в штанах… Рушились спланированные браки, терпели крах многовековые династии, рассыпались многие планы… Что там, подчас целые графства заволакивало пороховым дымом, матери убивали своих новорожденных детей, а братья-бастарды упоенно резали шеи друг другу, чтобы сократить количество голов, на которые может налезть корона.

Нет, подумал Гримберт, с ужасом ощущая, куда именно метит нож.

Нет, нет, нет, нет.

— Я могу избавить вашего отца от подобных хлопот, — Вольфрам доброжелательно улыбнулся ему, мягко нажимая на лезвие, — Он сможет не бояться, что драгоценный генетический материал рода маркграфов Туринских окажется бесконтрольно выплеснут его сыном в какой-нибудь придорожной корчме или на ложе блудницы, погубив его планы, репутацию или тщательно выстраиваемый альянс. Потому что отныне он сможет держать весь генетический материал своего сына у себя под рукой, в

удобном и доступном месте. В банке на своем письменном столе, например. Очень удобно. Думаю, я в силах оказать ему этот подарок.

Нож чиркнул по коже гамбезона, издав негромкий скрип. От этого звука у Гримберта внутри все оборвалось, в кишках, разрывая тончайшие оболочки, расцвели шипастые ветви шиповника. На миг ему показалось, что самое страшное уже произошло, просто тело не успело ощутить боль. И один этот миг стоил целой вечности в обжигающих недрах ада.

Вольфрам рассмеялся, демонстрируя ему нож. Не боевое оружие, просто кусок выщербленной стали, которым Бальдульф прежде резал копченое мясо. Чистый, заметил Гримберт, сдерживая трясущиеся в груди рыдания, без пятен крови. Значит…

Вольфрам погладил его ладонью по щеке. Кожа у него была мягкая, без мозолей, но Гримберт скорее подставил бы лицо под утюг, полный раскаленных угольев, чем испытал бы эту ласку еще раз.

— Юные жеребцы неразумны, — негромко заметил Вольфрам, — И часто выкидывают глупые фокусы. Без всякой причины, просто в силу своей природы. Ваша жизнь не представляется мне большой ценностью, но я рачительный хозяин и не разбрасываюсь добром, быть может, она мне еще пригодится и в самом скором времени. Я не хочу, чтобы выкидывали глупые фокусы, мессир.

Гримберт всхлипнул, пытаясь вернуть себе голос, но не преуспел. Глотка одеревенела, зубы сведены страхом.

— Я не стану вас пытать, я не живодер. Может даже, не стану отрезать тот крошечный мешочек размером с кисет, который служит вместилищем вашего фамильного генокода. Вместо этого я сделаю кое-что другое. Видите вон тот шатер?

Гримберт не хотел смотреть в указанную рутьером сторону, но Вольфрам спокойно взял его за волосы на затылке и силой повернул голову, едва не свернув шею.

— Шатер, ваша милость.

Гримберт увидел шатер, который ему указывали. Потрепанный, брезентовый, занесенный снегом, он ничем не выделялся среди скопища прочих, кабы не пара вооруженных рутьеров, переминавшихся с ноги на ногу у входа. Они не походили на почетный караул, да и не в традициях «Смиренных Гиен» были подобные ритуалы.

Скорее, стража. Значит…

— Там лежит ваш парнишка. Тот самый, которого мои люди три часа вырезали из доспеха. Честно-то сказать, дела у него не

ахти, оно и понятно — «Безумная Гретта» у нас дама серьезная, шутить не любит. Кстати, кем он вам приходится? Брат? Оруженосец? Может, любовник?

Гримберт попытался мотнуть головой, но Вольфрам жестко стиснул пальцами подбородок. Мягкие, как бархат, эти пальцы в то же время обладали силой тисков.

— Может и выживет еще, как знать. Молодость — великая сила… Так вот, мессир, в следующий раз, когда своей нелепой выходкой вы заставите почтенного Вольфрама занервничать… Или попытаетесь на кого-то напасть или сами причините себе увечье… Я не стану вас пытать или наказывать. Я просто возьму этот самый нож, который только что чуть не превратил вас в магометанина, и отправлюсь в этот шатер.

Нет.

Мразь. Падаль. Ублюдок.

Я попрошу, чтобы тебе заживо вырвали сердце щипцами, я…

Гримберт вновь попытался замотать головой, но добился лишь того, что Вольфрам небрежно ткнул его лицом в снег, разбив губу.

— Думаю, он не станет кричать, — Вольфрам прищурился, рассеянно вертя в пальцах нож, — Слишком слаб. Зато он сможет визжать. А визжать он будет долго, мессир, ваш мальчонка.

Сперва громко, а потом потише. Не потому, что я стану более милосердным, а потому, юный мессир, что даже визг требует сил. Он не сможет визжать столько времени, сколько я собираюсь ему уделить.

— Тебя повесят в Турине… — прошептал Гримберт, не замечая, как к окровавленным губам липнет снег, — Разорвут на части, повесят и…

— Я не буду у него ничего спрашивать. Но всякий раз, когда он будет кричать, я буду произносить одно слово. Всего одно слово. Знаете, какое?

Нет, не знаю.

Да.

Да, паскудная ты мразь, чтоб твое тело сожрало проказа, я знаю, я…

— Гримберт, — Вольфрам улыбнулся, внимательно наблюдая за его лицом, — Гримберт. Гримберт. Гримберт. Вот что это будет за слово. Ваш оруженосец, он будет умирать, слыша это имя. Это имя станет его кошмаром. Обозначением для самой лютой и безумной боли, которую не унять ни мольбами, ни криком. Я отделю его ногти — один за другим. Я отрежу ему уши и веки. Он будет извиваться и визжать, но всякий раз, вновь занося нож, я буду произносить это имя. Гримберт. К тому моменту, когда он

сможет наконец испустить последний вздох, это имя станет для него страшнее, чем все известные ему прежде слова, потому что оно будет знаменовать собой самую беспощадную пытку. Он проклянет это имя и все, что с ним связано. Он будет выть в ужасе при одном лишь его отзвуке. Вы станете его болью, обретшей имя, мессир. Его темным ангелом. Его личным кошмаром. Как вам такое?

Наконец Гримберта вырвало в снег горькой желчью. Вольфрам похлопал его по щеке.

— Умный мальчик.

Часть 5

— Вот она, любовь всей моей жизни, мой добрый ангел. Выглядит внушительно, а? Но это все ерунда по сравнению с ее голосом, мессир рыцарь. Уж вы-то слышали, как эта дама поет! По сравнению с ней Иерихонская труба может показаться пастушеской свирелью! Ну а уж ежли всыпать в нее полуторную мерку пороха, грохот будет такой, что во всем Эдемском царстве осыплются разом все яблочки!

Преподобный Каноник захихикал, прикрывая рот беспалой ладонью. Выглядел он как человек, которым выстрелили из пушки вместо ядра, но Гримберт решил, что проявлять брезгливость неуместно. Не после того, как он провел неделю в помойной яме, пропитавшись ее запахами.

— Значит, это и есть «Безумная Гретта»? — осторожно спросил он, разглядывая примостившуюся на краю лагеря бомбарду.

Прикрытая великим количеством брезента и шкур, обвязанная тряпьем, возлежащая на огромной четырехосной телега, на которую можно было водрузить целый дом, она скорее походила на ствол исполинского дерева, чем на артиллерийское орудие. Но Гримберт знал ее истинную силу.

— Она самая и есть, — с гордостью подтвердил Преподобный Каноник, — Наша святая покровительница и защитница. От рождения она, правда, именовалась «Святой Екатериной», когда триста лет назад ее отлили в Корбейле, но носить это имя ей долго не пришлось. Граф Венессен, отбивший ее при Соломенном Ратовище, велел переименовать ее в «Визгливую Марию», и следующие сорок лет она трудилась под его началом. Ну а после Сахарной Смерти она оказалась в войске графа Кузерана, где стала «Чумной Плакальщицей». Была даже, вообразите, на южной границе, била там хеттов, которые прозвали ее на свой манер, «Каргоаддар». На их проклятом языке это значит «Безногая сука с железным ртом».

— Она… большая.

— Уж еще бы, сударь! В ней, между прочим, восемьсот семнадцать квинталов весу, не крошка. Это на имперские почти сорок метрических тонн! Не верьте тем, сударь рыцарь, кто говорит, будто женщины в теле добрее душою и милосерднее. «Безумная Гретта» в гневе страшнее всех демонов ада!

Преподобный Каноник, семенящий вокруг Гримберта на своих полусогнутых обезьяньих культяпках, не занимал у

«Смиренных Гиен» офицерской должности, однако, как и все знатоки артиллерийского дела, пользовался заметным уважением. И явно не потому, что был первым красавцем среди рутьеров.

Все пушкари на памяти Гримберта выглядели весьма скверно, отпечаток их опасного ремесла за годы работы неизбежно въедался в плоть, оставляя на ней особенное, хорошо различимое, клеймо. Почти у всех пушкарей, что он знал, не доставало пальцев, у некоторых и кистей, многие щеголяли выжженными глазницами или скальпами, свисающими с головы подобно высохшим тряпицам, размозженными носами, перекошенными челюстями. Огнедышащие боги, которым они подчинялись, алкали щедрой платы, подчас взимая ее со своих жрецов без всякой милости.

Преподобный Каноник выглядел так, будто стал пушкарем неисчислимое количество лет назад, успев поработать со всем, что в силу своей конструкции может выдыхать пламя и смерть. Лишенная волос, несимметричная, беззубая, его голова походила на запеченный орех, побывавший в щипцах, но каким-то образом сохранивший целость и сросшийся обратно из осколков. Кожа, которая ее обтягивала, местами была гладкой и ярко-алой, как у младенца, покрытой липкими слюдяными спайками, местами серой как старая ветошь, местами и вовсе напоминала грубую сапожную юфть, пошедшую грубыми складками. Удивительно было то, что при подобных увечьях, свойственных представителям его ремесла, Преподобный Каноник сохранил не только слух, но и зрение. Его глазницы запеклись, превратившись в крохотные ороговевшие щелочки, но за щелочками этими отчетливо виднелись плавающие в мутной стекловидной массе угольно-черные зрачки, насмешливо взирающие на собеседника.

Преподобный Каноник выглядел таким ветхим, старым и хилым, что не мог бы поднять и пистолю, не говоря уже об аркебузе, однако, когда доходило до дела, мгновенно преображался. Из длинных рукавов выныривали багровые культи, снабженные грубыми протезами с загнутыми гвоздями, челюсть переставала дрожать, взгляд фокусировался, а речь становилась отчетливой и уверенной.

— Красотка, верно, мессир? — прошамкал пушкарь «Смиренных Гиен», с обожанием глядя на исполинскую мортиру, — Нрав у нее сложный, это верно, за этот месяц она сожгла уже четверых да двоих раздавила, но в глубине души она настоящая леди. И новое имя ей нравится. Мы с ней уже несколько лет, а она так меня и не погубила. Поверьте мне, не такая уж она и склочница, как хочет казаться…

Уму непостижимо, сколько пороху нужно этому чудовищу, подумал Гримберт, разглядывая огромный зев бомбарды. Украшенный вокруг дульного среза сложным орнаментом из вензелей, символов, львиных пастей и крестов, он был столь огромен, что внутри свободно смог бы сесть, свесив наружу ноги, взрослый мужчина.

Совершенно примитивное устройство, при одном взгляде на которое Магнебод бы не удержался от ругательств. Архаичное, нелепое, не идущее ни в какое сравнение с мощными и дальнобойными рыцарскими орудиями. У него не было даже толкового лафета, а прицельные приспособления были столь примитивны, что вся титаническая мощь огромного каменного снаряда должна была уходить впустую, если только стрельба велась не в упор.

— Видели бы вы, как она блестит на солнце, — Преподобный Каноник ощерился в беззубой ухмылке, которую обрамляли свисающие сухими сизыми клочьями губы, — Я ее нарочно маслицем натираю, тряпочками полирую… Блестит аки самоцвет!

С точки зрения Гримберта «Безумная Гретта» заслуживала лишь того, чтобы похоронить ее в лесу. Это старое чудовище, на чьих боках еще виднелись клейма и вензеля давно почивших герцогов и королей, не годилось для той работы, которую вынуждено было исполнять. Может, никчемная «Гретта» еще могла усилить собой какую-нибудь захудалую крепость на восточной границе, но в качестве полевого орудия представляла собой скорее обузу, чем подспорье. Если Вольфрам по какой-то причине еще не избавился от нее, то только лишь потому, что как и всякий скряга не сознавал, что это богатство приносит ему больше проблем, чем пользы. Эта мортира ничуть не усиливала «Смиренных Гиен», напротив, жадно потребляло их небогатые ресурсы, тяжело нагружая обоз и расходуя не бездонные силы. Не говоря уже о том, каких трудов стоило замаскировать эту громаду или расчистить ей пусть сквозь вековечные заросли Сальбертранского леса.

Однако именно это чудовище едва не отправило тебя на тот свет, напомнил себе Гримберт. Если бы не Вальдо, успевший в последний момент, отчаянно подставивший своего «Стража» под удар…

Вальдо, подумал он. Бедный мой несчастный Вальдо.

Он ничем не заслужил такой участи — в отличие от меня. Он отговаривал меня, пока я пер, точно одержимый, вперед, загоняя своего «Убийцу», точно уставшую лошадь. Он предостерегал меня, когда я забывал про осторожность. Он обращался к голосу разума, когда я, одолеваемый гордыней, несся не разбирая

дороги, желая покрыть себя рыцарским подвигом. Он…

Он играл в шахматы лучше, чем я смог бы когда-либо научиться.

Гримберт стиснул зубы, чтобы не позволить случайно выкатившейся слезе стать поводом для насмешек. Напрасная предосторожность. Все свои слезы он уже выплакал в яме, осушил запасы до дна, на всю жизнь вперед.

Держись, Вальдо, мысленно попросил он. Держись, пожалуйста. Как бы худо тебе не было, я найду способ вызволить нас отсюда. Подать сигнал отцу или сбежать. Но больше я не позволю тебе расплачиваться за свою глупость, обещаю.

* * *

Шанса для побега все еще не представилось, однако с того дня, когда Вольфрам устроил ему взбучку, пригрозив ножом, в его судьбе произошли некоторые перемены, которые можно было считать обнадеживающими. Если прежде Вольфрам считал возможным разве что плюнуть в яму, и то походя, от скуки, то теперь по меньшей мере раз в день приказывал Ржавому Паяцу вытащить «мессира рыцаря» из его покоев, позволяя пройти на цепи сотню-другую шагов.

— У высокородных господ конструкция как у породистых лошадей, — объяснял он, ухмыляясь, — Моцион им нужен, чтобы слабость в организме не случилась. А этот больших денег стоит, худо будет, если сгниет в своей яме!

Эти прогулки были унизительны, Вольфрам тащил его на цепи вокруг лагеря, позволяя Гиенам хохотать до беспамятства и швырять в пленника всяким сором. Для них это тоже было чем-то сродни разрядки, позволяющей выплеснуть скопившееся от долгого безделья напряжение.

Но Гримберт не возражал, хоть и ругался сквозь зубы к вящей гиеньей радости. Эти короткие прогулки пусть и не походили на привычные ему прогулки по фруктовым садам Туринского палаццо, приносили немалую пользу. Не потому, что у него наконец появилась возможность размять ноги, готовя их к побегу. А потому, что каждая прогулка неминуемо приносила ему новые знания об устройстве рутьерского лагеря. Всякий раз, когда его бесцеремонно вытаскивали за цепь, точно ведро из колодца, он старался украдкой подмечать все, что находилось вокруг. Расположение офицерских шатров и землянок-складов. Протоптанные тропы и места закладки сигнальных мин, маршруты часовых и козлы с оружием…

Обычно Гримберту не дозволялось с кем-то разговаривать, но для Преподобного Каноника Вольфрам по какой-то причине сделал исключение. Видно, не хотел обижать почтенного пушкаря, которому страсть как хотелось обсудить свою подопечную с «мессиром рыцарем», понимающим в артиллерийском деле куда больше никчемных рутьеров.

— Да, сударь, — пушкарь вновь потер культи друг о друга, — Сила в ней удивительная, в моей красавице. Верите ли, крепостную башню завалить может одним выдохом. Ребята, конечно, ворчат, особливо когда жар во время выстрела наружу травит, ствол-то у нее местами подпорченный уже, с разрывами, прорываются, значит, газы-то. Оглянуться не успеешь, как заденет кого из обслуги. Тут уж, конечно, ничего не поделаешь, только золу смести остается. Да, многих, многих на своем веку она сожгла, но не потому, что характер паскудный, а просто душа у ней такая боевая, у моей Гретты…

Но дальше Гримберт его не слушал. Потому что взгляд его, внимательно рыскавший по лагерю в попытке обозначить и запомнить бесчисленное множество деталей, вдруг наткнулся на одну, к которой мгновенно примерз насмерть. Да так, что не оторвался бы даже если б в лагерь рутьеров снизошли ангелы Господни, озарив все вокруг небесным светом.

«Безумная Гретта» была не единственной великаншей, обитавшей среди рутьеров. Поодаль от хоженых троп, почти на окраине, виднелась еще одна громада, так же заботливо укрытая мешковиной и ветошью. Может, она была и пониже бомбарды, возлежавшей на грузовой повозке, однако все равно внушительного роста, по крайней мере вдвое выше самого высокого рутьера. Просто груда ящиков, подумал Гримберт, ощущая внезапно испарину на груди. Какой-нибудь разбойничий скарб или запасы дров или… Мало ли всякой дряни может скопиться в разбойничьем логове? То, что издалека кажется массивными плечами, скорее всего, просто бочонки, а там, посредине, где мог бы располагаться шлем…

Он мог лгать себе сколь угодно долго, однако собственной душе не солжешь. Душа его вдруг негромко загудела, словно наполняемая энергией. Она ощутила что-то родственное в этой бесформенной куче, и сладко заныла, эта глупая, обмороженная, уставшая сверх всякой меры душа. Да так, что Гримберт ощутил сильнейший зуд в основании черепа, там, где под грубым ошейником располагался нейро-разъем.

Великий Боже, пошли мне знак, чтоб я понял, что не сошел с ума и мне не мерещится это.

«Убийца».

«Предрассветный Убийца» во плоти.

В стальной плоти весом полных двадцать имперских тонн.

Его собственный доспех, трижды проклятый и трижды благословенный.

Рутьеры, укрывшие его тряпьем и маскировочными сетями, поработали на славу, но даже они не в силах были скрыть контуры, знакомые Гримберту лучше, чем собственное отражение в зеркале. Контуры, которые он прежде презирал, находя их отталкивающими, неуклюжими и лишенными изящества настоящих боевых машин.

Тяжелый приземистый корпус, кажущийся грузным и неуклюжим, совсем не похожим на стройные осиные тела его старших собратьев. Не знающий ни разнесенного бронирования, ни рационального наклона бронелистов, он делал «Убийцу» похожим на неуклюжего коротышку в ряду стальных, созданных для обжигающей схватки, хищников. Башня, венчавшая этот неказистый корпус, выглядела миниатюрным подобием крепостного донжона, но не отличалась прочностью каменных фортификаций, ее формы были продиктованы необходимостью обеспечить хозяину отличный обзор, но никак не уберечь его от вражеских снарядов. Массивные спонсоны, выпиравшие по обеим сторонам, оканчивались не грозными орудиями главного калибра, а тонкими пулеметными жалами, кажущимися жалкими для столь громоздкой фигуры. Даже ноги у «Убийцы», лишенные изящества и сложных сочленений, выдавали в нем учебную машину.

Самый уродливый доспех во всей Туринской марке, подумал Гримберт, ощущая, как душа его тает, размягчаясь, будто воск, заполняя каверны и трещины в ледяной глыбе тела. Уродливый, устаревший еще при жизни его деда, с несуразно малой огневой мощью и скромным моторесурсом, годящийся лишь для овладения рыцарским искусством, но никак не для боя.

Он думал, его доспех так и лежит, брошенный хозяином, в волчьей яме посреди леса. Тонны мертвой стали, которыми никогда больше не обрести единства с человеком. Но это был он. Без сомнения, он. Значит, «Смиренным Гиеном» каким-то образом удалось поднять его и перевезти в лагерь. При одной только мысли о том, сколько трудов и времени им стоила эта работа, Гримберт на мгновение даже ощутил подобие уважения. Обойтись без гидравлических подъемных кранов, лебедок и дизельных погрузчиков, орудуя одними только примитивными рычагами, веревками да возами…

Преподобный Каноник отличался удивительной зоркостью как для человека, чьи глаза похожи на запеченные в тесте ягоды.

Иначе, наверно, в пушкарском деле и не бывает. По крайней мере, он мгновенно уловил, на что смотрит Гримберт. И захихикал, утирая от брызжущей слюны свой кривой, неправильно сросшийся подбородок:

— Что, заметили свою крошку, мессир? Ох и работы она нам задала, по правде сказать!.. Два дня ушло только чтоб сервоприводы перебрать и проводку заменить. Мне господин Вольфрам так и сказал: «Если через три дня этот болван не пойдет, я прикажу тебя самого в пушку зарядить!». А как прикажете ремонтировать, ежли там дырок больше, чем в моих портках? Повезло, что второй болван под рукой был. Его «Гретта» хоть и угробила, да кое-где он получше сохранился. Чего не хватало, с него снимали.

— «Страж»? Вы разбирали «Стража», чтоб починить мой доспех?

Это не укладывалось в голове. Наверно, череп его от долгого сидения в яме съежился, потому что всякая мало-мальски значительная мысль распирала его изнутри, не способная перевариться во что-то осмысленное.

Никто из рутьеров не сможет управлять рыцарским доспехом. Может, этого не соображают Гиены или самые недалекие из офицеров, но это совершенно точно должен сознавать их вожак. Для управления доспехом нужен рыцарь с нейро-разъемом. Мало того, не всякий, а только лишь тот, под уникальные мозговые волны которого доспех откалиброван. Рыцарский доспех, пусть даже такой примитивный и устаревший, как «Убийца», это не краденая лошадь, на которую достаточно надеть седло, чтоб сделать своей собственностью.

Может, Вольфрам намеревается продать кому-то доспех? Еще более нелепая затея. Даже если он перекрасит его и водрузит на лобовую броню какой-будь фантастический герб, цифровая сигнатура немедленно выдаст его истинное имя первому же встречному рыцарю. Это приведет Вольфрама Благочестивого в застенки Туринских палачей еще быстрее, чем если бы он сам заколотил кулаком в замковые ворота, признаваясь во всех грехах.

Значит…

Мысль эта начала вызревать в голове, но, успев пустить лишь пару ростков, оказалась безжалостно вырвана. Обнаружив, что Гримберт смотрит на «Убийцу», Вольфрам резко оторвался от разговора с Бальдульфом, которым был поглощен, и зло бросил:

— Паяц, ржавый ты бродяга, ты, кажется, ни в грош не ставишь свои обязанности дуэньи! Отправь-ка мессира рыцаря обратно в его покои! Негоже ему столько времени крутиться

среди черни, а ну вдруг как блоха дикая его загрызет?.. Чего пялишься? Вниз его!

* * *

«Убийца»…

Даже оказавшись в привычной яме, смердящей как кладбище скота и промороженной до такой степени, что взгляд, казалось, примерзал к земляным стенам, Гримберт не смог задавить эту мысль. Наоборот, все больше распалялся.

«Убийца» цел. Может, даже и на ходу. Нелепо думать, будто эти никчемные свиньи справились с работой на уровне туринских кузнецов, но, быть может, они в самом деле сумели залатать некоторые повреждения. «Убийца» стар, но выносли в и живуч, если работает реактор и нет утечки в гидравлике, он прошагает еще сотни лиг, прежде чем выйдет из строя.

Это значит… это значит…

Ох, Господь Спаситель, яви милость, направь мою никчемную мысль по верному пути…

Достаточно всего лишь забраться внутрь. Пусть «Смиренные Гиены» одержали победу в предыдущий раз, это случилось только лишь потому, что они, как и подобает мошенникам, играли на своем крысином поле и по своим крысиным правилам. В этот раз он не даст им такого преимущества. Уйдет еще прежде, чем эти ублюдки успеют вылезти из шатров.

Артиллерия Бражника не изготовлена к бою и хранится на дальнем конце лагеря, укутанная тряпьем и незаряженная. Чтобы выкатить ее на прямую наводку, зарядить и навести уйдет по меньшей мере минут двадцать — прорва времени для проворного легкого «Убийцы».

Гримберт мерял шагами свои ледяные покои, не обращая внимания на царапающий щеки холод.

Выбраться из ямы — это во-первых. Снять каким-то образом, проклятый ошейник — во-вторых. Прокрасться мимо дежурящих у ямы сторожей, не зацепить сигнальные мины, добраться до шатра, где держат Аривальда и вытащить его наружу, миновать половину лагеря с ним на плечах, чтобы добраться до доспеха… Это сколько? В-четвертых? В-пятых? Ох, дьявол…

Да и потом будет не проще. Бронекапсула легкого доспеха рассчитана на одного, двоим там нипочем не поместиться. Значит, придется приладить Аривальда на броню, как тюк с вещами, прихватив на всякий случай ремнями. Опасно, скверно. Запросто может задеть пулей, не говоря уже о том, что тряска от

быстрой ходьбы может причинить раненому немало проблем.

Придется рискнуть. Кулаки сжимались неохотно, с хрустом промороженных суставов, но Гримберт стиснул их так, что даже не ощутил боли.

Он уйдет, но сперва… Сперва он развернется и выпустит весь оставшийся боезапас по рутьерским шатрам. Потроша их, точно огненными хлыстами, выворачивая наизнанку вместе с их плотоядными обитателями, кромсая дымящиеся руины вдоль и поперек, до тех пор, пока те не превратятся в тлеющие клочки ткани, усеявшие лагерь вперемешку с горькой человеческой золой.

Он разнесет в щепки дремлющую «Безумную Гретту», эту опасную суку, вместе со всей ее обслугой и изувеченным пушкарем. Он хладнокровно расстреляет выскочивших на шум офицеров — Виконта, Олеандра, Блудницу, Бальдульфа. Но в Вольфрама Благочестивого он стрелять не станет. Нет, не станет. Не потому, что пожалеет медный грош за предназначенные ему пули. А потому, что не станет лишать себя удовольствия поднять многотонную лапу «Убийцы» — и раздавить предводителя разбойников, вмазав его в снег, превратив в лохматую рыхлую кляксу, что расцветет всеми алыми и серыми оттенками…

Мечты эти были столь упоительны, что скрывали, подобно пуховой перине, все острые углы и недостатки его плана. Он не мог выбраться без посторонней помощи из ямы. Он не мог снять позорный рабский ошейник со своей шеи. Он бессилен был проскочить незамеченным к шатру с Аривальдом и, даже если бы проскользнул, едва ли смог бы что-то противопоставить вооруженным рутьерам-часовым. Все это отступало на задний план, когда он представлял хлюпанье под бронированной лапой «Убийцы»…

* * *

Рассвет следующего дня не был похож на предыдущие. Гримберт, в совершенстве изучивший жизнь лагеря, сразу это заметил. Едва лишь утренняя группа разведчиков, чертыхаясь и переругиваясь по собственному обыкновению, вернулась в лагерь, как среди «Смиренных Гиен» поднялось непривычное оживление.

Центром этого оживления был Вольфрам. Как сердце рассылает по всему телу кровь своими ритмичными ударам, так Вольфрам рассылал тревогу и беспокойство отрывистыми, резко брошенными, приказами. Преподобному Канонику было велено немедленно поднимать всех своих людей, чистить пушки и

готовить телеги для серпантин.

Гримберт не знал, чем вызван этот переполох наверху, он был единственным человеком во всем лагере, жизнь которого ничуть не переменилась. Рутьеров обнаружили люди отца? Вольфрам узнал, что по его душу движутся Туринские рыцари?.. Несколькими днями раньше Гримберт позволил бы этим надеждам обмануть себя.

Но не сейчас.

Может, они уйдут?.. Соберут пожитки, свернут шатры, погрузят на телеги свою жалкую артиллерию и просто растворятся без следа, как растворяются стыдливые воспоминания и дождевые тучи? Просто оставят его и исчезнут навсегда, устремившись на запах поживы, как устремлялись все хищники сродни им. И тогда…

Вольфрам не забыл про него. Как ни был он занят, раздавая отрывистые приказы, бранясь и угрожая своим головорезам, какая-то часть его рассудка всегда помнила про Гримберта. Иначе и быть не могло.

— Наверх! — приказал он кратко, — Кажется, настало время нам потолковать с мессиром рыцарем…

В этот раз ему не досталось даже привычных унизительных шуток. Вольфрам слишком торопился, а может, был слишком занят планами, о которых Гримберту ничего не было известно. Он даже не удосужился поприветствовать его на свой особый издевательский манер.

— Значит, вот что… — Вольфрам помедлил пару секунд, присматриваясь к Гримберту.

Взгляд у него изменился. И сам Вольфрам изменился. Гримберт ощутил это, как «Убийца» ощущал изменения в электромагнитном поле, незаметное глазу, но отчетливо ощущаемое его внутренними датчиками.

В его внешнем облике не произошло никаких изменений, если не считать потертой старомодной кирасы, которую он успел на себя водрузить и в которой теперь неуклюже ворочался, точно рак в чересчур тесной раковине. Самоуверенный разбойник, мнящий себя вершителем судеб. Жалкий хитрец, заручившийся поддержкой столь же жалких отбросов. Никчемный головорез, почуявший крохотную толику власти и опьяненный ею, как самым сильнодействующим наркотическим зельем.

И в то же время это был другой Вольфрам. Незнакомый Гримберту. Убийственно спокойный, холодный и собранный, похожий на ритуальный меч, высвобожденный из ножен. И взгляд у него тоже был другой. Не тот насмешливо-маслянистый, что был хорошо известен Гримберту. Взгляд, которым он одарил

Гримберта в этот раз, больше походил на сгустившееся и очень плотное излучение.

— Среди благородных господ прямота, мне кажется, не очень жалуется, — Вольфрам коротко рыкнул, когда Ржавый Паяц попытался услужливо поправить застежки его панциря, но тот не отстранился, — Только благородного духа во мне не больше, чем в голодной гиене. В этом-то мы с ребятами схожи… Уж простите, мессир, если сразу к делу, без реверансов, как это у вас в Турине заведено. Потому что дело-то, в общем, простое и разводить тут рекогнострацию никакого смысла нет. Ребятам моим предстоит работа.

Это Гримберт и так отлично понимал. Нелепо было бы думать, что уцелевшие Гиены выстраиваются шеренгами, проверяя запальные шнуры, пыжи и пороховницы только лишь потому, что Вольфрам вознамерился устроить своим рутьерам военный смотр или торжественный парад. Весь лагерь полнился злым клекотом, перемежаемый ругательствами офицеров и звоном металла — особенный звук, электризующий нервную систему сильнее, чем торжественные голоса боевых горнов или лошадиная доза стимуляторов.

Они все и сами ощущали это. Гримберт замечал это по особенному блеску глаз, которые еще не были скрыты забралами, по сдерживаемой дрожи проверяющих запалы пальцев, по нервному смеху, то и дело трещащему в разных концах лагеря.

Да, подумал он, эти люди готовятся к работе.

Преподобный Каноник, этот изувеченный карлик, сновал по своей обожаемой «Гретте», с такой нежностью высвобождая ее из брезента и мешковины, будто снимал платье тончайшего шелка с юной прелестницы.

Олеандр Бесконечный, единственный, кого не затронуло всеобщее возбуждение, отрешенно улыбался, глядя неведомо куда, однако люцернский молот в его руках, небрежно опертый оземь, заставлял снующих вокруг рутьеров держаться от него подальше, как от снаряженного снаряда с ввинченным контактным взрывателем.

Бражник монотонно бранился, проверяя свои драгоценные склянки. Некоторые из них озабоченно встряхивал, у других перекрывал клапаны, в третьи что-то добавлял из пипетки. Может, он и не выглядел грозным бойцом, однако тяжелая кованная кулеврина, висевшая у него за спиной, не походила на парадное оружие. Она походила на инструмент, которому не раз приходилось бывать в работе. Ухоженный и любимый инструмент.

Бальдульф на все эти приготовления поглядывал

насмешливо. Его собственная броня, в которую он облачился вместо привычной шубы, выглядела весьма нелепо, но ни один из суетящихся рутьеров не спешил зубоскалить по этому поводу. Старомодная легкая кираса пехотного образца, порядком помятая и покрытая пороховой копотью, архаичные наплечные щитки, изрядно проржавевшие поножи… Все это было соединено вместе при помощи сложной системы ремней, а местами, где ремней не хватило, и обычной проволоки. Одного взгляда на это облачение было довольно, чтоб понять — этот комплект не заказывался у кузнеца, а собирался случайным образом на протяжении долгого времени.

В отличие от своих подопечных Вольфрам Благочестивый выглядел не возбужденным, как полагается гиене при запахе еще не пролитой крови, а неестественно сосредоточенным, задумчивым. Настолько, что Гримберту на миг даже показалось, что все его уродливые черты ушли под поверхность, как иногда смертельно опасные рифы уходят под воду, укрываясь приливной волной.

— Да, работа… — Вольфрам тряхнул головой, вернувшись к прерванной мысли, — До черта работы. Вот только оплата каждому причитается своя. Кто к вечеру притащит кошель с золотом, а кто будет нести охапку собственных внутренностей, пытаясь не истечь кровью. Такова рутьерская жизнь, мессир. Таково наше ремесло.

Разбойничья жизнь, подумал Гримберт, и дьявольское ремесло.

— Вы, конечно, можете сказать, мол, ремесло наше не из почтенных, не из благородных… — Вольфрам прищурился, обозревая свое воинство, спешно разбирающее оружие и суетливое, точно крысиный выводок, — И будете, конечно, правы. Только вот что я скажу вам о благородстве. Это не добродетель, не благодетельный сосуд, из которого можно черпать. Не каждый может позволить себе благородство в нашем мире.

Вздор, подумал Гримберт, и, к тому же, отдает ересью. Благородство — извечное свойство души, не имеющее отношения к достатку и положению. Благородным может быть последний нищий или кровожадный разбойник. Благородство — это…

— Благородство — это дорогая золоченая безделушка, что висит у вас на шее, что-то сродни драгоценной броши, — внезапно произнес Вольфрам Благочестивый, — Легко позволить себе быть благородным, когда в твоих кулаках тысячи людей, чьими жизненными соками ты питаешься и которых высасываешь досуха, когда ты обеспечен хлебом и чистой водой до конца своих дней. А может ли позволить себе благородство человек, который

ни разу в жизни не ел досыта? Гниющий заживо, но не имеющий даже одного серебряного денье, чтоб обратиться к лекарю? Искалеченный господскими слугами за мнимую провинность и вынужденный просить подаяния? Такой человек может позволить себе благородство, мессир?

Гримберт не нашелся, что сказать, да и не думал, что от него ждут ответа.

— Мои ребята знают, на что идут. Сегодня вечером некоторые из них вернутся со звенящим кошелем, а некоторые если и будут что-то нести, то собственные внутренности, вываливающиеся из распоротого живота. Не очень-то справедливо, но мы к этому привычны. Гиены — не самые благородные Божьи твари. А я — не самый благородный предводитель.

Гримберт кашлянул, с трудом вспомнив, как звучит его собственный голос.

— Каждый грешник может обрести прощение, если…

Вольфрам рассмеялся. Он заметил, понял Гримберт. Заметил его смущение и совершенно верно истрактовал.

— В тех миннезангах, что мне доводилось слышать, часто встречались благородные разбойники. Из тех, знаете, что услышав речь рыцаря, находили в своем сердце отголоски совести и, раскаявшись, бросали презренное ремесло. Как знать, может я как раз из их числа? Раскаюсь, наслушавшись ваших сладких речей, отдам все заработанное неправедными трудами добро Святому Престолу, надену вериги и отправлюсь странствовать, разнося во всей империи Слово Божье и уповая на Его прощение. Как по-твоему, Паяц?

Ржавый Паяц подобострастно поклонился, отчего его иссохшие кости его челюсти, соприкоснувшись с ржавыми пластинами шлема, издали привычный скрежет.

— Не удивлюсь, если в скором времени окрестные крестьяне нарекут вас святым.

— Святым? — Вольфрам приподнял бровь, — А почему бы, черт возьми, и нет? Что для этого требуется? Проповедовать? Я и так проповедую вам, сучье семя, денно и нощно, чтобы добиться хоть какого-то порядка. Являть чудеса? Что ж, я готов. Я буду творить чудеса. Впрочем, не думаю, что Святой Престол согласится канонизировать меня. Потому что я буду творить очень, очень нехорошие чудеса, мессир…

Он будет, понял Гримберт. Если только в его руках окажется хоть сколько-нибудь существенная власть, он непременно сделается святым — самым страшным святым из всех, что знала за всю свою историю Туринская марка. У этого человека внутри

не душа, а скорчившийся, свитый из человеческих жил, демон, трясущийся от неутихающей жажды. Ему мало уничтожить, ему надо обладать, подчинить, унизить, высосать до дна. Вот почему он обладает такой страшной властью над всеми этими людьми, такими же опустившимися и никчемными отбросами. Они чуют в нем эту силу, безотчетно, как животные, они загипнотизированы ею.

Против него не помогут ни молитвы, ни мольбы. И сила против него тоже не поможет. Даже если бы она была в его распоряжении, эта сила.

— Сегодня моим парням предстоит работа, — тяжело и веско произнес Вольфрам, — И я буду признателен, мессир, если вы примете на себя ее часть. В конце концов вы, как будто, мне немного обязаны, а?

Тяжелый спазм перекрутил какие-то важные вены в горле, потому что Гримберт вдруг ощутил удушье.

— Я? Обязан? Да вы…

Вольфрам потрепал его по плечу. Добродушно, как домашнего пса.

— Полноте, мессир, имейте смелость не отрицать очевидного. Во-первых, вы причинили мне и моему отряду изрядный убыток, не так ли? Который как благородный человек должны бы компенсировать. Во-вторых, вы уже неделю находитесь на моем содержании. Я предоставляю вам покои и стол, мало того, обеспечиваю моционом и развлечениями за свой счет. Я понимаю, что вы привыкли к праздной жизни, но хорошо бы и честь знать, а? Отработать свое содержание?

Никаких клещей. Никакого палача. Он лично вырвет сердце у Вольфрама Благочестивого. Даже если для этого придется порядком постараться, пытаясь найти в этом средоточии лжи, дерьма и злости маленький зловонный сгусток, который может именоваться сердцем.

Первый выдох, который смог сделать Гримберт, превратился в лающий колючий смешок, едва не разорвавший ему горло.

— В-вы смеетесь?

— Нет, мессир рыцарь, — Вольфрам взглянул ему в глаза, почудившиеся Гримберту двумя бездонными смоляными ямами, в глубине которых что-то влажно булькало и ворочалось, — Я не смеюсь. Но обещаю вам, что вы безошибочно почувствуете, когда я буду смеяться. Ваше тело не даст вам ошибиться. А теперь заткнитесь и внимайте так, будто я епископ, читающий проповедь со своей кафедры, потому как времени у нас остается мало и у меня есть, на что его потратить.

Гримберт не хотел слушать. Но Вольфрам мгновенно схватил

его пальцами за подбородок и вывернул так, что хрустнули позвонки.

— Они движутся с юго-востока, — негромко произнес он, — со стороны Турина. По меньшей мере дюжина самоходных дизельных вагонов и еще десяток-другой телег. Туринские купцы часто примыкают к караванам своих более богатых товарищей, полагая, что тем самым избегают опасности. Что ж, это их выбор. Мы не станем брезговать крошками.

Крошками… Гримберт еще ничего не понимал, но это слово отчего-то укололо его. Он вдруг понял, какими они будут, эти крошки. Не от галет, которые они с Аривальдом крошили в снег. О нет, это будут совсем другие крошки.

Вольфрам выпустил его подбородок и брезгливо потер пальцы, будто отирая их от грязи.

— Охраны скорее всего немного, душ двадцать. Но это не калеки, выгнанные из пехоты, и не пяток варваров с дубинами. Скорее всего, это будут корсы. Знаете что-то про корсов, ваша милость?

— Нет.

— Тем лучше. Корсы — суровый народ. Дикие еретики с каких-то южных островов Mare Mediterraneum[27]. Как по мне, лучше бы они там и передохли, злобные ублюдки. Но, видно, жизнь там у них не сахар, вот они и нанимаются в охрану, причем сразу кланами. Про корсов говорят, что они паршивые вояки, но так говорят только те, кто ни разу не сталкивался с ними в бою. Они не уважают аркебуз, это верно, но они отменно владеют своими пиками, а кроме того, испытывают слабость к пистолям, которые обычно снаряжают рубленными гвоздями. Знаете, во что превращает человека выстрел в упор из такой штуки?..

Гримберт помотал головой. Не знал. Не хотел знать.

Однако Вольфрам удовлетворенно кивнул.

— Скорее всего, до схватки и не дойдет. Корсы — самые злобные и хитрые ублюдки из всех, созданных Господом, а уж Господь в свое время немало потренировался по этой части… Свирепее кимвров, выносливее баваров, смелее узипетов и ублюдочнее гермундуров. Сущие дьяволы, короче говоря. Но так уж заведено на свете, что самые злобные и хитрые вынуждены быть и самыми осторожными, иначе со временем их самих изведут под корень. Я думаю, мы с ними столкуемся. Они злобные и хитрые ублюдки, но только не дураки. Как только они увидят нашу артиллерию, то хорошо задумаются. Быть может, я даже позволю «Безумной Гретте», этой злобной суке, разок рыкнуть, чтобы произвести на них впечатление.

— Это… Это купеческий караван?

Вольфрам кивнул.

— Именно так, ваше сиятельство. Или вы думаете, что мы «Смиренные Гиены» морозят свои задницы в этом проклятом лесу исключительно для того, чтоб обеспечить вас своей компанией? А может, вы считаете, что снег для нас мягче и теплее, чем пуховые перины?

— Откуда вы знали? — только и спросил Гримберт.

Вольфрам пожевал губами.

— Вы юны, мессир, но явно не первый день живете на свете. У меня… у нас есть свои способы получать интересующую информацию.

— Шпионы, — утвердительно произнес Гримберт.

— Шпионы, мессир, — легко согласился Вольфрам, — Туринские купцы, смею заметить, не дураки, иначе не были бы столь отвратительно богаты. Они подкованы не только в логистике. Они не горят желанием привлекать излишнее внимание к своим грузам, оттого почти всегда выдвигаются тайно, строя маршрут через самые глухие тракты, на которых, по их мнению, не может быть засады. Но в этот раз, кажется, их ухищрения пошли прахом.

— Вам донесли.

— Нет, — кажется, это была первая улыбка Вольфрама Благочестивого, которая походила на искреннюю, — Я сам это понял, на протяжении многих недель получая сигналы от многих людей. Когда собирается большой караван, это сложно сохранить в тайне, даже если окружить его великим множеством барьеров. Мои люди докладывали о том, что в Турин уже несколько недель стягиваются кучера и колесники, а еще скобари[28], шорники[29], а еще в городе отчего-то образовались изрядные запасы дизельного топлива и моторного масла. Я всего лишь свел эти сигналы воедино и расшифровал. Это караван, мессир. Большой тучный караван. Я не знал, когда он отправится в путь, но так уж случилось, что догадался о том, куда он направляется. А там уже…

Гримберта замутило. Даже не столько от похвальбы Вольфрама, который не скрывал гордости от проделанной работы, сколько от невнятного предчувствия, которое последние несколько минут давило изнутри на печень.

Вольфрам Благочестивый никогда не делал ничего просто так, повинуясь душевному порыву. У него и души-то не было, у этого самодовольного расчетливого ублюдка. Если он рассказывает это так запросто своему пленнику, не скрывая деталей, значит…

— Что вы хотите от меня? — резко спросил Гримберт.

— От вас, мессир? — Вольфрам, казалось, и сам удивился, — О, самую малость. Небольшое пустячное одолжение.

— Я не стану принимать участие в этом… в этой…

— Дикари зачастую опасны именно своей непредсказуемостью. Что, если вид оружия пробудит в них не здравый разум, а напротив, слепую ярость? Видите ли, мне бы не хотелось проливать сегодня больше крови, чем необходимо. Я рутьер, а не разбойник, хоть вы и не похожи на человека, сознающего разницу.

— Но я не…

— Если эти черти чего и боятся, так это рыцарей. Здоровенных стальных болванов на огромных ногах. Эти ребята навели на них страху в свое время, едва не заставив их чертовы острова нырнуть обратно в море. О да, рыцарей все варвары боятся до беспамятства. Стоит вам появиться перед их авангардом в своих доспехах, как они обмочат портки, бухнутся на колени и, чего доброго, начнут молиться в вашу честь! О да, ничто так не укрепляет праведность души, как запах собственной паленой шкуры. Вам даже не потребуется стрелять. Лишь произвести должное впечатление, этого будет вполне довольно.

Да, подумал Гримберт, вполне довольно.

Этого будет довольно для того, чтоб обречь свою бессмертную душу на адские муки. Чтобы до конца своих дней, сколько бы их ни было отсчитано Господом, сознавать себя мерзавцем, ставшим по доброй воле участником разбоя. Чтобы навеки утратить уважение к себе, запятнав рыцарскую честь позорным бесчестьем.

Сидеть в помойной яме, питаться объедкам и сносить издевки позорно, но на этот позор он обрек себя сам и самолично его несет. Но вот повернуть рыцарское оружие в сторону невинных, приняв участие в разбойном нападении вместе с рутьерами — это позор совсем другого рода. Такой не смывается даже тысячью лет мук в адских котлах. Мало того, это позор всему роду, всем сотням и тысячам его предков.

— Нет.

Он сам не знал, откуда нашлись силы на это слово. Однако оно слетело с его языка само собой, как слетает с направляющих реактивный снаряд, получив команду управляющего центра.

Вольфрам изумленно приподнял брови.

— Мессир?..

— Нет, — отчетливо повторил он, — Я не буду в этом участвовать. Можете резать меня на части. Можете сжечь живьем. Можете морозить до смерти или сотворить все, что подсказывает вам ваше дьявольское воображение. Но соучастником вашим я не

сделаюсь. Прикажите вашим подручным, чтобы меня сопроводили… в мои покои.

Вольфрам Благочестивый вздохнул.

— Ох уж это рыцарское благородство… — пробормотал он сокрушенно, — Знали бы вы, сколько без от него происходит! Впрочем, не стану настаивать. Может, я и рутьер, но чужие обеты чту. Ржавый Паяц!

— Здесь, господин Вольфрам.

— Дай-ка мне нож. Ступайте в яму, мессир, не смею больше вас задерживать. Не стану держать на вас зла, напротив, распоряжусь, чтоб вас сегодня накормили досыта. Какие части вашего оруженосца кажутся вам наиболее аппетитными, ваше сиятельство? Желаете ребрышек? Или, быть может, шейку? Из меня не Бог весть какой мясник, но уверяю, порцию вам нарежу не скупясь.

Вольфрам со вздохом поднялся. Облаченный в броню, он казался потяжелевшим в несколько раз, сросшимся со своим стальным панцирем. Способным раздавить, словно пятидесятитонный рыцарский доспех. В руке он держал протянутый Ржавым Паяцем нож. Не тот, что он помнил, а настоящий, боевой, с тяжелым выгнутым лезвием, похожий на кусок неровно отрубленного и замерзшего лунного света.

— Стойте, — прошептал Гримберт.

Вольфрам приложил руку к уху. Нелепый жест, Гримберт доподлинно знал, что слух у него острый, как у хищной куницы.

— Что?

— Стойте.

Рутьер нетерпеливо дернул подбородком.

— Мы ограничены временем, мессир. Караван уже в шести лигах[30] от того места, где его путь должен оборваться. А нам еще добраться до него и обустроить позиции. Я не могу дать вам на размышление больше минуты.

— Но если…

— Если вы поможете мне? — Вольфрам пожал плечами, что с учетом доспехов не так-то просто было сделать, — Тогда я отпущу вас. Обоих. На все четыре стороны, хоть в Турин, хоть в Иерусалим. К тому моменту, когда вы доберетесь до своей вотчины, «Смиренные Гиены» давно пересекут границу Туринской марки и более в этих краях не покажутся. Черт возьми, может я и в самом деле сделаюсь бароном, если куш будет хорош. Ну, что скажете? Через пару дней снова будете лакать сливки в своем Туринском палаццо и щекотать служаночек. Если, конечно, не подохнете по дороге. У Сальбертранского леса паршивый характер и он, кажется, не жалует путников, особенно зимой.

— Помочь вам в грабеже? — с горечью спросил Гримберт, — Обернуть рыцарское оружие против купцов? Этого вы от меня хотите?

Вольфрам осклабился.

— Хороший способ, чего стоит ваше благородство на самом деле. Способно ли оно спасти чью-то жизнь или служит лишь никчемным украшением вашего маркграфского рода. Решайте, мессир. И лучше бы вам уложиться в десять секунд, потому как запас времени уже иссякает.

Гримберт кивнул. Десять секунд, быть может, совсем малая кроха времени, но он был уверен, что отведенного срока ему хватит, чтобы принять решение. Может, потому, что он уже принял его — еще в тот момент, когда гремящая цепь вытащила его из помойной ямы.

* * *

Сальбертранский лес. Иногда Гримберту казалось, что это чудовище никогда не выпустит его. Гигантское, протяженностью в миллионы арпанов, сплошь состоящее из шипастых лап-ветвей, трещащих деревянных костей и хрустящих под ногами покровов, оно опять обступало его со всех сторон. Отчаявшись уязвить своими крючьями тело, спрятанное в бронекапсуле, зло терлось о броню, цеплялось за сварные швы, точно подыскивая уязвимое место, силясь втиснуть в бронекапсулу зубастую ядовитую пасть…

Сжечь бы его, тоскливо подумал Гримберт. Из тяжелых огнеметов «Багряного Скитальца». Чтобы испуганно зашипел, испаряясь, снег, а деревья превратились в танцующие, облитые оранжевым жаром, острые фигуры. А еще лучше — Небесным Огнем. Превратить этот распроклятый лес в котлован булькающей жижи из расплавленного кварца и золы. Вместе со всеми его никчемными обитателями, опасностями и ловушками.

Вот только Небесного Огня, скорее всего, не существует. По крайней мере, именно так считал Аривальд. Просто досужая выдумка бездельничающей прислуги, и только.

Аривальд…

Вальдо…

Он стиснул зубы, которых почти не ощущал в состоянии нейро-коммутации.

«Потерпи, — мысленно приказал он Аривальду, так, словно тот был подключен к радиоканалу „Убийцы“, — Потерпи немного. Все будет хорошо. Мы вернемся в Турин и я сделаю тебя

своим кутельером, как обещал. И плевать, что я не рыцарь. Ты будешь моим главным оруженосцем, и точка!..»

Как ни пытался он убаюкать душу этими мыслями, та не унималась. Слизко ворочалась в своем коконе, будто тоже была маленьким пилотом внутри огромной неуклюжей туши, стонала и жаловалась на все лады. Он мог делать вид, будто не знает причины, но это было бы ложью. Он знал.

Подключение к доспеху, которое он предвкушал столько времени, оказалось испорчено. Не «Убийцей», тот, пробудившись от многодневного сна, радостно поприветствовал хозяина набором стандартных команд, диагностических символов и условных обозначений. Потрепан, израсходовал приличную часть моторесурса, но жив и готов выполнять команды.

Он почувствовал скверное, едва лишь подошел к доспеху, все еще прикрытому брезентовыми полотнищами, очень уж скверно хихикал Ржавый Паяц. Да и Каноник, терший друг о друга свои изувеченные птичьи лапки в явственном предвкушении, тоже чего-то ожидал.

— Ну, мессир рыцарь, принимайте свой доспех. Сделали все, что в наших силах. Может, не такой новенький и блестящий, как в тот день, когда он вышел из маркграфской кузни, да только ведь и у нас тут не фабрика, извольте заметить. Реактор не течет, давление масла на уровне, внутренняя электросеть в порядке. Ах да, мы взяли на себя смелость малость его улучшить к вящему вашему удовольствию. Для зрелищности, значит. Можете не благодарить, но если серебром за наши труды одарите, вам в Царстве Небесном все зачтется…

«Смиренные Гиены», окружившие доспех, одновременно сдернули полотнища, и Гримберт едва не вскрикнул от ужаса. Ему и раньше казалось, что контуры «Убийцы», пусть и укрытые брезентом, как будто немного изменились, но он утешал себя тем, что это ему мерещится. За семь дней в ледяной яме можно позабыть, как выглядит родной отец, что уж там доспех…

Но ему не померещилось. «Убийца» предстал перед ним преображенным, и в таком облике, что даже сердце, кажется, вместо очередного удара породило мягкое беспомощное дребезжание.

Его доспех…

Даже если бы «Убийца» оказался в дьявольской кузне, где все демоны ада измывались бы над ним денно и нощно, он и то не выглядел бы хуже. Чья-то злая фантазия исказила его знакомые черты, родив такое смешение жутких форм и цветов, что Гримберт обмер на месте, не в силах подойти к своему доспеху ближе.

— Пришлось подкрасить, — хихикнул Каноник, наслаждаясь произведенным эффектом, — Все равно старая краска облезла вся от огня, значит, ну мы и подновили, значит, в меру своих сил… Как вам ваш доспех, мессир рыцарь? Хорошая работа?

Гримберту захотелось зажмурить глаза изо всех сил, до боли в веках, и держать их так, пока мельтешащие желтые звезды не выжгут увиденное. Но даже если бы это произошло, память безжалостно сохранила детали. Воздух беззвучно сгорел в легких, оставив там едкую сухую золу.

Наверно, так ощущает себя священник, вернувшийся в родные места и увидевший храм, который осквернили лангобарды. Расколотый алтарь, разбитую посуду, исписанные безграмотными богохульными надписями стены нефа, разваренные кости святого, которого извлекли из раззолоченной раки и сварили в суповом горшке.

Это было не просто оскорбление, это было надругательство.

Новый окрас «Убийцы» был чудовищным и нелепым — таким, что от одного взгляда на доспех делалось дурно. Не серо-зеленый камуфляж, который часто использовался на неприхотливых и дешевых баронских машинах. Не традиционная для туринских рыцарей лазурь с золотом, ярко сверкающая на солнце и бросающая нарочитый вызов противнику. Даже не броская окраска чемпионов вроде зловещего багрянца «Багряного Скитальца» Магнебода или жутких черно-серых полос, украшавших «Великого Горгона» Алафрида. Тот, кто наносил новую окраску, не пытался ни скрыть «Убийцу», ни продемонстрировать миру какие бы то ни было геральдические цвета. Да и не было у «Смиренных Гиен» никаких цветов.

«Убийца» был выкрашен нарочито ярко, точно ландскнехт, напяливший на себя перед боем самые богатые тряпки, сплошь в алый и черный с широкой золотой каймой. Этот окрас был нелепым, бессмысленным, даже оскорбительным в своей безвкусице, от него несло неприкрытым бахвальством — вполне понятным для наемничьей орды, но немыслимым для рыцаря, пусть даже потерявшего последние представления о вкусе и скромности.

Но дело было не только в окрасе. Чертовы «Гиены» внесли в конструкцию рыцарского доспеха множество других изменений, при виде которых Гримберт едва не взвыл от ужаса. Бронированные наплечники «Убийцы» больше не выглядели элегантными в своей простоте, как полагается боевой машине, они ощетинились частоколами зазубренных шипов, остриями для которых послужили обломки копий, глеф и алебард. Шлем украшал пышный плюмаж из колючей проволоки, а пулеметные

гнезда были задрапированы складками ярко выкрашенной ткани, точно пародируя пышные ландскнехтские рукава-буфы из дорогого бархата и щелка.

В некоторых местах изменения носили вполне практичный характер. Гримберт заметил пласты дополнительной брони, где-то неряшливо приваренные, где-то посаженные на примитивные заклепки, но даже не успел ужаснуться, лишь подумать о том, до чего паршиво должно было сказаться на балансе и равновесии машины подобное изменение в конструкции, особенно с учетом того, что производили его люди, в жизни не видевшие технологий сложнее колодезного ворота. Уязвимая бедренная часть «Убийцы» оказалась прикрыта кольчужной юбкой, свисавший до коленных шарниров. Не Бог весть какая защита, но, быть может, сгодится для защиты ног от крупных осколков, если дело дойдет до боя…

Но даже не это поразило Гримберта в первую очередь. На лбу боевой рубки кто-то белой и алой краской изобразил кровожадную морду, принадлежащую, должно быть, самому Сатане. Ощетинившаяся кривыми зубами пасть, распахнутая во всю ширину, сверкающие жаждой крови пустые глазницы, обрамляющая их клочковатая шерсть…

Изображение не было мастерским, люди, наносившие его, многими инструментами владели куда увереннее, чем кистью, однако в сочетании с наваренными на броню шипами, омерзительной раскраской и прочими варварскими украшениями производило гнетущее, жуткое впечатление. Столь жуткое, что потрясенный Гримберт не сразу распознал, кому принадлежит эта дьявольская морда, скалящаяся с лобовой брони.

Гиена. На лобовой броне «Убийцы» сверкал гипертрофированный лик голодной гиены.

Это не мой «Убийца», подумал он. Это какая-то чудовищная насмешка над рыцарским доспехом, богохульная шутка, наваждение, издевка. Он не похож на боевую машину, несущую заслуженное возмездие всем врагам христианской веры, он похож на бронированное чудовище, вышедшее из адской кузни самого Вельзевула. На одержимое голодным демоном пыточное орудие, которому не хватает лишь искры, чтобы исторгнуть пламя из своей пасти, на…

Вольфрам удовлетворенно кивнул.

— Недурно поработали. Пожалуй, эта штука нагонит страху на корсов.

— Еще бы нагонит! — хвастливо отозвался скособоченный пушкарь, — Я к егойной голове еще ревуны, значит, приспособил, чтоб адским воем нервы супротивнику попортить. Как заработает, у всех корсов уши полопаются, вот что!

Предводитель рутьеров усмехнулся, сделав Гримберту приглашающий жест, столь преувеличенно почтительный, что почти не скрывал издевки.

— Ну, ваше сиятельство, извольте занять свое место. Вашему верному войску уже пора выдвигаться.

Ржавый Паяц вдруг захихикал. Его смех никогда не предвещал ничего хорошего, но сейчас у Гримберта от него даже поджилки заныли.

— Погодите, господин Вольфрам. Всем известно, что славный рыцарь, прежде чем направиться в схватку, должен получить причитающееся ему благословение! Церковного вина у нас на этот случай не запасено, но что-нить да придумаем! Ну-ка, ну-ка…

Отняв у кого-то из суетящихся вокруг рутьеров глиняную бутыль, скрежещущий старик коротко замахнулся и метнул ее прямо в лобовую броню «Убийцы». Сосуд с тихим хрустом разлетелся от удара об сталь, покрыв броню потеками дрянного едко пахнущего пойла. Едва ли это было вино, скорее, разведенный спирт, слитый из системы охлаждения.

— Осталось его наречь подходящим образом, — произнесла откуда-то из-за спины беззвучно подошедшая Блудница, внимательно наблюдавшая за процедурой благословения, — Доспеху нужно имя, а старое, каким бы оно ни было, ему уже не подходит, мне кажется.

— Верно речешь, девка, — согласился Ржавый Паяц и торопливо выкрикнул, — Нарекаю тебя «Нечестивый Безбожник»! Иди и круши во славу всех бывших и будущих богов!

Блудница покачала головой.

— Слишком претенциозно, — холодно заметила она, — Нарекать доспех подобным образом означает искушать судьбу и Святой Престол, а мне бы не хотелось сводить тесное знакомство с Инквизицией. Если я умру на плахе, то как разбойник, а не как еретик.

— Наша прекрасная дама, без сомнения, права, — заметил Виконт, тоже заявившийся на эту отвратительную церемонию и с удовольствием наблюдавший за ней, — Nomina sunt odiosa[31]! Я знавал одного раубриттера, у которого хватило ума назвать свой доспех «Лукавый Князь». Ничего дурного он не замышлял, понятно, просто дал волю не очень-то богатой фантазии, но святоши из инквизиции поняли все по-своему, а мой приятель на несколько лет сделался постоянным обитателем апартаментов в Сан-Хорхе[32]. В итоге к удовольствию обоих сторон вопрос удалось разрешить, сочтя его досадным недоразумением, но к тому моменту мой приятель с трудом мог управлять разве что

рукой, несущей ложку ко рту, не то что рыцарским доспехом. Впрочем, имя он все же сменил на новое, гораздо более благозвучное. Он нарек свою машину «Святой Пламенеющий Воитель Радетельный Воин Небес Исполненный Дерзновенной Благодати». Язык сломаешь, пока произнесешь. Я думаю, это оттого, что он малость повредился в уме от пережитого, вот и…

— Назовем его «Безумный Костолом», — предложила Орлеанская Блудница, спокойно взирающая на жуткий гиений лик, скалящийся с лобовой брони, — Вполне благозвучно.

Ржавый Паяц презрительно оскалился, отчего в его пасти заскрежетали друг о друга зубы.

— Не пойдет. Лучше «Кладбищенский Генерал»!

— «Кровопийца».

— «Рейнский Каннибал»!

— Что за черт? Почему «Рейнский»?

— А почему бы и нет? Но если вам, мадам, страсть как хочется назвать его в свою честь, может назовем «Ветренной Красоткой»?

— Скорее, это название будет в твою честь, Паяц!

Возбужденные предстоящей схваткой, рутьеры были достаточно возбуждены, чтобы сцепиться между собой, точно всамделишная стая гиен. Сейчас им было все равно, чье мясо рвать, пусть даже и товарища. Однако Вольфрам не намеревался терять время на перебранку. Пару минут он не мешал своим прихвостням упражнять глотки, но потом одним коротким жестом заставил их заткнуться.

— Довольно болтовни, — кратко приказал он, — Властью, данной мне хрен знает кем, нарекаю эту железную образину «Святой Падальщик»! А теперь, ваше сиятельство, извольте занять свое место, пока я не приказал вбить вас туда прикладами! Выступаем через десять минут!

Часть 6

«Убийца» шел на удивление легко. Лишенный души механизм, он был не в силах испытывать тех переживаний, что гнели душу его хозяина, и если испытывал тяжесть, то только лишь из-за дополнительной брони, которую ему приходилось нести, да разбалансированных гироскопов.

Гримберт даже обеспокоился, как бы не обогнать ненароком сопровождающих его рутьеров. Зная злую мнительность Вольфрама, он не сомневался, что отсутствие «Убийцы» тот расценит как бегство, поспешив выместить свою злость на Аривальде. Но эти опасения были напрасны. Несмотря на то, что дорога их лежала вдалеке от троп и просек, по глубокому снегу, двигались рутьеры удивительно споро, точно россыпи целеустремленных призраков, бесшумно движущиеся в едином направлении. Не было слышно ни смеха, ни маршевых песен, ни привычной ругани, словом, ничего того, что производит обычно человеческая масса, скомпонованная в походные порядки. Едва ли потому, что Вольфрам приказал своей стае соблюдать тишину, скорее, в предчувствии драки Гиены сами собой сделались молчаливы, напряжены и неразговорчивы. Гримберт, хоть и был изолирован от них герметичных коконом бронекапсулы, и сам улавливал в воздухе нечто такое, что заставляло его безотчетно стискивать зубы. Какой-то неприятный, разлитый над снегом, холодок, от которого беспокойно зудели все нервы в теле.

Должно быть, это ощущение опытные рыцари и называют предчувствием боя. Если так, Гримберт мог лишь позавидовать их хладнокровию и крепости желудка, сам он изнывал от этого чувства, мучился ним и не мог заглушить.

Его ждал не бой, его ждало участие в авантюре, которая ничем не отличалась от обычного разбойного нападения. И то, что орудиям «Убийцы», пусть и молчащим, придется принять в этом участие, увеличило все его муки стократ.

Все рутьеры были облачены в маскировочные одежды, делавшие их почти неразличимыми на снегу, а свою легкую артиллерию тащили на примитивных салазках, которые в то же время играли роль лафетов. И получалось это у них чертовски ловко. Может, они и не были образчиком воинской дисциплины, однако передвигались даже быстрее туринской легкой пехоты — и это при том, что несли на себе немало дополнительной поклажи.

Единственный, кто не отягощал себя необходимостью

хранить молчание на марше, был Каноник, и Гримберт понимал, отчего. Вольфрам распорядился оставить «Безумную Гретту» в лагере, и неудивительно, ни одна грузовая телега, пусть и снабженная шестью осями, не смогла бы тащить это чудовище по глубокому снегу. Находя это несправедливым, Каноник всю дорогу ворчал, кляня жизнь и судьбу, извергая время от времени столь богохульные словечки, что уважительно чесали в затылке даже привычные ко всему рутьеры.

Бальдульф, Блудница, Олеандр, Виконт, Бражник — он легко находил их всех взглядом, будто они были рыцарями его знамени, не хватало только пиктограмм в визоре. Каждый из них шел во главе своего отряда, сосредоточенно и ловко подгоняя отстающих, указывая направление, переглядываясь между собой. Не хватало лишь Каноника — несмотря на его проклятья и мольбы, Вольфрам в последний момент оставил его в лагере вместе с его драгоценной «Безумной Греттой», здраво рассудив, что передвигать это чудище по глубокому себе дороже, а заминка и так может сделаться роковой.

Он и сам остался в лагере, этот никчемный предводитель «Смиренных Гиен». Собирался по радиосвязи управлять своей стаей, но Гримберт был уверен, что эта причина выдумана и никчемна. Трусливый ублюдок просто не горит желанием подставлять свою шкуру под пули, если вдруг акция устрашения не удастся. Вполне в его характере.

И черт с ним, решил Гримберт. Есть задачи поважнее.

Пользуясь тем, что на мерно шагающего по снегу «Убийцу» почти не обращают внимания, он задал автоматике курс движения, сам же сосредоточился на диагностике систем. Как бы ни повернулись события, ему нужно было знать, может ли он рассчитывать на восстановленный варварскими методами доспех и сохранил ли он хотя бы часть своих возможностей.

Результаты экспресс-диагностики показались ему обнадеживающими.

Почти все системы были повреждены, работали не в штатном режиме или требовали отладки, но в целом «Убийца» оценивал свою способность к эксплуатации как восьмидесятипроцентную с урезанием вспомогательного функционала на тридцать пять процентов. Гримберт ощутил горячую влагу в глазницах. Старые добрые туринские доспехи. Может, они не такие утонченные, как их миланские сородичи, уступают по вооружению венецианским машинам и вполовину не так хороши, как те, что вышли из кузниц Аахена, но по крайней мере в одном на них можно положиться. Отличаясь самопожертвованием первых христианских великомучеников, они работают до тех пор, пока

могут принести хоть какую-то пользу хозяину, за пределами всех мыслимых ресурсов и запасов прочности.

Но в первую очередь интересовал его не реактор и не торсионы.

Едва только по телу разлилось блаженное онемение нейрокоммутации, он вызвал панель управления радиостанцией — и едва не застонал от отчаянья. Все радиочастоты молчали, точно монахи-комальдолийцы, давшие пожизненный обет молчания и торжественно сжегшие в жаровнях свои языки. Лишь секундой спустя он вспомнил, вернувшись воспоминаниями в ту страшную ночь, что радиостанция «Убийцы» еще тогда вышла из строя. Смолкла, не в силах предупредить «Стража». Возможно, если повреждена одна только антенна, он сможет отремонтировать ее, чтобы послать сигнал бедствия или…

Ему не потребуется много времени, один лишь короткий радиоимпульс, который пронзит атмосферу со скоростью молнии, отправившись в сторону Турина — скупая строчка координат с его местоположением. Но эта строчка разбудит силу стократ более зловещую и опасную, чем дремлющая фугасная мина. Только бы…

Семь дней в смрадной ледяной яме научили его смирению. В достаточной мере, чтобы отчаянье, опалив ледяной вспышкой изнутри, не вырвалось криком наружу.

Радиостанция была повреждена сильнее, чем он предполагал. Куда сильнее. Кто-то вскрыл короб, в котором размещалась радиоаппаратура, действуя, судя по всему, чем-то вроде боевого топора, и безжалостно изрубил его содержимое. Генератор частоты, модулятор, усилитель мощности — все это превратилось в бесполезную текстолитовую, пластиковую и деревянную труху. Это значит…

Ему не подать сигнала в Турин. Не привлечь внимание. Не известить отца. Даже находясь в бронекапсуле из закаленной стали, он так же беспомощен, как и сидя в помойной яме с собачьим ошейником на шее. Разве что…

Испытывая искушение, которое было ведомо разве что святому Антонию, он, затаив дыхание, активировал оружейную систему.

Скверная картина, однако стократ лучше той, что он внутренне ожидал увидеть.

Боезапас не опустошен, лишь наполовину истрачен, но вот орудия…

Вот дьявол!

Одна из автоматических пушек, составлявших основную огневую мощь «Убийцы», снесена под корень, должно быть,

прямым попаданием из серпантины. Неприятно, но терпимо, ее отсутствие он заметил еще когда забирался в бронекапсулу. Другая на месте, однако падение в яму заклинило ее едва ли не намертво, сократив и так небольшой сектор стрельбы до нескольких градусов. К тому же, судя по всему, этот же удар серьезно повредил приводы наводки, сделав орудие практически бесполезным в бою.

Пулеметам тоже пришлось несладко. Их пощадили вражеские снаряды, их не вывел из строя страшный удар о землю, однако их чуть было не погубила его собственная самонадеянность. В той страшной битве, через которую прошел «Убийца», он безоглядно тратил боезапас, щедро засеивая землю вокруг себя сталью и огнем, забыв, что у пулеметов, как и всего сущего на земле по воле Господа, есть собственный — отнюдь не бесконечный — ресурс. Ожесточенная почти бесконтрольная стрельба едва не расплавила стволы, почти полностью выбрав заложенный в них запас прочности и ощутимо снизив баллистические характеристики. Возможно, выдержат еще несколько минут боя, решил Гримберт, рассматривая разноцветные россыпи тревожных пиктограмм, усеявших визор гуще, чем оспины — лицо больного, да и то на предельно короткой дистанции.

Однако самое большое разочарование ждало его впереди. Машинально проверив орудия, он услышал вместо привычных щелчков изготовившейся к бою автоматики неприятный глухой лязг. Сервоприводы, управляющие пулеметами, остались недвижимы, зато идущий неподалеку Бальдульф, пристально вглядывавшийся в снежную круговерть, вдруг остановился и повернулся в его сторону. Пусть он и был по сравнению с «Убийцей» лишь карликом из плоти и крови, взгляд его обладал достаточной силой, чтобы заставить Гримберта вздрогнуть в своей защищенной бронекапсуле.

— На вашем месте я бы не хватался за пушки, мессир. Ни к чему это.

— Я просто… Я хотел проверить.

— Стрелять вам не придется, — сухо произнес рутьер, — Нечего и проверять.

Сфокусировав сенсоры на орудиях, Гримберт обнаружил то, что должен был заметить с самого начала — но не заметил. Кто-то пробил в пулеметных кожухах аккуратные отверстия, пропустив сквозь них литые дужки амбарных замков, которые теперь покачивались под стволами на ходу точно маленькие стальные медальоны.

Черт. Автоматика заблокирована, и не какой-нибудь хитростью, а самым грубым, примитивным, но в то же время и

надежным способом. Вольфрам оказался достаточно предусмотрительным, чтобы доверить своему пленнику хоть какое-то оружие.

Дьявол, подумал Гримберт, отрешенно разглядывая показания визора. Подумать только, я снова в рыцарском доспехе, но так же беспомощен, как если бы сидел запертым в простой дубовой бочке!

* * *

— …по весне дела вроде получше пошли, снова начал мой заводик работать, пусть и не на всех порах. Ну, думаю, слава Господи. Мне бы теперь только месяц продержаться, до Благовещения, там-то у меня заказы и пойдут! Верну лошадок, верну дом, сына младшего выкуплю… Весной-то у меня дело, признаться, всегда шло. Оно и понятно, весной-то. Крестьяне потянутся, серу покупать, они для протравки семян ее замачивают, каждому по два боккале отсыплешь — уже дело. Святые отцы нет-нет, да и ртути купят, иногда, бывало, целый моджжо, колокола свои освящать. А ведь бывает горожане из Гренобля наведываются, тем я и метанол отпускал и амилазу и Бог весть что еще. Бывало, на одной только синильной кислоте сорок денье в день выручал! Да, мессир, весной заводик-то мой оживал. Запахи от него по всей округе шли, аж листва на деревьях жухла, а внутри, значит, автоклавы щелкают, центрифуги жужжат, электропечи жару дают… Ну, думаю, мне только до Благовещения дотерпеть, а там-то уж разгуляемся. Все верну, что ростовщикам заложил, когда жена заболела, и еще стократ приумножу!

Люди по-разному справляются с напряжением. Некоторых оно сковывает, точно льдом, намертво запечатывая все душевные поры и трещины, других же, напротив, делает болтливыми. Судя по всему, Бражник относился ко второй категории. Если в его языке и были кости, к исходу второго часа ожидания они рассосались без остатка. А может, так сказывалась на нем необходимость неподвижно лежать в снегу.

— Только не дошло дело до Благовещения, мессир. Тем же днем возвращаюсь с завода в контору и вижу пятерых молодцев со взведенными пистолями, копающихся у меня в сундуках. И добро бы еще разбойники, разбойниками-то в наших краях никого не удивишь. Если что, можно и откупиться. Но нет, мессир. Представьте себе, то были слуги графа Раймунда Второго. Тут я и понял, дело дрянь…

— Прикрой воздухоотвод, Бражник! — отрывисто приказала Блудница, — Следи за дорогой. Помни, если твои наводчики промажут, Вольфрам вынет из тебя душу, но мне достанется тело!

Укрывшись в плотном снегу неподалеку от них, за последние два часа она, кажется, ни разу не пошевелилась. Удивительная выдержка, свойственная больше холоднокровному хищнику, чем человеку из плоти и крови. Но Блудница, безусловно, была хищником, причем куда более опасным, чем многие свирепые разбойники из банды Вольфрама. Хищником, который подобно змее долго копит в себе яд, делаясь равнодушным и обманчиво медлительным, чтобы в решающую секунду впрыснуть его во вражеские вены. И судя по всему, миг этот был чертовски близок.

— Промажут? — Бражник разразился презрительным хохотом, — Это твой папаша промазал не раз мимо твоей мамаши, когда пытался заделать тебя. У моих серпантин я лично выверял прицел!

Блудница негромко щелкнула зубами под стальной маской шлема. Очень отчетливый и ясный звук, не несущий ничего доброго.

— В таком случае тебе стоит выверить его еще раз. Или лишишься своей любимой погремушки, в которой лежат твои сморщенные старческие яйца.

— Не лезь к моим пушкам! — буркнул Бражник, не скрывая раздражения, — Не буду я ничего заново выверять, они и так идеально стоят. Если купцы заартачатся, я дам один залп, но такой, что их дерьмо по всему лесу развеет!

Серпантины он в самом деле замаскировал весьма искусно. Расположенные на склоне, как раз напротив излучины дороги, они имели превосходный сектор огня и, если бы заговорили все разом, обрушили бы на ползущие по дороге транспорты настоящий огненный дождь. Вот только дорога, петлявшая меж холмов Сальбертранского леса, уже второй час оставалась пустой.

— Смотри, чтоб от тебя самого не полетело, — огрызнулась Блудница, демонстрируя точеные, белее снега, зубы, — Может, шпионы Вольфрама ошиблись, а? Вдруг у этих купцов с собой мортирка или даже две?..

Едва ли Орлеанскую Блудницу заботила судьба пушкарей. Ее собственный отряд тяжелой пехоты притаился в густом кустарнике немногим ниже по склону. Среди них едва ли были мастера маскировки, но Гримберт не сомневался, что стоит ей подать условленный сигнал, как они сделают все, что от них требуется — обрушатся вниз на дорогу подобно тяжелому лезвию палаческого топора, рассекая купеческую оборону на разрозненные куски подобно тому, как топор рассекает позвонки

своей жертвы.

Отряд Виконта расположился на противоположном склоне, по другую сторону дороги. У этих не было ни артиллерии, ни тяжелых доспехов, зато было то, что на протяжении многих веков делает легкую пехоту одним из важнейших звеньев всякой военной машины — стремительность и гибкость. Гримберт не знал, какие инструкции отдал им Вольфрам Благочестивый, но сомневался в том, что они останутся безучастными зрителями в том спектакле, что должен был разыграться с минуты на минуту. Скорее всего, они должны были отвлечь охрану каравана ложным наступлением с противоположной стороны, открывая фланг для воинства Блудницы или внести сумятицу рядом разнонаправленных ударов или…

Ни к чему гадать, решил он, едва ли лесные разбойники штудировали те же труды по тактике, что когда-то постигали они с Аривальдом.

Единственным, кто не искал укрытия, был Олеандр Бесконечный. В обществе дюжины рутьеров он расположился прямо посреди дороги, в том месте, где она делала изгиб. У них даже была пара кулеврин, которые они тоже не спешили забросать снегом, напротив, с демонстративной небрежностью выставили прямо на обочине.

Демонстративный заслон, понял Гримберт. Ложная мишень. Фальшивка. Рутьеры Олеандра не станут принимать деятельное участие в схватке, лишь сыграют роль преграды, которая заставит караван остановиться, сделавшись легкой мишенью для Гиен и их ждущей своего часа артиллерии.

Не было видно лишь Бальдульфа с ведомой им стаей профессиональных забойщиков. Те отделились еще на подходе и так ловко растворились в снегу, что даже чуткие сенсоры «Убийцы» не могли отыскать их следов. Учитывая дьявольское коварство плана, скорее всего, расположились в резерве, готовые по сигналу Вольфрама прийти на помощь в нужном направлении — там, где пригодятся более всего.

— …схватили они меня за шкирку и потащили, — Бражник потер озябшие руки, которые держал поверх тщательно выверенной кремальеры прицела, — К самому графу Раймунду Второму, понятно. А тот и ждет меня, будто гостя дорогого. В кресло усаживает, вина собственноручно наливает. Много недоброго могу про великосветских господ сказать, это уж как Бог свят, но одного у них не отнять — дела вести умеют. Обходительно все, на благородный манер. Присядьте, угощайтесь, умейте великодушие выслушать и такое вот всякое… Это тебе не чернь, что рыбой на базаре торгует. Что ни говори, а приятно с

такими господами дело вести. Как будто и сам в такие моменты благородней как-то делаешься, что ни говори…

Гримберт вновь навел сенсоры «Убийцы» на тянущуюся под склонами дорогу. За последние два часа он делал это так часто, что, кажется, успел выучить наизусть каждый ее фут. Что там, каждый дюйм. Безжизненная, неподвижная, больше угадываемая под снегом, чем видимая, она напоминала дохлую змею, свернувшуюся между холмов. В любой момент это могло измениться. И тогда…

Я могу сбежать, подумал Гримберт. В тот миг, когда рутьеры обрушат огонь на ползущий внизу караван, они будут слишком заняты, чтобы вовремя заметить перемены в тактической обстановке и исчезновение «Убийцы». Не говоря уже о том, чтобы быстро перенести огонь на новую цель и поразить ее. Их замешательство даст ему по меньшей мере минуту, а может, если повезет, и три-четыре.

Этого времени хватит «Убийце», чтобы броситься на всех оборотах прочь, давя лапами зазевавшихся, не успевших убраться подальше рутьеров. Может, парочка успеет пальнуть ему в спину, но… Кремальеры серпантин требуют филигранной наводки и почти бесполезны, если речь не идет о заранее пристрелянных ориентирах. Типичное оружие разбойников, превосходное в своем роде, но лишь против неподготовленного к столкновению противника. Гримберт готов был побиться об заклад, что успеет увести «Убийцу» из сектора их огня без серьезных повреждений. Но…

Аривальд.

Аривальд остался в лагере. Беспомощный, раненый, не способный позаботиться о себе.

Там же, в лагере, осталось по меньшей мере полдюжины рутьеров. Никчемная сила по военным меркам, однако и ее хватит с запасом против безоружного рыцарского доспеха.

— Да, очень обходительный господин этот граф Раймунд, — Бражник подышал в кулак, чтоб согреть пальцы, — Наливает мне дорогого вина, а сам, значит, открывает гроссбух специальный и вкрадчиво меня этак спрашивает «А ведь с вас, господин Ремигий, как будто что-то еще причитается?» Тут у меня печеночка и екнула, мессир. Дал бы он мне еще месяц срока, я бы все ему уплатил, но разве ж с графом Раймундом спорят? Он, говорят, своего слугу как-то раз живьем в камине сжег, когда тот позволил угольку выскочить и его сиятельство обжечь. «Да, — говорю, — Задолжал я немного, но сделайте уж Божескую милость, отсрочьте, а я…»

Спрятать «Убийцу» было тяжелее всего. Здесь, на поросшем

редким ельником склоне даже крупный валун был хорошо заметен со стороны, рутьерам пришлось потратить прилично времени, чтобы замаскировать его ветвями и снегом. Зато теперь Гримберт находился в куда более выигрышном положении, чем «Гиены». По крайней мере, он был в тепле. Вот только настроения его это не улучшало, душе было зябко, мокро и холодно, точно ее саму сунули в снег.

Многих раубриттеров корят за то, что те используют рыцарское оружие позорным для честного христианина образом, понукаемые к тому алчностью и неразборчивостью, многих даже клянут прилюдно разбойниками, вот только далеко не все из них опускаются до всамделишных разбойных набегов.

Он же сделался разбойником по доброй воле, причем разбойником в самом изначальном и полном смысле этого жуткого слова.

Раубриттер. Рыцарь-разбойник.

Предатель христианской веры и всех мыслимых рыцарских добродетелей.

Если об этом узнает отец… Гримберт ощутил, как в его желудке ворочается ледяной ком из смерзшегося снега. Если об этом узнает хоть одна живая душа в Турине, все кончено. Можно раскаяться, можно пройти сквозь самую суровую епитимью, можно принести самые строгие обеты, это уже не поможет. До конца дней в него будут украдкой тыкать пальцами, видит он это или нет.

Сын маркграфа Туринского, сделавшийся разбойником в двенадцать лет.

Плевать, что об этом знает Вольфрам Благочестивый и его дрянное войско. Может, они и именуют себя Гиенами, но по своей природе всего лишь крысы, а крысам редко уготована долгая жизнь. Едва ли кто-то из них проживет более года. Кто замерзнет этой же зимой, кого перевешают стражники, прочие же перегрызут друг другу глотки из-за добычи или немногим позже — от передозировки непривычными зельями, в уличных драках, в бессмысленных войнах, в нелепых стычках и случайных конфликтах…

Рутьерский отряд «Смиренные Гиены» канет в Лету, как и многие сотни прочих банд, сгинет без следа, не удостоившись даже упоминания в летописях или записях церковного информатория. Все его наследие уйдет вслед за ним. И даже если последний ублюдок из числа тех, что сейчас нетерпеливо ерзает в снегу, вдруг вспомнит, переминаясь у подножья эшафота, о том, что в разбойничьем налете им помогал рыцарь, едва ли хоть одна живая душа примет это всерьез.

Из-за охранников каравана тоже можно не беспокоиться. Стараниями рутьеров «Убийца» обрел столь непривычный облик, что никто не узнает в этом чудовище «Предрассветного Убийцу», про которого в Турине отпускают немало шуточек.

И уж конечно он не станет рассказывать об этом Аривальду, даже когда они оба выберутся из Сальбертранского леса. Даже Вальдо не может знать истинную правду о том, какой ценой ему пришлось купить их жизни и свободу. Он что-нибудь придумает на этот счет. Не сейчас — позже. Когда возьмет курс на Турин.

А вот с доспехом придется расстаться. Тут ничего не поделаешь. Он не может позволить, чтоб кто-то в Турине увидел его в подобном виде или, тем паче, получил доступ ко внутренним протоколам, фиксирующим события. «Убийце» придется исчезнуть без следа. Тяжелое, но оправданное решение. Он схоронит его в каком-нибудь глубоком овраге, после чего испепелит лайтером приборную панель и все содержимое бронекапсулы. Магнебоду придется сказать, будто бросил сломанный доспех в лесу, где-то в глухой чаще.

Извини, «Убийца» — Гримберт мысленно прикоснулся к терпеливо рокочущему реактору своего доспеха — Ты был мне верным слугой, ты принял бой, защищая меня, но позволить тебе вернуться я не могу. Тебе придется погибнуть, спасая честь своего никчемного хозяина…

Что ж, может, это и к лучшему. После подобного отцу придется раскошелиться наконец на пристойный доспех, и это уже будет не учебная машина, а самая настоящая, с трехдюймовыми орудиями, активной броней, мощным радаром и…

Бражник заерзал в своем укрытии, продолжая свою никчемную историю, про которую Гримберт уже успел забыть.

— А граф пальчиком себе по бумаге водит. «Да, любезный, — говорит, — Запустили вы свое дело-то. С февраля мне причиталось получить с вас тридцать сетье аммиака. Да, я понимаю, жена ваша хворала, податью обложили, да только ведь и в мое положение войдите, я до самой весны ждал!» Мигает своим молодцам, я и пикнуть не успел, как меня с ног сбили и к столу прикрутили. Рыдаю, о пощаде его молю, но куда там. «Так-с, — говорит он, а сам ободряюще мне кивает, мол, не сердись, старик, сам понимаешь, — За аммиак я согласен принять в уплату вашу поджелудочную. Не то, чтоб от нее был толк, однако она пригодится мне для опытов. Да вы не переживайте, господин Ремигий, не бледнейте. В вашем ли положении жадничать? Вы и не заметите ее нестачи, небось. Так-с… Вот, я вижу, в прошлом году вы на три недели с нитридами задержались. Тогда я не стал

применять санкций, но теперь я вижу, что человек вы ненадежный и слову вашему верить нельзя. Ну, это будет стоить вам одного легкого. Помилуйте! А не вы ли полгода назад отгрузили мне пять ливров галогенированного бифенила вместо диоксина? Значит, вы? Ну, будет вам убиваться, господин Ремигий, тем более, что я охотно прощу вам эту ошибку за… скажем, за вашу щитовидную железу. А вот что станет вам подороже, так это оскорбление моего доброго имени, каковое вы допустили третьего дня, когда отказались в трактире выпить за мое здоровье… Не переживайте, у меня тут все записано. Думаю, мы сможем разрешить все наши разногласия к нашему обоюдному удовлетворению, тем более, что у вас весьма много активов…»

Гримберт хотел было шикнуть на него, но не стал. Из всех средств общения с внешним миром у него остались лишь динамики «Убийцы». Не способные к шепоту, они могли произвести больше шума, чем было необходимо. Если Вольфрам, где бы он сейчас ни прятался, узнает, что спугнутые купцы, не дойдя туаза до места засады, задали стрекоча, быть беде — и для него и для Аривальда…

— Что бы ни говорили про графа Раймунда, а только работать своими руками он не боится, — Бражник подышал на бутылочку, внутри которой колыхалось что-то вроде подгнившего съежившегося яблока, возможно, его почка, — Сам же долг и взыскал. Нож для бумаг взял — и готово, чик-чик…

— Он мог бы прихватить и твой язык, — пробормотала Блудница, ее глаза в прорези шлема сердито сверкнули, — Большое упущение с его стороны.

Бражник был слишком увлечен своим рассказом, чтобы отвлекаться на перебранку.

— Думал, мессир, прямо там кровью и истеку. Но тут старший сын со слугами мне на выручку поспели. По горячим следам пришли, значит, жаль, что не часом раньше. Выломали дверь и, прежде чем графские слуги опомнились, живо их перебили. А самого графа в бочку с бромоводородной кислотой запихнули. Ну он и бился там, ну и ревел… Только я уже не слушал. Добро свое, по скляночкам разложенное, в охапку схватил — и бежать. Той же ночью мы с сыном завод подожгли, а сами выбрались из города и на юг припустили. Подальше от графских расчетов, пока нам обоим еще какую пеню не накинули. Решили в рутьерское ремесло податься, раз уж так сложилось. Примкнули сперва к «Разнузданным Вертопрахам», потом к «Шкуродерам», но тех в двадцать шестом году под нож пустили во времена Танца Слепых. Сынка моего рыцарь какой-то франкский раздавил, причем свой же, по случайности, а я, значит, выжил.

Переметнулся к «Ревнителям Чести», с ними маленько пожил, пока местечко в «Шаперони» не подвернулось, ну и…

— Заткнись, — процедила Блудница, — Бальдульф знак подает. Едут.

* * *

Караван двигался неспешно, но сосредоточено, точно меланхоличная гусеница, ползущая по ветке. Вынырнув из-за холма, он стал увеличиваться в размерах и увеличивался до тех пор, пока сенсоры «Убийцы» не могли в деталях разглядеть его, расчленив эту гусеницу на отдельные составляющие.

Не самый большой караван из виденных им, даже, пожалуй, небольшой. В Турине ему приходилось видеть настоящие караваны, состоящие из сотен тяжело нагруженных грузовых платформ и трициклов. Когда они шли по улицам, окрестные дома дребезжали, точно трухлявые зубы во рту у нищего, а брусчатка лопалась под гусеницами. Но этот…

— Шесть вагонов, — сообщила Орлеанская Блудница, сделавшаяся еще более скованной и неподвижной, — И здоровенные, мать твою…

Гримберт и сам это отлично видел, пусть и не своими глазами, а зоркими сенсорами «Убийцы». Тащил всю вереницу тяжелый грузовой тягач-трицикл, огромный и неповоротливый, точно вылезшее из нефтяного озера доисторическое чудище, отрыгивающее дымом из бесчисленного множества выпирающих по бокам труб. Сотни квинталов старой дребезжащей стали, прущей сквозь снег с такой уверенностью, будто даже сами величественные и смертоносные Альбы, состоящие из сплошного гранита, не могли послужить для нее препятствием.

Вагоны и верно были велики, непривычного для Гримберта типа. Тяжелые, грузные, похожие на исполинские стальные коробки, водруженные на колеса, они не несли на своих боках никаких характерных, знакомых ему, черт. Ни окон, ни вентиляционных отверстий, бойниц, ни резных панелей, ни даже выписанных краской номеров. Словом, ничего того, что несли обычно на себе самоходные контейнеры, отправлявшиеся с караванами из Турина во все стороны света. Если они на что и походили, так это на раздувшиеся, выкрашенные в невыразительные серый цвет, цистерны.

Тяжелые, определил Гримберт. Едва ли потому, что сделаны из броневой стали, скорее, просто набиты под завязку. Даже на расстоянии он ощущал грузную тяжесть этих влекомых тягачом

туш, кажущихся безмятежными тучными тельцами, идущими за пастухом, как ощущал и чудовищное напряжение их осей. Что бы ни вез этот караван, Вольфрам Благочестивый сделал свою ставку как нельзя удачно, его «Гиен» ожидала богатая добыча.

— Серебро… — прошептал Бражник, вцепившийся в свою серпантину так, что едва не сбил прицел, — Побей меня Бог, Блудница, если там не серебро с Лаврийских рудников! Про него давненько слухи ходят. Купцы из Венеции тайно скупают его на юге и переправляют украдкой в Тулон, чтобы там переплавить и снабдить фальшивыми клеймами, а потом через подставные векселя выкупают обратно и…

Блудница презрительно фыркнула, не дослушав его.

— Караван, набитый серебром? Держи карман шире!

— А что тогда?

— Пушечные ядра и порох, например. В Кантабрии, судя по всему, назревает знатная пирушка, очень уж долго тамошние бароны трепали друг другу перья. Не удивлюсь, если сейчас они вопреки Папским буллам тайно стаскивают туда оружие со всех уголков империи. Как говорится, удачлив тот хозяин, который готовит кушанья заблаговременно.

Бражник беспокойно повел плечами.

— Оружие?

— Вполне вероятно. Но не переживай, — Он не видел лица Блудницы, но, судя по злому блеску глаз, она одарила слушателей ухмылкой, — Даже если эти крынки набиты одним лишь порохом, здесь этого добра столько, что каждый из нас к завтрашнему дню сам сделается бароном.

Это определенно утешило Бражника, но ненадолго.

— Вижу охрану, — сообщил он, тронув кремальеру прицела так осторожно, будто та могла рассыпаться под пальцами, — Два фургона на конной тяге. И тоже не налегке идут. Чтоб меня сам Сатана кипящей мочой обоссал, ежли там внутри не тяжелая пехота. А может у них там мортирки трехдюймовые, вроде тех, что венецианские мастера делают. Небольшие совсем, с осла размером, а пальбу учиняют такую, что сотню человек враз угостить можно. Как бы не вляпаться, а? Вспомни, как в прошлом году «Свинцовые Фурии» под Валансом караван брали. Тоже небольшой, в пару вагонов. Остановили по науке, голову окружили, уже мошны готовили, чтоб деньги грузить, а тут…

Блудница пожала плечами. С учетом того, сколько стали приходилось на каждое из них, даже это простое движение должно было требовать определенных сил.

— «Свинцовые Фурии» никогда не отличались умом.

— Умом, может, и нет, но силы у них хватало, — проворчал

Бражник, — Две сотни человек в отряде. И все полегли в чистом поле как миленькие. Вагоны, которые они окружили, были набиты не персидским шелком, как они ожидали, а солдатами из Второй Алой Конфланской Сотни, возвращавшимися с Поганой Кадрили и пребывавшими не в самом добром расположении духа. Тебе напомнить, что они сотворили с «Фуриями»? Уцелевших солдаты положили на дорогу, вперемешку с мертвыми, и раздавили вагонами. Киселя вышло столько, что хватило бы на целое графство!

— У «Фурий» не было Вольфрама Благочестивого.

— Вольфрам хитер, — вынужден был признать Бражник, рефлекторно ощупывая флягу, в которой, окруженная мутным раствором, плавала его разбухшая багровая печень, — Хитер, как тридцать иудеев. Беда в том, что все мы хитры, но головой, а не шеей.

— Что это значит?

Бражник скупо усмехнулся. На его бугристом лице даже улыбка походила на распахнутую рану, которая уже перестала кровоточить. Рану, оставшуюся на месте изъятия очередного его органа.

— Как бы ни хитрила твоя шея, палаческий топор ей не обхитрить, вот что.

— Заткнись и прикажи своим стрелкам зажечь запальные шнуры.

— Они сделали это еще минуту назад.

* * *

Гримберт не вслушивался в их перепалку. Он напряженно наблюдал за приближающимся караваном, который, несмотря на свою небольшую скорость, очень уж стремительно превращался из скопления невесомых серых черточек в вереницу объектов, наделенных зримыми физическими свойствами. Он уже слышал тяжелое пыхтение тягача, похожий на сердитые вопли чаек скрип вагонных сцепок, и еще множество звуков, которые издавал приближающийся караван, это прущее сквозь снег исполинское чудовище, способное, пожалуй, раздавить всадника на полном ходу или упряжку волов — и даже не заметить этого.

Но разглядывал он не фургоны охраны, катящиеся перед тягачом, а сами вагоны. Тяжелые, скрежещущие осями, набитые неведомым грузом, они выглядели безликими, и Гримберт с опозданием понял, отчего. На них не было ни флагов, ни гербов, ни прочих обозначений, которые обыкновенно наносятся на

транспортные средства с целью уведомить окружающих о том, кто является собственником груза, а заодно убавить их интерес к нему.

Ни обозначений, ни символов, ни даже трафаретных цифр на стальных боках, похожих на следы коровьего клейма. Совсем ничего. Кто бы ни собирал этот караван в путь, подумал Гримберт, он явно не желал привлекать к нему лишнего внимания. Быть может, оттого и шел через глухую дорогу Сальбертранского леса вместо того, чтобы воспользоваться многочисленными торговыми трактами, которые Туринская марка готова была предоставить любому торговцу за весьма скромную по меркам империи мзду.

Может, груз принадлежит святошам? Гримберт знал, что у Святого Престола всегда были свои интересы в светских делах, интересы, о которых святые отцы не торопились объявлять с амвона. Если груз в странных вагонах, из чего бы он ни состоял, принадлежит им… Черт побери, подумал он, ощущая тревожный звон в груди, если так, гиены Вольфрама еще настойчивее ищут неприятностей, чем неизвестные ему «Свинцовые Фурии». Святой Престол известен тем, что безжалостно карает нарушителей заповеди «Не укради», однако только те, кто дерзнул поднять руку на его личную собственность, имеют возможность осознать всю глубину своего греха. Но, как правило, уже не имеют возможности выразить свое раскаянье криком.

Дьявол.

Даже если вагоны набиты никчемным хламом вроде свечных огарков, нестираных ряс и древних колоколов, Святой Престол, узнав о покушении на его собственность, поднимет такую тревогу, словно речь идет о вторжении сарацин в священные стены Иерусалима. В считанные дни Сальбертранский лес окажется наводнен полчищами монахов-рыцарей, рыщущими по округе, и даже воля маркграфа Туринского уже не станет для них препоной. Воля Господа экстерриториальна и не знает ни границ, ни сеньорских запретов — превратят все вокруг в россыпи тлеющей щепы, но разбойников отыщут и отдадут под церковный суд. И добро еще, если просто выжгут мозг, превратив в сервусов, а не придумают чего похуже…

Нет, подумал Гримберт, испытав мимолетное облегчение, кажется не святоши. Те обязательно украсили бы вагоны если не символом своего Ордена, то хотя бы благочестивыми крестами или отрывками из молитв, оберегающими груз в пути. Однако бока вагонов были девственно чисты, если не считать редких пятен ржавчины.

— Опий… — пробормотал Бражник в сладком забытьи,

блаженно щурясь, — Только представь, Блудница, бочки с двенадцатипроцентным раствором персидского опия. И весь чистейший, как слеза святого, и такого сладкого, что лучший мед после него вроде ржаной каши…

Орлеанская Блудница не удостоила его даже взглядом.

— Заткнись, — бросила она, — Что, не видишь, уже начинается!

* * *

Караван достиг поворота и снизил скорость, но миновать его не успел.

Сразу несколько деревьев, росших в паре десятков туазов по ходу движения каравана едва заметно вздрогнули и стали стремительно клониться к земле, беззвучно сбрасывая с веток комья снега. Не было ни сигналов к атаке, ни трубных звуков горна, ни осветительных ракет, взметнувшихся над заснеженными кронами. Ремесло «Смиренных Гиен» не располагало к лишнему шуму.

Должно быть, рутьеры под предводительством Олеандра заблаговременно подпилили деревья, решил Гримберт, и вбив в них клинья, терпеливо выжидали нужного момента, чтоб обрушить их поперек дороги. Все было разыграно удивительно точно, со слаженностью оркестра Туринской капеллы, в котором каждый инструмент, ведомый волей дирижера, безошибочно знает, где и как вступить.

Трицикл-тягач лишь казался грозным и способным крушить скалы, он не был боевой машиной и Гримберт даже ощутил к нему подобие сочувствия. Он был вьючным животным, безропотным, упорным и выносливым, как полагается всякой скотине, не рассчитанным на схватку и не спроектированным для нее. Несчастная жертва независящих от него обстоятельств.

Едва только деревья накренились над дорогой, тягач натужно заскрипел барабанными тормозами, силясь преодолеть чудовищную, тянущую его вперед, силу инерции. Вагоны, влекомые этой же силой, беспокойно задребезжали сцепками, оставляя за собой в снегу рваную колею.

Ловушка захлопнулась, понял Гримберт. Без лязга и грохота, но так основательно, словно путь каравану преградили крепостные ворота.

Кто бы ни снаряжал караван, он был достаточно щедр, чтобы обеспечить ему достойную охрану. Гримберт не услышал ни испуганных криков, ни возгласов, которые могли бы

свидетельствовать о панике. Не успел стихнуть треск дерева, как из остановившихся фургонов высыпали на снег человеческие фигуры, кажущиеся на фоне вагонов муравьями. Только двигались они не как муравьи, по беспорядочным траекториям, а весьма собрано и дисциплинированно, мгновенно образовав две симметричные шеренги перед тягачом. Значит, внутренне были готовы к чему-то подобному и даже не растерялись.

— Ишь, прыткие как голодные блохи, — протянул недовольным тоном Бражник, тоже, должно быть, отметивший выдержку противника, — Ох, угостил бы вас сейчас свинцом, только пух полетел бы…

— Это не корсы, — вдруг отрывисто произнесла Блудница.

— Чегось?

— Не корсы. Построение совершенно не типичное для варваров, очень уж ловко рассредоточились. Кроме того, корсы обычно ходят в кольчугах, а эти… Что за черт? Как будто рясы какие-то напялили…

Гримберт был вынужден максимально приблизить изображение, и вынужден был заметить, что у Орлеанской Блудницы чертовски острый взгляд. Из кого бы ни состояла охрана загадочного каравана, она не отягощала себя доспехами, все были облачены в глухие рясы некрашеной шерсти. Может, под ними скрываются панцири и кольчуги? Не похоже, прикинул он, очень уж легко двигаются охранники, совсем не так, как двигаются люди в доспехах.

А еще они были безоружны. Ни страшных пик, которыми пугал Вольфрам, ни переносных мортирок, ни даже обычных аркебуз. Может, держат в рукавах ножи? Курам на смех…

Бражник беспокойно засопел, щуря глаза.

— Уж не святоши ли?

И заслужил презрительный смешок Орлеанской Блудницы.

— Чтобы святоши — и охраняли караван? В своем ли ты уме? Что он, по-твоему везет, святые дары? Тихо ты. Ждем сигнала.

Гримберт ожидал, что из обрамлявшей дорогу чащи навстречу охранникам каравана ударит слаженный залп аркебуз, легко раскидав их ломанной шеренгой по снегу, точно игрушечных солдатиков. Но вместо этого произошло нечто куда более странное. Отделившись от деревьев, в сторону остановившегося каравана двинулись разрозненные фигурки в маскировочных одеяниях, в которых Гримберт безошибочно узнал засадный отряд «Гиен». Возглавлял их высокий узкоплечий рутьер, двигавшийся так легко и изящно сквозь глубокий снег, будто ступал не по снежному покрову, а по твердому камню. Гримберт узнал бы его даже если бы тот не опирался небрежно на

люцернский молот.

Олеандр Бесконечный. Молчаливый воин Вольфрама Благочестивого.

— Чего он хочет? — спросил Гримберт через динамики «Убийцы», предельно понизив уровень громкости, — Почему не стреляет? У вас преимущество внезапности, вы могли бы скосить их, прежде чем…

Орлеанская Блудница фыркнула. От взгляда, которым она мазнула по «Убийце», Гримберт отчего-то ощутил тревожную щекотку где-то глубоко в животе, хотя ничего особенного этот взгляд не выражал, только холодное презрение.

— А вы хотели, чтоб мы расстреляли их еще на подходе? Мы рутьеры, а не разбойники, мессир. И мы чтим императорские законы.

Из груди Гримберта едва не вырвался нервный смешок, который микрофоны «Убийцы» не замедлили бы превратить в громкий рык. Чтят законы? С тем же успехом сам Сатана мог бы убедить Папу Римского в том, что соблюдает Великий Пост! Сущая нелепица, но…

— Вольфрам никогда не действует оружием там, где можно действовать хитростью, — Блудница, забыв про «Убийцу», повернула шлем в сторону замершего каравана и рассыпанных по снегу фигур, — Он в первую очередь делец, а не разбойник.

— Значит, вы остановили караван не для того, чтобы выпотрошить его груз? — не сдержался Гримберт.

И чуть не прикусил язык, когда Блудница кивнула с самым непринужденным видом.

— Так и есть. Сейчас Олеандр от лица Вольфрама Благочестивого делает охранникам этих вагонов весьма щедрое предложение.

— Мы никогда не нападаем из засады, — вставил Бражник, — Мы вам не дикари не дикие звери!

— Верно. Почти никогда. Чаще всего мы лишь делаем предложение. Эти господа в рясах имели неосторожность заключить с хозяевами каравана договор охраны. Детали его нам неизвестны, но и не требуются. Дело в том, что этот договор, как полагает господин Вольфрам, нарушает его собственные права и права третьих лиц, посему он должен быть незамедлительно расторгнут.

— Какой-то…

— Вздор? — Гримберт готов был поклясться, что Орлеанская Блудница улыбнулась под шлемом, — Возможно. Но здесь, в Сальбертранском лесу, не так-то много толковых законников. А господин Олеандр может быть достаточно красноречив, когда

того требуют обстоятельства.

— Но ведь он же…

— Нем, — согласилась рутьерка, — Да, как рыба. Но я не помню случаев, чтоб это мешало ему вести дипломатическую деятельность. Вот и сейчас он делает охране крайне любопытное предложение. Сознавая, что разрыв договора причинит сторонам определенные неудобства, господин Вольфрам Благочестивый как добрый христианин согласен частично оплатить охранникам недополученную выгоду и, в придачу, понесенный ими репутационный ущерб.

Тяжеловесными словами из лексикона имперских законников и дельцов Орлеанская Блудница жонглировала легко, точно мальчишки орехами на ярмарке. Но сейчас Гримберт не обратил на это внимания, он был поглощен другими мыслями.

— Он… он заплатит им?

— Да. Чистым серебром, по паре монет каждому. Не очень богатая плата, но в придачу он гарантирует каждому из них жизнь, а это уже щедрое предложение, над которым стоит подумать. И если в головах у этих недотеп осталось что-то кроме сифилисных язв, они примут его тотчас же.

— Я понимаю, — медленно произнес Гримберт, — Вы попросту запугиваете их, заставляя бросить караван, который они обязались охранять. А монеты и разговоры про расторжение договоров и чьи-то ущемленные права — попросту оправдание для их совести за брошенный груз.

Чуткие микрофоны «Убийцы» позволили ему расслышать тот звук, который нипочем бы не уловили несовершенные человеческие уши. Короткий смешок Орлеанской Блудницы.

— Смотрите на дорогу, мессир. Прямо сейчас Олеандр Бесконечный сделает еще одно предложение — на этот раз хозяину каравана. Так как охрана разбежалась, нарушив свои обязательства и бросив на произвол судьбы караван, господин Вольфрам Благочестивый считает себя обязанным предложить свою помощь.

— Как добрый христианин… — пробормотал Гримберт.

— Как добрый христианин, — согласилась Блудница, — Но кто сказал, что из-за этого он должен сам терпеть ущерб или приносить жертву на алтарь чужой алчности? «Смиренные Гиены» при всех своих достоинствах не меценаты и не святые. Допустим, мы согласны будем принять на себя хлопоты о его благополучии за… скажем, половину того груза, что он везет. Или даже три четверти.

— Но это разбой, как его ни называть.

— Это арифметика, мессир, — рутьерка негромко клацнула

зубами, — Оставь ее тем, кто разбирается в цифрах.

— Хватит трепать языком, вы оба! — буркнул Бражник, подув на тлеющий между пальцев запальный шнур, — Рутьеры, честь… Мы все равно их убьем, так ведь? Только не сейчас, когда они напряжены и помышляют о сопротивлении. А позже, когда они отправятся прочь, посреди леса. Вольфрам не отпускает свидетелей. Нету у него такого обычая.

Верно, подумал Гримберт. Иначе он не преодолевал бы с такой легкостью границ. Иначе не оставался бы призраком, ускользающим между сеньорскими пальцами и чувствующим себя вполне вольготно на чужой земле.

Вот почему он не отправил в Турин требования о выкупе. Ему не нужен был выкуп.

Другое дело — рыцарь, которого обманом и угрозами можно выполнить часть грязной работы. Чтобы потом…

Чтобы потом…

Гримберт ощутил колючий озноб между лопатками.

Вальдо, подумал он, ну почему тебя нет здесь, хитрый мерзавец? Сейчас мне как никогда пригодился бы твой чертов непрошенный совет…

На миг ему показалось, будто он видит Аривальда. Будто тот сидит сбоку, невесть каким образом пробравшись в тесную бронекапсулу, и ухмыляется, наблюдая за ним. Уже готовя очередную свою острую шуточку.

Иллюзия была столь сильна, что Гримберт резко повернул голову, но, конечно, ничего не увидел, разве что только расплывающиеся на периферии зрения лиловые пятна — верный признак затянувшейся нейро-коммутации и упадка сил.

Аривальда здесь нет. Он далеко отсюда, в походном лагере, лежит в шатре, ожидая помощи. Благодарение Богу, он никогда не узнает, что здесь произошло, потому что если бы узнал… Скрипнув зубами, Гримберт повернул голову «Убийцы» по направлению к замершему каравану. Вот о чем сейчас стоит думать. Об этом и только об этом. Все остальное смести прочь, как лишние фигуры с шахматной доски.

— Дрянь дело, — буркнул Бражник, — Кажется, охранники не спешат разворачиваться.

Орлеанская Блудница проверила висящие на перевязи пистоли. С таким видом, с каким проверяют привычный инструмент, проверяя, готов ли он к работе, а не оправляют украшения.

— Они или слишком упрямы или слишком глупы, чтобы понять свою выгоду.

— Не беспокойся, мои пушки живо обучат их

арифметической науке, раз уж одних монет недостаточно…

Охранники в самом деле не спешили принимать предложение Вольфрама Благочестивого. Кажется, они даже не переменили поз за все время переговоров. Неподвижно стояли, опустив головы в капюшонах, как будто бы внимательно вслушиваясь. Тянули время? Дожидались более щедрого предложения?..

«Уходите, — мысленно попросил их Гримберт, представив, будто мысль его беззвучным радиосигналом передается им в головы, — Ради всего святого, разворачивайтесь, сколько бы вам ни предложили, и уходите восвояси!»

Но охранники каравана, кажется, не обладали мысленными приемниками, настроенными на нужную частоту. Медлили, не выказывая ни нетерпения, ни злости. Без интереса глядели в снег, невесть о чем думая. Должно быть чертовски непросто торговаться с такими…

— Должно быть, набивают себе цену… — пробормотала Блудница сквозь зубы, — И определенно слишком затягивают с этим. Терпения у Олеандра больше, чем у иного ледника, но на их месте я бы не стала испытывать его… Ах, черт! Бальдульф подает знак. Ваш выход, мессир.

Гримберт стиснул зубы. Точно это могло отсрочить неизбежное.

— Они еще могут договориться… — пробормотал он, ощущая себя жалко и неуверенно, — Мне кажется, дело пошло на нужный лад.

— Вперед, мессир, — приказала Орлеанская Блудница, голосом холодным как сталь ее доспеха, — Спускайтесь вниз и наведите на них страху. Покрутите пулеметами, потопайте ногами, поревите сиренами, плевать. Заставьте эту жестянку выглядеть грозно. Ради вашего же блага.

* * *

Напугать человека, управляя боевой машиной весом в четыреста квинталов, не так уж сложно. Гримберту не раз случалось наблюдать, с какой прытью отскакивают в сторону оказавшиеся на пути «Убийцы» люди. Даже с зачехленными орудиями рыцарский доспех легкого класса в силах нагнать страху на роту тяжелой пехоты. А уж если выныривает из-под снега и грозно движется навстречу, рыча трансмиссией на полных оборотах и скрежеща сочленениями…

Сбросив в себя маскировочное полотнище и выпрямившись во весь рост, на миг он ощутил себя единственным ферзем на

шахматной доске. Но только лишь на миг.

Охранники каравана не хлынули врассыпную, как он надеялся, однако развернулись в его сторону, полностью утратив интерес к Олеандру и прочим рутьерам. Из-за низко надвинутых капюшонов Гримберт не видел их лиц, однако был уверен в том, что сумел произвести достаточно грозное впечатление. На всякий случай он издал пару отрывистых гудков, от которых, будь он в Турине, уже зазвенели бы оконные стекла, да эффектно крутанул пулеметами из стороны в сторону. Вольфрам Благочестивый был бы доволен.

Сейчас, в своем новом облачении, он должен был выглядеть как исчадие ада. Бронированное чудовище, голодное и рычащее, способное растерзать беззащитных людей, точно мелкую мошку. Никто из охранников не знал и не мог знать, что все это лишь иллюзия, что грозный рыцарь, стремительно спускающийся по склону, представляет собой не большую опасность, чем змея с вырванными зубами или пушка, сделанная из глины.

«Бегите, — мысленно попросил их Гримберт, издав еще несколько оглушительных гудков, — Бегите, чтоб вас!»

Ну не давить же этих остолопов ногами, в самом деле…

Он остановил «Убийцу» в паре десятков шагов от каравана. Не потому, что это была наиболее удобная дистанция для того, чтоб впечатлить несчастных, а потому, что боялся ненароком наступить на кого-то из них.

— Не самое эффектное явление, мессир. Но сойдет для подмостков любительского театра.

Это был Виконт Кархародон. Гримберт даже не успел заметить, откуда тот возник, выскочил, точно чертик из табакерки. Должно быть, его послал Бальдульф, наблюдающий за происходящим из укрытия, видя, что Олеандр не справляется с возложенной на него ролью переговорщика и желая усилить позиции.

— Я…

— Заткнитесь, — уголком рта отчетливо произнес Виконт, прикрыв рот изящным шелковым платком, — Не вздумайте болтать, иначе разрушите и то впечатление, что успели произвести. Лучше рыкните еще пару раз двигателем.

Гримберт рыкнул, но, кажется, без всякого эффекта. Охранники каравана явственно напряглись под своими плащами, но ни единым движением не выдали испуга. Словно каждый день их каравану преграждал путь рыцарь в полном боевом облачении.

Виконт усмехнулся.

— Все в порядке, — шепнул он, — Наши новые друзья, кажется, вознамерились продемонстрировать свою выдержку, но

если они думают, что получат за это больше тройного денье, то здорово ошибаются. Стойте здесь и водите пулеметами из стороны в сторону, делайте вид, будто прикрываете меня.

Оставив «Убийцу» позади, он приблизился к охранникам с благодушной улыбкой на лице, улыбкой, которую не портил даже обнаженный эсток[33] в его руке, которым он непринужденно чертил след за спиной. Ни дать, ни взять, уполномоченный торговый агент, спешащий разрешить возникшие меж сторонами противоречия. Истый сын «Смиренных Гиен». Если Олеандр Бесконечный благодаря своей немоте походил на зловещего бесплотного призрака, Виконт казался беззвучно разрезающей воду акулой.

— Не пугайтесь, господа, — возвестил он своим мелодичным голосом, так радушно, будто люди, к которым он обращался, были его лучшими друзьями, — Bonorum vita vacua est metu![34] Этот великан — наш добрый друг «Святой Падальщик», он специалист господина Вольфрама по… деловым расчетам. И я с готовностью перепоручил вас и ваше будущее в его железные руки, если бы не испытывал ощущения, будто еще в силах пробудить ваш голос разума.

Фигуры в рясах не шевельнулись. Ветер Сальбертранского леса осторожно шевелил полы их ряс и капюшоны, но так робко, будто опасался навлечь на себя их гнев.

Чертовски сильная выдержка у этих ребят, подумал Гримберт. Любые другие на их месте уже бросились бы бежать, позабыв про обещанное серебро и все свои обязательства. Эти же смотрели на рыцарский доспех и стягивающихся вокруг вооруженных рутьеров так, точно наблюдали за чем-то обыденным, не представляющим не только угрозы, но и особенного интереса.

Может, оглушены какими-то психотропными зельями? Или подверглись нейро-коррекции, что выжгла в их мозгу центры страха?

Виконт Карходон несколько секунд молча стоял, постукивая острием эстока по снегу — ждал ответа. И хоть с его лица не сходила вежливая улыбка, Гримберт ощущал, до чего рутьеру сейчас неуютно на душе. Как и всем прочим, успевшим взять охранников в плотное кольцо. Должно быть, гиена, привыкшая ощущать себя опытным и ловким хищником, впервые встречала подобную добычу. Не демонстрирующую страха или неуверенности, спокойно ждущую, невозмутимую. Это было неправильно, это не соответствовало тем охотничьим рефлексам, что они воспитали в себе, это было… Это было противоестественно, непривычно, странно. Но Гримберт слишком хорошо знал «Смиренных Гиен», чтобы понимать — они не

отвернут. Не смогут. Их ведет вперед то, что гибельнее страха и опаснее самого дьявола. Их ведет воля Вольфрама Благочестивого.

— Не испытывайте наши манеры молчанием, — Виконт прошелся вдоль замерших фигур в рясах, ободряя их своей неотразимой, полной жутких зубов, улыбкой, — Уверяю, даже у такого добродетельного человека, как господин Вольфрам, есть отпущенный Господом предел терпения. Глушите двигатель и начинайте выгрузку из вагонов. Если успеете до полудня, подкину вам еще по денье на брата. И сможете убираться отсюда в любую сторону на ваш выбор. Если нет… Боюсь, мессиру «Падальщику» придется взыскать с вас неустойку.

Одна из фигур дрогнула. Не так, как вздрагивает человек, пытающийся побороть накатившую слабость. Движение получилось каким-то резким, несогласованным, словно все мышцы его тела на миг напряглись до предела. Напряглись — и вновь расслабились под грубым мешковатым покровом рясы.

Когда охранник заговорил, Гримберт вздрогнул в своей бронекапсуле.

— Вы израсходовали четыре минуты из отпущенных вам пяти, — голос его казался каким-то бесцветным, необработанным, как грубая шерсть, из которой было соткано его одеяние, — И пятая минута истекает. Я не уполномочен продлять отпущенный вам на размышления срок, но не стану вас преследовать, если вы проявите благоразумие и уйдете с дороги.

Это не прозвучало ни внушительно, ни угрожающе, кажется, говоривший сам не вкладывал в слова никаких интонаций, но некоторое впечатление все же произвело. Рутьеры, окружившие караван, глухо заворчали. Как беспокойные псы, скалящие зубы, но не получившие команды пустить их в ход.

Виконт Карходон рассмеялся. Так искренне, что ему вновь пришлось достать вышитый платок, чтоб вытереть уголок глаза.

— Воистину, вы мастер вести переговоры, сударь! Какая непринужденность! Какой такт! Я буду с удовольствием вспоминать недолгие минуты нашего общения. Но знаете, воспоминания становятся более сочными или живыми, если уснащать их тем, что подстегивает память. Сойдет все, что будет напоминать мне вас, маленький сувенир или прядь волос… Быть может… Я думаю, ваше ухо вполне подойдет для этих целей!

Виконт небрежно поднял свой эсток и его острием сбросил с головы охранника капюшон. И отчего-то застыл, не найдя в себе сил ни прикоснуться оружием к его уху, ни опустить его вниз.

— Ах ты ж адская срань…

Это все, что он успел сказать за отпущенное ему время. Все те

секунды, что еще оставались в его распоряжении, он потратил на крик.

* * *

Старые гравюры. Вот, что это напомнило ему — ветхие старые гравюры из летописного архива маркграфа Туринского. Иногда, когда информационные сводки из церковного информатория о великих битвах прошлого казались ему сухими и скомканными, он забирался в отцовский архив и часами разглядывал ветхие пергаменты, на которых неизвестный художник в меру своих сил и таланта запечатлел битвы глубокой древности, битвы, которые ему самому не суждено было увидеть. Холодное Чистилище и Рубку при Трех Тополях, Желтое с Черным и Огненную Траву, Вторую Жеребицу и Кровавую Корону.

Но если выдержки из церковного информатория казались сухими и пресными, не передающими в должной мере ощущение битвы, гравюры грешили другими недостатками. Живописуя столкновения армий, они частенько пропускали весьма значимые их части, запечатлевая лишь то, что казалось художнику основным, оттого у Гримберта часто возникало ощущение, что многие события, важные для понимания происходящего, попросту вырезаны, растворились в извечной пустоте.

Вот армия графа Бернара строится в боевые порядки, готовая обрушить на лангобардов всю мощь закованного в сталь императорского кулака. Сверкают на солнце гизармы и алебарды, хорохорятся, подкручивая усы, ландскнехты, графские оруженосцы полируют перед битвой доспехи. А вот армии уже нет, лишь темнеют на перепаханном снарядами поле воронки, пламенеют довольно ворчащие костры, получившие в этот день много богатой пищи, а единственная деталь, которую можно толком рассмотреть — распятый на своем собственном доспехе граф Бернар, обративший к небу невидящие глаза. Что было между двумя этими картинами? Сколько времени миновало? В какой миг славная и безоговорочная победа обернулась страшным поражением?..

Вот и сейчас у Гримберта возникло ощущение, что он ненароком перелистнул сразу несколько страниц, пропустив важные иллюстрации, и уже бесполезно разглядывать детали, бессмысленно силиться восстановить ход событий — потому что все важное уже миновало и обернулось прошлым, пока он пытался его понять.

Треск. Сперва ему показалось, что он слышит треск

мешковины, сползающей с охранника. Затем он увидел Виконта Кархародона, застывшего в неестественной позе. Его эсток, тяжелое элегантное оружие, застыл в воздухе, точно огромная стальная сосулька, так и не успев опуститься. Потому что рука, его сжимавшая, уже бессильна была это сделать. Треск, который он услышал, издала не ветхая ткань робы, ее издала рука Виконта. Она точно угодила в работающий на полных оборотах фрезеровочный станок. Скрученная, неестественно вывернутая, с торчащими наружу раздробленными костями и свисающими обрывками сухожилий, эта рука уже не смогла бы нанести удар, даже если бы ее хозяин приложил для этого все возможные силы. Виконт уставился на нее, выпучив свои глаза, и боли, которую он испытывал, было столько, что глаза эти показались Гримберту не рыбьими, безразличными и тусклыми, а почти человеческими.

Кажется, кто-то вскрикнул. Не испуганно — удивленно. Кто-то отшатнулся, забрызганный чужой кровью. Кто-то поперхнулся так и не вырвавшимся из глотки ругательством.

Охранник выпустил его руку из своей хватки. Небрежно, как кот выпускает дохлую мышь, и та повисла вдоль туловища рутьера с влажным шлепком, больше похожая на подергивающееся кровоточащее щупальце. Лицо его, более не скрытое капюшоном, не выражало ни злорадства, ни угрозы. Едва ли оно вообще способно было выражать что-то, это лицо.

Гримберт хорошо запомнил это мгновенье тишины, прозрачное и хрупкое, словно хрусталь.

Рутьеры, замершие с обнаженным оружием в руках, потрясенно разинули рты. Даже Виконт, с ужасом глядящий на свою искалеченную руку, отчего-то не кричал.

Молчал и охранник. Изувечив Виконта, он взирал на дело своих рук совершенно безучастно, а его лицо, лишенное защитных покровов капюшона…

Его лицо…

Должно быть, это ангел, подумал Гримберт. Укрытый несколькими слоями брони, стиснутый в стальном коконе бронекапсулы, он вдруг обмер, глотая воздух, не в силах отвести взгляд от того, что открылось под грубой тканью.

Ангел. Иначе и быть не может. Должно быть, Господь, уставший от всех несправедливостей и бед, творящихся в мире, послал своего слугу на грешную землю, дабы тот навел порядок и прекратил все творящиеся тут грехи.

Лицо его было не просто прекрасным или утонченным, оно было вдохновенно чистым и сияющим, как лик святого. Не просто органичное сочетание безукоризненно-правильных черт, математически выверенное и отредактированное грубыми

хирургическими инструментами, что-то на порядок более сложное. Невообразимо прекрасное. Светлое, чистое, струящееся.

Ничего подобного не могло возникнуть само по себе, из случайного сочетания генов. Гримберт мгновенно понял это, испугавшись, не сожжет ли этот божественный лик сетчатку его глаз. Природа, этот клокочущий чан порченного генетического материала, регулярно исторгающий из себя уродцев и чудовищ, просто не в силах сотворить ничего подобного. Это может быть только ангел, существо Божественной природы, явившееся на его зов о помощи. На его фоне все писанные красавцы франкской империи, чьи лица представляли собой произведения искусства и торжество технологий, выглядели бы выродками, чья бугрящаяся послеоперационными подкожными шрамами кожа растянута на черепе, точно сырой холст в раме.

Лик Ангела казался выточенным из белого мрамора и инкрустирован серебром. Белоснежная кожа, столь гладкая, что с нее соскользнуло бы даже невесомое лебединое перо. Карминовые губы, свежие, как бутоны сбрызнутой предрассветной росой розы, искривленные в легком подобии улыбки. Глаза, которые…

Лишь взглянув в них, Гримберт ощутил все свои грехи — квинталы и тонны грехов, взгромоздившиеся на его хребет и безжалостно дробящие позвонки. Невинные шалости, гибельные пороки, никчемные выходки и позорные тайны. Эти глаза были чисты как горный ручей и на их дне он на какой-то миг увидел собственное отражение, уродливый и похотливый оскал юной гиены.

Нет, подумал он, задыхаясь, ощущая себя рыбой, вытянутой неведомой силой из водоема и дергающейся в дюйме от его края. Я не такой, я…

Ангел в серой робе обвел взглядом окружавших его рутьеров. В его глазах мелькнуло вроде сожаления. И одного только этого было достаточно, чтобы половина окруживших его рутьеров захотелось достать нож и выпотрошить собственный живот. Лишь бы вновь увидеть улыбку на лице сошедшего с небес существа.

— Нет, — тихо и печально произнес ангел, — Наверно, уже слишком поздно.

Может, «Смиренные Гиены» и были толковыми хищниками. Может даже, лучшими в своем роде. Отчаянными, хитрыми, изворотливыми. Если чего-то им и не хватало, так это сообразительности. Столкнувшись с тем, чего они не ожидали, не могли понять, рутьеры Вольфрама Благочестивого потеряли слишком много времени. Времени, которое могли бы использовать для своего спасения.

Ангел протянул руку и коснулся ближайшего к нему разбойника, но тот, мгновенье назад изнывающий от благоговения, вместо стона, долженствующего означать высшее блаженство, ликующее торжество освобожденной души, прощенной от грехов, вдруг испустил оглушительный визг. Он забился в руке ангела, по-прежнему взиравшего на него со скорбным состраданием, и сделалось видно, что по лицу его меж бледных пальцев ангела стекает кровь, а потом…

Ангел сделал легкое движение, почти беззвучное, если не считать негромкого хруста. Лицо рутьера осталось в его руке, вывороченное из черепа вместе с изрядным куском черепа, обрамленное ровно обрезанными полосками кожи и осколками челюстей. Ангел брезгливо уронил его в снег, стряхнув с удивительно красивых и тонких пальцев алые капли. Рутьер с развороченной головой умер не сразу. Еще две или три секунды он жил, всхлипывая обнажившимся провалом глотки, под которым судорожно дергался уцелевший язык, ощупывая трясущимися пальцами смятые и разорванные мозговые оболочки, потом беззвучно повалился в снег сам.

— Руби его! — рявкнул кто-то из толпы, — Руби, падла! Гиены, в бой!

Но было, конечно, уже поздно.

Часть 7

Даже среди святых отцов, кажется, не было единого мнения относительно того, чем питаются ангелы.

Святой Ауксилий, труды которого Гримберт когда-то прилежно штудировал, утверждал, что ангелы есть творения Господа, созданные не из глины и прочих грубых материй, но из благих помыслов и надежд, оттого им не требуется ни воздух, ни грубая человеческая пища. Если ангел испытывает голод, ему довольно услышать детский смех, чтобы заморить червячка, или увидеть улыбку раскаявшегося грешника — и это заменяет ему пиршественный стол не хуже, чем у епископа, с семью переменами блюд и розовым мозельским вином.

Святой Ансельм не был согласен с ним в этом. Он утверждал, что ангелы могут вкушать пищу, только делают они это в своих небесных чертогах, при этом едят они лунный свет, нарезая его на тончайшие ломти, и запивают настоянным на апельсиновых корочках апрельским ветром.

Святой Бенедикт Аахенский возражал им обоим. Он в свою очередь полагал, что…

Быть может, святые отцы, в совершенстве закалившие клинки в бесконечных схоластических битвах, многое знали о таких сложных материях, как человеческая душа и устройство Царства Небесного, но по части Господнего воинства их представления были неполны и противоречивы. Может, они вовсе ничего об этом не знали.

Гримберт знал.

Он видел, как пируют ангелы.

Первый же рутьер, успевший потянуться за ножом, взвыл, захлебываясь собственным криком, когда стоящий ближе всего ангел простер к нему белоснежную длань. Бледные пальцы Ангела, еще более тонкие и изящные, чем у придворных белошвеек, не озарились светом, не покрылись огненными письменами. Чуду, которое было в них заключено, не требовались примитивные эффекты, чтобы явить себя. Эти пальцы прошли сквозь разбойничий хауберк[35] беззвучно и мягко, как свет солнца проходит сквозь стекло, но Гримберт отчетливо видел, как брызжут в стороны искореженные звенья брони, а вслед за ними — мелкие осколки рутьерских ребер.

Пальцы Ангела обладали силой выпущенного в упор заряда картечи, однако при этом порхали невесомо как белоснежные голубки, успевая сделать больше движений, чем был способен

распознать человеческий глаз. Рутьер с развороченной грудью еще не успел осесть, изумленно глядя на торчащие из раны обломки собственных ребер, за которыми виднелись натужно дрожащие потроха, а Ангел уже повернулся к его соседу, судорожно тянущему из ножен кинжал. Повернулся — и вновь сделал едва заметное мановение пальцами, подчиняясь которому тот мгновенно повалился в снег, хрипя и зажимая пальцами дыру на месте вырванного кадыка.

Третий оказался проворнее своих незадачливых товарищей, успел ткнуть Ангела под ребра коротким кацбальгером[36], но удар его, мощный, отточенный во множестве схваток и, без сомнения, смертоносный, не вызвал у Ангела даже стона, лишь едва заметную тень, пролетевшую по его прекрасному лику. А в следующий миг обладатель кацбальгера уже извивался ужом на земле, изломанный в таком множестве мест, словно по нему проехал груженный каменными плитами грузовой трицикл.

Гиены оправились от оторопи не мгновенно, но чертовски быстро. Все-таки они были хищниками, по-своему опытными и умелыми, быстро улавливающими те сигналы, которые вьются в окружающем эфире, а сигналов этих в кратчайший миг сделалось необычайно много.

— Руби! Руби их! Аххр-р-ррр…

— Сука! На ножи!

— Гиены!

Ангелы пировали молча. Им не требовалось подбадривать себя боевыми кличами, они не испытывали нужды в грубой брани, они не смеялись в боевом упоении, не хохотали, не провозглашали проклятий и не сулили обещаний. Они просто пировали — почти беззвучно, если не считать треска кожи, легкого скрипа снега под ногами, и еще тех изумленных выдохов, что вырывались из рутьерских глоток, сопровождая в небеса выпорхнувшую из развороченного тела душу.

Они двигались в пугающе нечеловеческом ритме, не так, как двигаются существа из плоти и крови. Гримберту приходилось видеть искуснейших фехтовальщиков, сражающихся друг с другом в туринском палаццо чтобы заслужить лавровую ветвь из рук маркграфа, видел лучших в мире венецианских атлетов, демонстрирующих такие чудеса человеческого тела, что даже святые отцы после увиденного начинали сомневаться в установленных Господом рамках мироздания. Они словно и не двигались вовсе, а… Это было похоже на запись, сделанную сверхчувствительной камерой, но запись, из которой рука монтажера удалила в случайном порядке половину промежуточных кадров. И выглядело это…

Жутко.

Одним из первых сориентировался Олеандр Бесконечный. Раненный кацбальгером Ангел простер длань в его сторону, намереваясь вышибить из него душу одним прикосновением, но тот удивительно ловко отвел удар древком своего люцернского молота, отступил на полшага, присел, развернулся немного боком и…

Потрясающая ловкость, особенно в сочетании с таким громоздким оружием. Крутанувшийся вокруг своей оси молот ударил Ангела снизу в подбородок. Боек его был невелик, не чета тем тяжелым, как клювы грифов-падальщиков, боевым молотам данов, которые проламывают бронированные шлема точно пустотелые тыквы, однако удар его вышел сокрушительным. Ангел отшатнулся, но на половину секунды позже, чем следовало, и этой половины секунды хватило, чтобы его череп хрустнул, разделившись на части, точно причудливая шкатулка-головоломка из слоновой кости.

Однако под белоснежной кожей, легко сошедшей с костей без единой капли крови, не обнаружилось того, что Гримберт внутренне ожидал увидеть — желтоватых осколков черепа, хлюпающего мозгового вещества, черных слизистых вкраплений…

Мозг Ангела, аккуратный и розовый, возлежал не в грубой костяной чаше, как это бывает у людей, а в сложном футляре из прозрачного полимера, покрытом комбинацией вырезов, отверстий и пазов. Точно мягкая сердцевина диковинного плода, помещенная в изящную хрустальную вазу.

Чудовищная кинетическая энергия, вложенная Олеандром в этот удар, мгновенно разрушила это миниатюрное совершенство. Мозг хлюпнул, брызнув в стороны розовой коралловой мякотью, слюдяные пластины черепа беззвучно лопнули. На снег выплеснулось немного крови, но не алой или багрово-синей, а сероватой, сгущенной, точно хлопья подкисшего молока.

Любое существо, чей мозг розовыми сгустками капает в снег через пролом в черепе, отказалось бы от борьбы, ощущая дыхание Создателя, но Ангел был устроен сложнее человека. Может, гораздо сложнее. Один его глаз был размозжен в глазнице, превратившись в липкий, карамельного цвета, студень, однако другой пристально уставился на обидчика, не обещая тому ничего хорошего. Однако чтобы смутить Олеандра Бесконечного ему требовалось куда более основательное чудо. Не обращая внимания на хрустящие осколки полимерного черепа под ногами, Олеандр легко, точно тростинку, крутанул свой молот еще раз, заставив его описать короткую петлю, и, прежде чем Ангел успел понять, с какой стороны ему грозит опасность, вогнал тяжелый

заточенный клюв тому в висок.

Должно быть, спускаясь с облаков, слуги Господни обретают смертность. Ангел рухнул в снег, простерев обагренные чужой кровью руки.

В рычащей круговерти битвы, полнящейся треском чьих-то костей, мучительными криками и звоном стали смерть эту разглядел не каждый. Но те, кто разглядел, мгновенно воспряли духом. Ангелы, чья бы воля не послала их на этот страшный пир, все же были смертны, а значит…

Ржавый Паяц торжествующе заулюлюкал, воздев вверх свои гангренозные, наполовину состоящие из металла, руки.

— Гиены, режь! — взвыл он страшно, воздев ввысь свои скрежещущие лапы, — На ножи ублюдков!

* * *

«Смиренным Гиенам» Господь не даровал ни сверхчеловеческих сил, ни бессмертия. Однако, как и полагается хищникам, они обладали отменным чутьем на кровь. Пусть даже кровь эта была не алой, сладко пахнущей человеческой кровью, а густым бесцветным раствором, текущим в Ангельских жилах. Истерзанные, с трудом вырывающиеся из страшных объятий с пробитыми животами, оторванными пальцами и развороченными челюстями, они тратили секунду или две, чтобы сделать один-единственный вздох, и вновь устремлялись в бой, не обращая внимания на стелющиеся вслед за ними по снегу кишки. Те, кто лишился пальцев на правой руке, хватали свои шестоперы, гизармы и топоры левой. Те, кого страшное калечащее прикосновение Ангелов лишило рук до локтей, бросался в бой по-собачьи ощерившись, точно намереваясь впиться в белоснежное мясо зубами.

Это был не бой. То, что творилось вокруг «Убийцы», напоминало пиршество Ангелов, на которое ворвалась стая окровавленных, осатанело рычащих гиен. Они набрасывались друг на друга, одни всклокоченные, окровавленные и щелкающие челюстями, другие отстраненные, безликие и холодные, как мраморные изваяния. Но спустя считанные секунды они уже в равной степени были залиты кровью.

На глазах у Гримберта один из рутьеров, ухитрившись проскользнуть под смертоносной дланью Ангела, всадил тому в хребет изогнутый кинжал с пламенеющим лезвием. Ангел досадливо дернул плечом, беззвучно развернулся и… Ему потребовалось немногим более секунды, чтобы небрежным

мановением ладони вбить забрало рутьерского шлема прямо тому в череп, с такой силой, что из вентиляционных щелей вперемешку прыснули в снег осколки зубов, клочья языка и кровавая пена. Удар этот, смявший и сталь и кости, казался так страшен, точно в тонких бледных пальцах был зажат невидимый боевой цеп.

Еще секундой позже Ржавый Паяц, которому хромота не мешала по-волчьи метаться между сражающихся, сомкнул свои клешни на его горле, всмятку раздавив хрупкую полимерную гортань и с хрустом выворотив голову из истекающего прозрачной кровью тела. Легко, точно та была лишь подгнившим турнепсом в крестьянском огороде.

Гримберт заставил «Убийцу» пятиться прочь. Снег под его ногами быстро превращался в хлюпающую кровавую кашу, в которой стальные ноги доспеха скользили, утрачивая надежное сцепление.

Прочь, прочь, прочь, шептал он. Прочь от этого страшного пиршества, и неважно, чьей победой оно закончится.

Он охотно закрыл бы глаза, чтобы не видеть страшных деталей, но был лишен такой возможности. У сенсоров «Убийцы» не было век, которые могли бы милосердно сомкнуться, ограждая его от тех страшных картин, которые он вынужден был запечатлеть.

Еще один Ангел осел, разрубленный почти до паха чудовищным ударом алебарды. Осел, но не выбыл из боя. Оглушительно завизжал пробегающий над его телом рутьер, чьи щиколотки тот раздавил своими ангельскими пальцами, и визжал до тех пор, пока его легкие не были вырваны из тела сквозь дыру в боку и не шлепнулись окровавленной булькающей тряпкой в снег. Возмездие пришло тотчас. Тяжелые топоры, взметнувшись над павшим Ангелом, разрубили его бледную плоть, перемешав с алым снегом, но даже четвертованный, он продолжал дергаться, бессмысленно выплескивая вложенную в него Создателем силу.

За каждого поверженного Ангела Гиены щедро платили своими жизнями, но Гримберту не требовались вычислительные мощности «Убийцы», чтобы понять — даже их разбойничья самоотверженность не позволит им выиграть в этом бою. Холодная отрешенность Ангелов была эффективнее кипящей крысиной злобы. Все новые и новые тела падали в снег — освежеванные, разорванные в клочья, вскрытые и выпотрошенные.

В какой-то миг Гримберту показалось, будто «Смиренные Гиены» в силах переломить ход боя в свою пользу, когда со склона подобно лавине из звенящей стали пришло подкрепление, ведомое Орлеанской Блудницей. Не утруждая себя боевыми кличами, она завывала и рычала, воздев вверх латные руки с

зажатыми в них пистолями, а следом за ней мчались ее улюлюкающие товарищи, готовые насадить ангельское воинство на свои штыки.

Удар тяжелой пехоты был подобен страшному удару горной лавины, легко сметающему самые прочные крепостные стены. Если бы сила этого удара угодила во вражеское построение, то расколола бы его, как топор лесоруба раскалывает трухлявое бревно. Однако Ангелы Господни, к несчастью для Гиен, не считали нужным держать хоть какой бы то ни было боевой строй, отчего вся заключенная в ударе энергия ушла, рассеявшись, выплеснулась в пустоту.

Закованный в панцирь рутьер врезался плечом в бок Ангела. Будь тот человеком, этот удар раздавил бы его внутренности и расколол все кости в теле. Но Ангел лишь коротко мотнул головой и ответил небрежной пощечиной, от которой тяжелый шлем рутьера вывернуло из панциря вместе с горжетом и головой несчастного. Жертва осталась бы неотмщенной, если бы не сама Орлеанская Блудница. Удивительно подвижная в своей тяжеловесной броне, словно та отягощала ее не больше, чем наряд танцовщицы из серого шелка, она пробилась к Ангелу, ловко огибая собственных изувеченных бойцов, и ткнула под бледное ухо стволом своей громоздкой колесцовой пистоли.

В своих проповедях, обличающих насилие, епископ Туринский не раз говорил, что порох создан из пыли первозданного хаоса, оттого он всегда оставляет за собой столь страшную картину разрушений. Гримберт прежде не задумывался об этом, зато мгновенно вспомнил, когда раздался выстрел. Заряд картечи, выпущенный в упор, развернул голову Ангела, усеяв снежно-кровавую кашу под ногами дерущихся оплавленными полупрозрачными костями его черепа и влажной коралловой мякотью мозга.

— Так его, сучье отродье! — взревел Ржавый Паяц, сам забрызганный кровью до того, что походил на демона, — Гиены, навались! Драть насмерть! Не трусь!

Орлеанская Блудница чертыхнулась. Вынужденная выронить разряженную пистолю, чтобы разминуться со скользящим ударом другого Ангела, она выхватила из ножен тяжелый, щербатого металла, кракемарт[37] и, зарычав, рубанула так, что отсеченная Ангельская кисть шлепнулась в снежную кашу бледным пауком.

— За собой следи, ржавое отродье! Ааа-а-аах!

Пытаясь сохранить трезвый ум в этой кровавой, пожирающей саму себя круговерти, Гримберт запоздало вспомнил про рутьерскую артиллерию, укрытую в снегу на склонах. Снаряженные серпантины и кулеврины ждали только команды

Бражника, чтобы обрушить на врага сокрушительный свинцовый ливень. Ждали, но…

«Стреляйте! — мысленно взмолился Гримберт, пытаясь послать свою мысль, точно на невесомых крыльях радиосигналов, в голову Бражнику, — Стреляйте же, чего медлите?»

«Идиот, — спокойно произнес Вальдо в его голове, безучастно наблюдающий за схваткой, — Как же они выстрелят? Тут уже ни черта не разобрать».

Вальдо, пусть и бесплотный, был прав. Порядки рутьеров столь плотно смешались с ангельским воинством, что стрельба из артиллерии превратилась бы в безрассудство — снаряды по своему устройству бездушны, им все равно, кого крушить. Прежде чем уничтожить хладнокровно пирующих Ангелов, они бы перебили уцелевших рутьеров.

То и дело из гущи боя показывался Олеандр Бесконечный. Его люцернский молот ни на секунду не оставался без работы, но сам он выглядел порядком потрепанным и уставшим. Еще полминуты, подумал Гримберт, может, минута, и очередной удар все-таки настигнет молчаливого рутьера, не спасет вся его нечеловеческая ловкость.

— Гиены, рви!

— Аааaа! Блядская погань! Глаза!

— Насмерть! Навались!

— Аааа-ааа!

— Ах ты ж черт…

— Рви! Рви! Рви!

Ржавый Паяц метался посреди этой вакханалии, рыча, точно дикий зверь. Может, ему не хватало грациозности, но он с лихвой компенсировал этой чудовищной силой своих клещей. Впиваясь в нежное ангельское мясо, эти клещи рвали его в клочья, дробя кости и отрывая конечности. Однако он уже шатался и по всему было видно, что запас его сил отнюдь не бесконечен.

Как и его собственное.

Нелепо думать, будто закончив свою страшную резню, Ангелы молча стряхнут с рук кровь и двинутся обратно к каравану, позабыв про «Убийцу», торчащему посреди поля боя, точно колокольня. Они-то помнят, кто грозил им пушками, и не имеют никаких иллюзий по поводу того, на чьей он стороне.

Гримберт представил, как невесомые Ангелы беззвучно обступают его доспех, простирают длани — и сталь бронекапсулы вдруг начинает скрежетать, проминаясь, и вот уже внутрь протискиваются бледные пальцы, впиваясь в кости и плоть, и тащат, тащат, тащат…

Прочь отсюда. Прочь, чем бы не кончилось это безумное

кровавое паскудство. Пока он сам жив, а «Убийца» в силах выполнять приказы.

Но даже многотонному рыцарскому доспеху выбраться из дьявольской рубки оказалось не проще, чем деревянной щепке выплыть из бурной стремнины. Людские потоки, разбивающиеся о его броню, заставляли машину колебаться, теряя направление, а пороховой дым вперемешку с кровавой капелью заволокли поле зрения, оставив лишь крошечные островки.

Шаг, приказ Гримберт, пытаясь поймать направление по компасу. Еще шаг. Еще.

Под подошвами что-то хрустело. Это не был хруст снега, хоть он и пытался убедить себя в обратном, это был хруст костей тех несчастных, по которым он ступал. Некоторые из которых, возможно, были еще живы или…

Меня сейчас стошнит, подумал Гримберт, меня сейчас…

Прямо на него из гущи боя вывалился Ангел. Истерзанный пиками рутьеров, изрубленный тесаками, он уже ничем не походил на совершенное творение Господа. Прекрасное лицо походило на лопнувшую фарфоровую маску, пошло трещинами, из раздробленной пустой глазницы тянулся влажный белесый след — кто-то из рутьеров, должно быть, исхитрился ткнуть его ножом в глаз. Разорванный в крике рот, обрамленный бахромой из свисающих щек, походил на оскалившуюся пасть, внутри которой шевелились переплетения булькающих трубок и какие-то мелкие, дергающиеся детали, вышедшие из своих пазов.

Уже не совершенное творение Господа, подумал Гримберт.

Обагренное человеческое кровью чудовище.

Как падший Люцифер после своего предательства, низвергнутый с небес.

* * *

Ангел двинулся прямо на «Убийцу», не глядя по сторонам. Истекающий прозрачной ангельской кровью, похожий на свирепое взъерошенное чудовище, он потерял свою противоестественную красоту, но сохранил в полной мере силу. Силу, которой — Гримберт откуда-то это знал — было достаточно, чтоб проломить тонкую броню рыцарского доспеха и выпотрошить бронекапсулу с ним внутри как гнилое яблоко.

Рефлексы рыцаря, вбитые годами обучения, поспевали быстрее мыслей. Гримберт мгновенно поймал фигуру с ликом ангела в прицельный маркер. Легко, как дворцовые пажи, соревнуясь друг с другом, ловят ловкими пальцами монетку. И…

Пулеметы «Убийцы» издали беспомощный лязг. Стальные скобы замков намертво сковали автоматику, сделав грозное оружие таким же бесполезным, как сломленный пополам клинок или аркебуза без порохового заряда.

Ангел улыбнулся ему своей разорванной пастью. Даже если бы он сохранил искусство членораздельной речи, едва ли он мог бы произнести что-то более красноречивое, чем эта улыбка. «Ты сейчас умрешь, маркграфский сопляк, — сообщала она, — Умрешь в высшей степени паскудно, как никогда не думал умереть, читая дрянные рыцарские романы».

«Стреляй! — взмолился Гримберт, продолжая бессмысленно терзать гашетки, — Во имя всех святых и праведников, стреляй!»

Пулеметы вновь отозвались беспомощным лязгом. Они ничем не могли помочь своему хозяину.

Но если приближающийся Ангел и успел испытать торжество, длилось оно не более одной секунды с четвертью. Потому что вывалившийся вслед за ним из бурлящей свалки рутьер обрушил на его затылок окованную железом палицу-годендаг.

Этот удар запросто убил бы и быка-трехлетку. Ангел всхлипнул, протянутые в сторону «Убийцы» руки беспомощно дернулись, силясь удержать на плечах разваливающуюся голову, но сделать это было не проще, чем удержать руками разбитый горшок с жидкой кашей. Разве что каша эта была бледно-розового цвета, со слюдяными прожилками.

Рутьер хрипло выдохнул, вырвал годендаг из оседающего тела и на всякий случай пронзил его шипом ангельский хребет. Облаченный в потрепанную, с чужого плеча, рейтарскую кирасу поверх тонкого камзола, потерявший в схватке один из наплечных щитков, он был покрыт вперемешку человеческой кровью и ангельской слизью, так густо, что узнать его было бы невозможно даже носи он на своих разбойничьих доспехах герб.

— Эй, мессир рыцарь! — хрипло рявкнул он, повернув шлем к «Убийце», — Не желаете присоединиться? Или вы ждете, пока просохнут панталоны?

Гримберт узнал не столько голос, сколько блеск его глаз в узкой прорези забрала. Злой холодный блеск большого и сильного хищника, который даже в бою, круша врагов, не испытывает опьянения кровью.

Чертов Мьедвьедь, демон зимнего леса. Его личный палач и угнетатель.

Бальдульф.

— Не могу! — отчаянно крикнул он в микрофоны, надеясь, что динамики «Убийцы» перекроют грохот боя, — Замки!

Однако Бальдульф понял его мгновенно.

— Дьявол! — выдохнул он, озираясь, — Толку нам тогда от твоей скорлупы… У кого ключ?

Рядом с ним остановилась Орлеанская Блудница. Несмотря на то, что в бою она провела едва ли несколько минут, выглядела рутьерка так, точно все это время выдерживала сражение с мельничными жерновами — панцирь украсился глубокими вмятинами, горжет свисал, едва не сорванный с ее груди, рондели выглядели так, точно их без устали сокрушали кузнечными молотами все кузнецы империи. Она уже лишилась своих пистолей, но тяжелый кракемарт все еще был прочно сжат в руке. И судя по тому, сколько белесой жижи украсило обоюдоострое лезвие, работы ему выпало немало.

— У Вольфрама, чтоб ему кишки вырвало! — зло бросила она, переводя дыхание, — Сто тысяч дьяволов, если не заведем пулеметы, в аду уже можно сковородки на огонь ставить!

Бальдульф кивнул. И раньше не разговорчивый, в бою он не считал нужным тратить время на пререкания и расспросы. Да и сколько осталось того боя?..

— Олеандр! — крикнул он, — Замки!

Олеандр Бесконечный возник из водоворота беззвучно, точно дух смерти. Единственный из рутьеров, не считающий нужным защищать голову броней, он сражался без шлема и Гримберт отчетливо видел, что лицо его спокойно и, вместе с тем, пусто, точно сосредоточенный лик святого из туринского собора. Он лишь едва заметно кивнул Бальдульфу и поднял люцернский молот, свое страшное оружие.

Удар последовал столь быстро, что сенсоры «Убийцы» даже не распознали его. Зато хорошо распознали лязг падающего замка, сбитого с пулеметного кожуха. И второй, последовавший тотчас вслед за первым. Две пиктограммы в его визоре беззвучно изменили цвет с алого на изумрудно-зеленый. Это значило…

Гримберт знал, что это значило.

* * *

Следующий Ангел, вынырнувший из ревущего водоворота, выглядел столь жутко, будто провел в аду целую вечность, мучимый дьявольскими силами и заживо освежеванный демонами. Чей-то удар наполовину содрал белоснежную кожу с его лика, обнажив слюдяные, сложного устройства, кости, между которыми виднелись непривычно бледные и тонкие мышечные волокна. Но первый же рутьер, попытавшийся встать у него на пути, откатился в сторону, потеряв свой палаш и изумленно

взирая на пробоину в кирасе, в глубине которой за слоями развороченного металла виднелись судорожно дрожащие внутренности.

Орлеанская Блудница мгновенно обрушила на голову Ангела свой кракемарт, но тот невероятно легко встретил лезвие на середине траектории взметнувшейся рукой. Несколько пальцев шлепнулись в снег, однако силы оставшихся было достаточно, чтоб рутьерка, вскрикнув от боли в вывихнутой руке, выпустила оружие. Бальдульф вскинул годендаг, чтобы всадить шип ему в горло, но куда ему, воину из плоти и крови, было тягаться с совершенными рефлексами рыцаря…

Ангел небрежным хлестким ударом отбил его выпад и сам потянулся следом, чтобы заключить Бальдульфа в свои смертоносные объятья, обладающие силой гидравлического пресса. Потянулся и…

Пулеметная очередь ударила Ангела в упор, заставив отшатнуться и задергаться в ворохе бесцветных искр, которые пули вышибали из его лопающихся костей. Грудная клетка с хрустом вмялась вовнутрь, растопырив в стороны рубленные обломки ребер. С негромким треском лопнул позвоночник, отчего голова Ангела вдруг бессильно повисла на лоскутах кожи.

Ангел был уже повержен и не представлял опасности, но Гримберт не смог сдержаться. Коротким движением сместил маркер на несколько дюймов и вновь вжал гашетку, размолотив висящую голову короткой очередью и превратив в россыпь склеенных розовой слизью слюдяных осколков. Напрасная трата патронов, подумал он, Магнебод был бы очень недоволен.

Но он ничего не мог с собой поделать.

Бальдульф с трудом поднял оброненный годендаг. Получив всего один удар, он ощутимо пошатывался и выглядел как человек, контуженный близким разрывом восьмидюймового снаряда. Ему потребуется по меньшей мере полминуты, чтобы прийти в себя, восстановив контроль над телом. Куда больше, чем нужно было Гримберту, чтобы еще раз нажать на гашетку.

Поймав короткий мысленный приказ, послушный «Убийца» мгновенно заключил фигуру Бальдульфа в пламенеющий нимб — ареол прицельного маркера. Еще одна команда — и Бальдульф перестанет существовать, превратившись в звенящие под ногами осколки брони и алый снег.

Это было просто, чертовски просто. Куда проще, чем семь дней медленно умирать в яме, поддерживающее слабеющее тело крохами ненависти, которые он сжигал, вновь и вновь вспоминая единственный в своей жизни бой, звон пулеметов в ночи и страшный грохот, с которым пал «Страж». Просто нажать на

гашетку — «Убийца» сам сделает все необходимое. Как любой рыцарь, он исполнителен и предан.

Бальдульф вдруг повернулся к нему лицом. Покачивающийся, с трудом держащий в руках оружие, он с удивительной легкостью поймал взгляд Гримберта, хоть и не мог видеть его за всеми слоями бронированной стали. Пальцы его дрожали, потому он не сразу смог поднять забрало.

Лицо у него было темным, запекшимся, сосуды в глазах полопались, кожа выпачкана пеплом и чужой кровью. Но усмешка осталась прежней — насмешливая волчья усмешка, которая служила ему гербом.

— Давай, — буркнул он, не делая даже попытки поднять годендаг для удара, — Закончи и все тут. Чего время терять?

— Не лезьте под прицел, — бросил Гримберт в микрофон, — Только мешаете.

Бальдульф кивнул и отступил в сторону. Если он и испытал в этот миг облегчение, то ни малейшим движением или жестом его не выдал.

— Тогда занимайся делом, — буркнул он, закрывая забрало, — И лучше бы тебе не отлынивать, мессир.

* * *

Сбросивший оковы «Убийца» погубил больше Ангелов, чем все посулы и искушения Люцифера. Освещенные епископом Туринским пулеметы, переведенные в режим коротких очередей, на малой дистанции били сокрушительно и точно, в их голодном рыке Гримберту чудился демонический лай.

Следующей его мишенью стал Ангел, поваливший рутьера в снег и сосредоточенно рвавший его извивающееся тело когтями, отрывая куски плоти вперемешку с кольчужными звеньями. Услышав непривычный гул пулеметов, он отвлекся на мгновенье от своей работы, но вернуться к ней уже не успел — пулеметная очередь вскрыла его грудную клетку, рассыпав далеко в стороны осколки полупрозрачных костей. Еще двое погибли сразу вслед за ним, когда пулеметы «Убийцы» хлестнули по ним, сбив в единое целое и превратив в груду влажного тряпья.

Ангелы умирали молча, как и сражались. Даже те из них, кому удавалось удержаться на ногах после прямого попадания, не выглядели ни потрясенными, ни страдающими от боли. Их нечеловечески прекрасные лица оставались такими же равнодушными и задумчивыми, как прежде. Что не мешало им оставаться такими же совершенными механизмами для несения

смерти, как раньше. Быстро распознав в кромсающем их «Убийце» угрозу, они почти мгновенно перестроились, бросив терзать окровавленных Гиен и обрушившись на него со всех сторон. Это решение могло бы принести им победу — если бы было принято минутой раньше.

Гримберт стрелял короткими очередями. Скупо, как на учебном полигоне, слушая ругань Магнебода. Каждый патрон, не попавший в цель, это крошечный грех, висящий на совести рыцаря до Страшного Суда. Однако сейчас, щедро полосуя дымными трассами извивающиеся ангельские тела, он не ощущал из-за этих промахов привычных мук. Грехи, которые висели на его совести, весили тысячу квинталов, куда больше, чем подобная мелочь…

Следующий Ангел словно вознесся обратно на небо, в свои райские кущи. Пулеметы «Убийцы» встретили его в середине отчаянного прыжка, обратив в подобие облака из оседающих перьев, только перья эти не воспарили к холодному небу, а осели вокруг, перепачканные в сером и алом. Его товарищ, бесшумно подобравшийся с левого фланга, имел более значительные шансы на удачу, но выдал себя и распростился с жизнью сам, осев, выпотрошенный, точно мешок, из которого вытряхнули содержимое. Подскочившие со всех сторон рутьеры, вымещая ярость за своих погибших товарищей, разрубили его своими топорами и саблями в мелкие куски.

Один из Ангелов оказался чертовски проворен. Скользнув беззвучным призраком между пулеметными сполохами, он смог достичь «Убийцы» и впился безоружными руками в его правую ногу. Несмотря на то, что величины, заключенные в нем и в рыцарском доспехе, были несопоставимы, Гримберт мгновенно ощутил тревожный писк датчиков — ангельская сила, пусть и не без труда, сминала броневую сталь.

Его спасли Гиены. Быстро сориентировавшись в происходящем, они больше не пытались биться с Ангелами по привычным им правилам, зато легко переняли ту роль, которую обыкновенно выполняли в бою императорские пехотинцы — прикрывали уязвимые суставы и ходовую часть. Не успел Ангел повредить обшивку, как оказался пригвожден к ней сразу полудюжиной копий и гизарм, обратившись жутким изуверским подобием святого распятия.

«Убийца», пусть даже поврежденный, справлялся с возложенной на него задачей удивительно ловко, почти не требуя внимания хозяина. Вновь и вновь ловил в маркерную сетку скользящие в снегу фигуры, чтобы превратить их в пепел, в лохмотья и в труху. Обратить в тлен и развеять по ветру. Кажется,

ему это даже нравилось. По крайней мере, Гримберт ощущал в его содрогающемся от беглого огня нутре что-то вроде довольного рыка.

Нелепая мысль. Рыцарский доспех не способен чувствовать и уж точно не ощущает сладостного упоения боем. Все его мыслящие органы — не более чем чуткие вычислительные приборы, облегчающие рыцарю работу. Но вновь и вновь полосуя пулеметным огнем дергающиеся в пороховых разрывах тела, Гримберт ловил себя на мысли о том, что «Убийца» впервые в жизни получает удовольствие от выполняемой работы… Страшной, жуткой, но неизменно эффективной.

А потом все закончилось. Неожиданно, внезапно, так, что он не сразу сообразил, что произошло. Точно вынырнул из алого водоворота, судорожно пытаясь вспомнить, кто он, где находится и какую часть в доспехе занимает. Точно сам был хитрым механизмом, частью огневых систем «Убийцы», который внезапно отключили, прервав привычный ему режим функционирования.

Окружающее пространство больше не было размечено прицельными маркерами, хотя снег оказался алым. Какой-то сбой в изображении, подумал он, надо откорректировать параметры отображения, переключить настройки входящих визуальных сигналов и…

Это кровь, вдруг понял он. Я стою на залитой кровью снегу. И Ангелов нет.

Бледнокожие убийцы куда-то пропали, точно слились со снегом или…

Ржавый Паяц хрипло выдохнул, швырнув в снег ком чего-то влажного, оплетенного жгутиками фиолетовых вен.

— Последний, — буркнул он, — Последний это был. Ах ты ж дьявол… Ну и навертел ты дел… мессир рыцарь.

Покачивающийся, нетвердо держащийся на ногах, он двинулся в сторону остановившихся вагонов, обходя распростертых мертвецов и время от времени пиная павших рутьеров, чтобы проверить, мертвы те или нет. Иногда он нагибался, но не для того, чтоб оказать помощь, а чтоб сорвать с шеи мертвеца распятье или цепочку.

Все позади, внезапно понял Гримберт, битва окончена.

Он не ощутил облегчения. Душа казалась все тем же тяжелым илистым камнем, на который налипла всякая дрянь, слизким и болтающимся в опустевших внутренностях.

Прочие Гиены, кажется, тоже не сразу осознали, что все завершено. Бальдульф хладнокровно разглядывал распростертые тела, держа в занесенной руке свой грозный годендаг. Орлеанская Дева мрачно разглядывала вмятины на своем панцире,

машинально полируя их пальцем. Олеандр Бесконечный равнодушно вытирал тряпицей боек люцернского молота и выглядел таким же отрешенным, как сами мертвые Ангелы.

— Hic. Citius![38] Дьявол, да принесите же бинты, чтоб вас! Или вы хотите, чтоб я истек кровью?

Удивительно, но даже Виконт Кархародон пережил этот бой. Может, потому, что большую часть времени провел среди мертвецов, скуля от боли в искалеченной руке.

— Вот чего я никогда не понимал, слушая проповеди святош… — пробормотал Бальдульф, осторожно снимая шлем и шипя от боли.

— Чего? — раздраженно поинтересовался Ржавый Паяц, не отрываясь от своего занятия.

Раненных он беззлобно пинал, чтобы поднять на ноги, иных, уже безнадежных, брезгливо обходил стороной или переступал.

— Смотри сам, Господь Бог в первый день сотворил свет и тьму. На второй — земную твердь и воду. А ведь еще были птицы, звери и прочая дрянь…

— И что?

Бальдульф послюнявил пятерню и стер со лба засохшую кровь.

— Вранье все это, вот что… — пробормотал он, — Брешут святоши. Как по мне, Господь Бог все шесть дней был занят тем, что изобретал пулемет. И лишь на седьмой на скорую руку соорудил все остальное, чтоб было, на чем его испытать.

Смех Ржавого Паяца быстро перешел в кашель, от которого задребезжала его грудная клетка. Жуткий смех старого стервятника, способного ценить рутьерское чувство юмора. Гримберт к своему ужасу едва сам не захохотал, но сдержался.

Поле битвы осталось за «Смиренными Гиенами», но что-то подсказывало ему, что Вольфрам Благочестивый, узнав об исходе боя, едва ли распорядится устроить торжественный парад в честь этого сражения. Его воинство скорее походило на окровавленную и взъерошенную крысиную стаю, чем на ликующую армию, отмечающую свой триумф. Слишком много выпотрошенных и освежеванных тел осталось лежать в снегу. А те, кто остались стоять на ногах, выглядели чертовски плачевно.

Отряд Виконта, принявший на себя первый удар, исчез почти подчистую, будто и не существовал вовсе. Вспомогательные партии Ржавого Паяца и Блудницы выглядели так, словно на них вместо соломенных чучел упражнялись в штыковом бою императорские гвардейцы, хорошо, если они сохранили хотя бы треть своего состава. Элитные забойщики Бальдульфа тоже являли собой не самое отрадное зрелище, и уж явно не ощущали

себя триумфаторами.

— Потрепало как портовых шлюх в день возвращения крестоносцев, — пробормотала Орлеанская Блудница, поднимая с земли свою саблю, выгнутую, точно побывавшую под колесами грузового трицикла, — Сколько душ мы тут оставили? Полсотни?

— Даже если сотню, — отозвался Ржавый Паяц, — Добыча окупит потери сполна.

Бальдульф кивнул.

— Семья каждого погибшего получит по флорину. И два тройных денье сверху, если тот был единственным сыном. Слово Вольфрама.

Рутьеры одобрительно заворчали. Кажется, это вполне отвечало их представлениям о справедливости. Лишь Орлеанская Блудница сохраняла мрачную задумчивость, разглядывая беззащитный караван. Шлема она по обыкновению снимать не стала, но ее глаза, видневшиеся в прорези забрала, горели недобрым серым светом. И это не сулило ничего хорошего.

— Плата — это хорошо, — наконец произнесла она, — Но если твои ребята, Паяц, собираются получить щедрую плату за сегодняшний бой, я бы советовала им уже сейчас запасаться бочонками, а если их не хватит, то ведрами и тазами.

Плоти на лице Ржавого Паяца сохранилось недостаточно, чтобы он обладал способностью хмуриться, но он привык компенсировать это голосом, которому были доступны тысячи самых разных интонаций одинаково неприятного свойства.

— Что это ты несешь? — скрипуче поинтересовался он, — Какие еще ведра?

— Чтобы разделить между собой захваченную добычу, — хладнокровно произнесла Блудница, — Посмотри-ка на тот вагон.

Ржавый Паяц, проследив за направлением ее взгляда, осекся.

— Во имя всех ересей мира, что еще за…

Огонь «Убийцы» был безжалостен и эффективен, но не всегда безукоризненно точен. На боку ближайшего вагона Гримберт разглядел целую россыпь пулевых отверстий. Слишком аккуратные для аркебуз или картечи, без сомнения, они были оставлены пулеметами «Убийцы». Но ведь он не стрелял по каравану, он стрелял по… Мгновением позже он и сам вспомнил, как это произошло.

Один из Ангелов оказался ловок — чертовски ловок даже по меркам своих нечеловечески проворных собратьев. Он метнулся к «Убийце» с левого фланга и оказался достаточно хитер или достаточно удачлив, чтоб дважды обмануть приводы наводки. Звенящие свинцовые плети дважды миновали его, даже не зацепив, зато третья задела за плечо и закрутила на месте, а

четвертая превратила маску из мрамора и серебра в рассыпающееся керамическое крошево. Пули, что он выпустил, не ушли в воздух, они задели один из вагонов и, конечно, с легкостью вскрыли обшивку, как солдатский штык вскрывает консервную банку.

— Никчемный мальчишка, — проскрипел Ржавый Паяц, — Он продырявил нашу добычу своими чертовыми пулеметами! Полюбуйтесь, из нее хлещет, как из дырявой бочки! Ах ты дьявол! Вольфрам будет в ярости, уж можете мне поверить! А если это драгоценное оливковое масло, что идет по лиарду за один сетье! Или мирра. Святоши платят за хорошую мирру больше, чем за лучшее туринское вино!

— Не будет, — произнесла Орлеанская Блудница удивительно безжизненным тоном, — Потому что это не масло. И не мирра. Это кровь.

* * *

Глаза не подводили ее. Сенсоры «Убийцы» тоже различали густую жидкость, хлещущую из пробитых пулями отверстий в пузатом боку вагона. Жидкость, которая превращала вытоптанный снег под ногами рутьеров в дурно пахнущую топь венозного цвета. Гримберту вдруг показалось, что он, несмотря на все фильтры своего доспеха, чувствует этот запах — кислый медный запах, который ни с чем нельзя спутать.

— Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь, — пробормотал Виконт Кархародон, столь потрясенный, что даже перестал поскуливать, держась за свою изувеченную руку, — Адская срань! Мне не привыкать ни к виду кровоточащего врага, ни к кровоточащей женщине, однажды я даже своими глазами видел кровоточащую икону, но вагоны на моей памяти еще не кровоточили…

Прежде чем кто-то успел опомниться, Олеандр Бесконечный в несколько беззвучных шагов оказался возле замершего каравана. Запирающий механизм вагона был снабжен массивным замком, к тому же тщательно опечатанным, но удар люцернского молота раздробил его легко, словно глиняную лепешку, только посыпались вниз осколки.

Олеандр молча взялся рукой за запор и толкнул его, заставив тяжелую боковину вагона откатиться по направляющим, обнажая содержимое.

— Во имя анальных трещин Папы Римского, — пробормотала

Орлеанская Блудница, глаза которой приобрели похожий на свежий пепел оттенок, — Что это за дерьмо?

Вагон был заполнен под завязку, но не штабелями шелка и не венецианской посудой. Не было там и емкостей с драгоценными специями или тончайшего богемского стекла, прозрачного как перья архангелов. Все свободное пространство вагона было уставлено громоздкими бочками, подогнанными одна к другой. Только едва ли эти бочки были изготовлены трудолюбивыми туринскими бондарями.

Полупрозрачные, как кости поверженных Ангелов, они были наполнены тяжелой вязко колышущейся жидкостью, которая выглядела черной, как полуночное небо. Судя по пузырькам на поверхности и обилию шлангов, сложной паутиной тянущихся изнутри, все эти сосуды были подключены к сложной системе аэраторов, фильтров и Бог знает, чего еще. А еще в вагоне царил холод, от которого на бочках серебрилась изморозь. Холод, который Гримберт отчего-то ощутил сквозь толстую броню своего доспеха.

Не бочки. Медицинские контейнеры. А вязкая жидкость, колышущаяся в них, журчащая из нескольких пробитых бочек, наполняющая морозный воздух запахом старой меди, это…

— Кровь, — Бальдульф произнес это каким-то удивленным, не свойственным ему тоном, — Чтоб мне пресвятая Мария отдалась за медный обол, это чертова кровь. Да сколько же ее здесь?

— Каждая бочка примерно с мюид[39], - негромко ответила Блудница, тоже потрясенная, — Здесь чертова уйма крови, даже если брать один вагон. А если все они…

Блудница не закончила — не было нужды. Рутьеры, выстроившись перед распахнутым вагоном, молча наблюдали, как журчащие багровые ручьи превращают утоптанное снежно-кровавое месиво в подобие вязко колышущегося нефтяного пруда. Ржавый Паяц безотчетно скрежетал своими когтями, видно, и сам впервые видел что-то подобное.

Поезд, налитый кровью, подумал Гримберт, ощущая, как дурнота внутри него переливается в какое-то новое качество. Огромный механический москит, ползущий сквозь заснеженный лес, чье брюхо наполнено тысячами мюидов крови. Не той, которой мы привыкли причащаться в храмах, другой. Самой настоящей, может, еще теплой…

— Здесь больше крови, чем императорский сенешаль пролил за время своей последней компании, — пробормотал Бальдульф, не в силах оторвать взгляда от истекающих багряной жидкостью сосудов, — Это ж сколько человек надо досуха выжать, чтоб

столько бочек заполнить?

— Тысячу? — вяло предположила Блудница, — Десять тысяч?

«Смиренные Гиены» переминались, не решаясь подойти к страшному вагону. Привыкшие к крови — своей и чужой — все они сейчас, должно быть, ощущали нечто противоестественное в этом страшном грузе. Та кровь, которую они привыкли выпускать своим противникам, была горячей, живой, а эта… Эта была упакована в контейнеры с какой-то холодной медицинской заботой.

— Ах, пахнет-то как сладко! Накажи меня Господь, ничто не пахнет так, как свежая кровь, даже вересковый мёд! Должно быть, это через эритроциты…

Бражник, отдуваясь, подошел к распахнутому вагону, переступая через мертвые тела. Кулеврину он держал небрежно на плече, как пастухи держат свои посохи. В свободной руке он нес небольшое серебряное ведерко.

— Кровь, значит, настоящая? — негромко спросил Бальдульф.

Бражник пошевелил носом. На его бугристом лице ноздри казались лепестками закрученного алого мяса.

— И высшего сорта при том, насколько я возьмусь судить. Отфильтрованная, почти без консервантов, их-то я сразу чую. Может, неделю назад разлили, а может, даже того меньше.

— И где… куда этот груз мог направляться?

Бражник удивился.

— На сангвинарную фабрику, куда же еще. Там ее почистят еще разок, разложат на плазму, отфильтруют, вычистят грязь, да и отправят по делу. Что сеньорам перельют, что для выращивания всяких бактериальных культур пойдет, что в лаборатории…

Не обращая внимания на хлюпающее черное месиво под ногами, Бражник подставил серебряное ведерко под ближайшую струю и стал зачарованно наблюдать, как оно наполняется.

— Извольте извинить, ежли что, — пробормотал он извиняющимся тоном, — Токмо мне это для здоровья положено, моя-то собственная уже жидковата, печень, дрянь старая, совсем чистить перестала…

— Чистая, значит, — Орлеанская Блудница кивнула, но, кажется, больше сама себе, — Значит, и стоит недешево?

Бражник фыркнул.

— Это само жидкое золото! — возвестил он, взбалтывая свое ведерко и пытаясь разглядеть осадок, — Каждая тутошняя капля стоит поболее, чем самые драгоценные духи из Прованса. Сразу видать, умеючи готовили. Выжимали на совесть.

Гримберт стиснул зубы, чтоб запереть в желудке судорожно

извивающуюся, как ядовитый паук, дурноту.

Не просто механический москит, насосавшийся крови. Кто-то готовил этот караван, кто-то сливал тысячи литров живой еще крови, кто-то заботливо наполнял бочонки и настраивал аэраторы и холодильные установки, чтоб ценный товар не испортился в пути. Он бы и не испортился, кабы слепому правосудию не вздумалось отправить ему наперерез грязных хищников-гиен.

Мало того, если шпионы Вольфрама были правы, этот страшный караван отправлялся не откуда-нибудь, а из Турина. Кто-то в Турине, под самым боком у отца, наладил страшное дело на человеческой крови, безжалостно сливая ее и отправляя тайной дорогой прочь, чтоб обменять у кого-то на золото и серебро.

Мысль об этом, черной змеей скрутившаяся в животе, мгновенно остудила еще кипящую от адреналина кровь, превратив ее в холодную слизь. Деньги на крови. Не требовалось разбираться в цифрах так хорошо, как Аривальд, чтобы понять — за содержимое этого каравана заплатили своими жизнями тысячи, тысячи людей. Может, это были никчемные крестьяне, бедные ремесленники и жалкие калеки, но даже они были рабами Божьими, не заслуживающими такой участи.

Гримберт с трудом удержался от того, чтобы не разнести булькающие бочонки в черепки одной длинной очередью, истратив остатки патронов. Распахнувший свое чрево вагон показался ему чем-то сродни гигантской раке, только чудо, находившееся внутри, было проклятым чудом, явленным самим дьяволом.

Пожалуй, «Смиренные Гиены» теперь представляли собой не самую большую проблему маркграфа Туринского. Их, по крайней мере, можно перетравить, как зайцев, отправив в погоню рыцарское воинство. Но это…

Нет, подумал Гримберт, рыцари тут не помогут. И даже мощнейшие туринские реактивные минометы тоже будут бесполезны. Придется искать, вскрывать, допрашивать. Может, даже привлекать Святой Престол и самое жуткое и зловещее его дитя — Инквизицию. Придется вскрывать зловонные язвы, чтоб обнаружить источник этого страшного чуда, вскрывать, не обращая внимания на запах.

Но отец справится. Гримберт впервые ощутил, как в душе образуется какая-то твердая, несущая успокоение, жилка. Отец, без сомнения, справится. Может, про его мудрость не ходят легенды, как про мудрость Алафрида, может, он не такой специалист по шахматам, как Папский камерарий, но в его жилах течет то, что на долгие века сделало рыцарей Турина самой

могущественной силой восточных окраин империи, грозой еретиков, лангобардов и мятежников — неистребимый рыцарский дух. Отец докопается до правды, сколько бы некрозных язв ни пришлось ему вскрыть. И уничтожит мерзавцев, делающих деньги на христианской крови.

— Значит, все это до черта стоит? — резко спросила Блудница, — Что ж, нюх не подвел старого хрыча, добыча и верно богатая…

Бражник удовлетворенно кивнул, взвешивая в руке серебряное ведерко, наполненное тягучей густой жидкостью, отчего передернуло даже Ржавого Паяца. Взгляд у него был алчный, как у пьяницы, разжившегося изысканным вином с графского стола.

— За этот караван, ежли его груз продать, можно снарядить, пожалуй, отдельный Крестовый поход! И не на телегах, как бывало, а всамделишный, чтоб земля от рыцарских ног звенела. Что ж удивительного, что его альбафратрумы охраняли!

* * *

Бальдульф и Блудница встрепенулись. Одновременно, как хорошо выдрессированные псы.

— Что?

— Кто?

Бражник подошел к ближайшему распластанному в снегу Ангелу. Удивительно, но его изломанное тело даже в смерти не потеряло своей нечеловеческой изящности, разрубленное напополам страшным ударом лицо кротко взирало на рутьеров потухшими глазами, похожими на полупрозрачные плоды райского древа. Бражник коротко пнул сапогом свисающую ангельскую руку. Только сейчас Гримберт смог разглядеть, что плоть на кончиках ее пальцев была ободрана, обнажая не кости, но тусклые узкие лезвия.

— Альбафратрумы, — легко пояснил командир рутьерской артиллерии, — Наемники, значит, и из дорогих. Я-то сам с ними дела не имел, но наслышан. Редкие птицы, особливо в здешних краях.

— «Альба Фратрум», — Виконт Кархародон с трудом держался на ногах, не обращая внимания на изломанную окровавленную культю, торчащую из его плеча, — Это на латыни. «Белое Братство».

Бражник пожал своими кривыми скособоченными плечами.

— Мож и так. Вам оно виднее. Я-то сам с этими господами не

работал, только слышал всякое.

Бальдульф нахмурился.

— Это святоши?

— Никак нет. Это светский орден, мирской, значит. Деликатные господа, берутся не за всякое дело, а если берутся, то плату требуют только венецианскими цехинами, такое уж у них условие. Тела у них перестроены по высшему разряду, легкие как перышко, а рубятся ну словно черти. Кабы не мессир рыцарь, от вас бы, пожалуй, одно кровавое тряпье и осталось. И от меня со всей собачьей артиллерией…

— Белое Братство, — Блудница кивнула, что-то припоминая, — Да, мне тоже приходилось о них слышать. Не солдаты, скорее тайные агенты — курьеры, телохранители, соглядатаи. Говорят, их услуги стоят столь дорого, что только герцогам по силам их нанимать.

— Дороже, чем поезд, налитый кровью, как насосавшийся комар? — ехидно осведомился Ржавый Паяц, — Как по мне, от этого дела пахнет сеньорскими интригами, и посильнее, чем от дохлого осла на рыночной площади. Ясное дело. Какой-то высокородный ублюдок выжал досуха пару тысяч своих подданых, чтоб заработать себе пару вагонов золота. И отправил по-тихому через глухой лес, приставив охрану из этих белых ублюдков. Вот и…

Единственным, кто его не слушал, был Олеандр Бесконечный. Неестественно спокойный, вечно сосредоточенный, неизменно молчаливый, он стоял в стороне, утратив интерес к истекающему кровью вагону, и крутил что-то в своих длинных ловких пальцах, пристально рассматривая. Гримберт не сразу понял, что это — какой-то увесистый ком из оплавленного металла, но рутьер разглядывал его так пристально, точно тот был сложным и дорогим украшением.

«Что это?» — вдруг спросил Аривальд. Внезапно, как всегда спрашивал в последнее время.

Гримберт хотел было досадливо шикнуть на него, заставив убраться обратно в чертоги воображения, но сдержался. И даже заставил «Убийцу» увеличить изображение в визоре, сфокусировав камеры.

Не просто ком стали, понял он через несколько секунд, какой-то хитрой формы и оттенка.

Печать. Та самая печать, которую Олеандр снес с опломбированного замка, отпирая вагон. Понятно, почему она привлекла внимание рутьера — металл был тускло-серебристым, причудливо блестящим на изломах.

Но это было не серебро.

Гримберт ощутил, как ожесточенно стучащее под ребрами сердце замедляет свой бег.

Ему не требовалось большое увеличение, чтоб разглядеть детали печати. Он и без того знал их в совершенстве, весь образованный ими сложный узор из едва видимых травленых линий. Потому что часто украдкой рассматривал, пробравшись в отцовский кабинет.

Телец, вставший на задние ноги, окруженный сложной вязью из математических символов и хитро устроенных крестов. Печать была изготовлена не из серебра и не из стали, а из сложного сплава различных элементов, состав которого охранялся не менее тщательно, чем казна Туринской марки. Металлический ком, который вертел в своих руках Олеандр, имел уникальный изотопный состав, а кроме того — еще две или три степени хитроумной защиты, замаскированных на высочайшем уровне.

Все эти меры предосторожности служили одной-единственной цели. Подтвердить всякому сомневающемуся лицу, что человеком, запечатавшим замок, был не какой-нибудь самозванец, а маркграф Туринский собственной персоной.

* * *

Сердце сделало пару тяжелых затухающих ударов.

Кажется, мироздание избавило его от неприятной работы. Не придется докладывать отцу о страшной находке, сделанной в Сальбертранском лесу. Отец и так знает о ней. Это он отправил караван с его страшным грузом в путь. Это он собственноручной опечатал драгоценные вагоны. Тысячи литров свежей крови, слитой на сангвинарных фабриках. Крови, рожденной в Туринской марке, как рождены виноградные лозы, только куда более густой, чем сок их плодов.

Отец знал.

Сердце неуверенно заколыхалось в груди, точно вялая амеба, пытающаяся найти более подходящую форму.

Отец не случайно лишил своего внимания Сальбертранский лес. Не потому, что не заботился о землях предков. Не потому, что экономил на его охране. Он просто не хотел, чтобы кто-то из его собственный егерей или рыцарей наткнулся на этот страшный груз, направленный тайными дорогами через глухие места. Не знал же он, в самом деле, что его беспутный отпрыск-сорвиголова в компании со своим оруженосцем, таким же пустоголовым мальчишкой, отправится в Сальбертранский лес, чтобы вершить рыцарские подвиги…

Караван, охраняемый молчаливыми Ангелами из Белого Братства, двигался из Турина на север. На север, в…

«В Женеву, — спокойно произнес Аривальд, забрезжив искрой в темном уголке его сознания, похожего на душный сырой подвал, — Этой кровью твой отец выплачивал свой долг графу Лауберу».

Нет.

Нелепица.

Совершенно бессмысленно.

Черт, до чего же медленно бьется сердце, как бы вовсе не остановилось…

Отец — свет туринского рыцарства, гордость бесчисленного множества венценосных предков, маркграфов Туринских, защитник Востока, бесстрашный владетель и сподвижник христианской веры. Рыцарь никогда не станет платить долг кровью. Своей — может быть, но не своих подданных. Это противоречит рыцарским добродетелям и обетам, это отвратительно и противоестественно, это…

Воображаемый Аривальд, удобно устроившийся в бронекапсуле, махнул рукой в сторону замершего каравана. Крови из его вагонов натекло уже столько, что растерянно бродящие вокруг рутьеры с трудом вытягивали сапоги.

«Может, не самый плохой подвиг для первого раза, а, Грим? — спросил он тихо, — Уж точно лучше, чем подвиг мессира Брауштейна, съевшего сорок жареных уток за раз. Но, наверно, в церковный информаторий такие не вписывают…»

Сердце билось оглушительно быстро, однако — забавное дело — кардио-датчики «Убийцы», отслеживающие его сердечный ритм, уверяли, что оно делает не больше семидесяти ударов в минуту. А ведь сердце ухало так громко и быстро, что потряхивало все тело.

— Чувствуете? — Бальдульф вдруг резко поднял руку.

Он был единственным из рутьеров, не погрузившимся в тягостную задумчивость. И сейчас вдруг напрягся, вслушиваясь во что-то.

Во что? Гримберт обвел распростертые изрубленные тела взглядом, силясь разглядеть движение. Быть может, кто-то из Белого Братства уцелел? Даже если так, едва ли он представляет опасность, но…

— Как будто гул какой-то… — неуверенно заметил Бражник, наблюдая за тем, как по поверхности заполненного до краев ведерка в его руке бегут едва заметные круги, — На подземную дрожь похоже. В наших краях говорят, так земля волнуется, ежли, значит, отцеубийцу без молитвы захоронить. Один епископ даже

говорил…

— Идиоты.

Ржавый Паяц развернулся на своих изъеденных некрозом и ржавчиной ногах. Похожий на полуистлевшую куклу, обожженный жаром схватки, сейчас он смотрел на своих уцелевших Гиен с презрением.

— Вы что, еще не сообразили?

Орлеанская Блудница вздернула бровь.

— Что мы должны были сообразить, безумный старик?

— Караван, — Паяц ткнул искореженным скрипящим пальцем в истекающий кровью вагон.

— Ну?

— Стража из Белого Братства, — он указал пальцем на мертвых Ангелов.

— Да?

— Здесь тысячи мюидов свежей чистой крови. Целое богатство. Неужели вы думаете, что тот, кто его отправил, понадеялся бы на две дюжины никчемных овцелюбов? Что он не приставил бы к своему сокровищу защиту понадежнее?

— Но мы…

Ржавый Паяц рявкнул так, что крик едва не разорвал его ветхое горло:

— Прочь, идиоты! Уходите!

Это не мое сердце так оглушительно бьется, внезапно понял Гримберт. Кардио-датчики «Убийцы» не врали. Этот звук не был рожден в бронекапсуле, он поступал извне. Тяжелый равномерный стук, доносящийся невесть откуда, но заставлявший пропитанную кровью кашу под их ногами едва заметно вздрагивать.

Первым, кто это понял, был Бальдульф.

— Назад! — рявкнул он, разворачиваясь к Гиенам, — Прячьтесь!

Над заснеженным лесом, укрывавшим извилистую дорогу, вдруг качнулось что-то грузное, тяжелое, точно из мерзлой плоти Сальбертранского леса вдруг выскочил на поверхность огромный фурункул. Только фурункул этот состоял не из рыхлой земли, он тяжело качался, раздвигая деревья, и даже с изрядного расстояния был хорошо слышен тонкий треск лопающихся стволов.

Они быстро все сообразили, кажется, еще быстрее, чем Гримберт успел оправиться от неожиданности. В конце концов, они были рутьерами, а значит, самыми совершенными хищниками из всех. Может, не все из них поняли, что происходит, но подчинились древним рефлексам, приказывающим убираться

прочь.

Рутьеры бросились прочь от замерших вагонов, оставляя в рыхлом снегу алые следы.

Бальдульф несся быстрыми короткими прыжками. Ржавый Паяц, прихрамывая и богохульствуя, мчался за ним. Блудница и Олеандр тащили за собой потерявшего сознание Виконта. Прочий сброд устремился следом за ними.

Может, «Смиренным Гиенам» не доставало понимания тактических принципов, дисциплины и самопожертвования, но если они и чуяли что-то в совершенстве, так это момент, когда надо спасать свою шкуру.

Но они, конечно, не успели.

Часть 8

Гримберту доводилось видеть куда более внушительные машины. Чего стоил один только «Великий Горгон», самый тяжелый рыцарский доспех восточных рубежей. Когда, управляемый Алафридом, он ступал на мостовую Турина, чтобы принять участие в ежегодном июньском параде во славу Иоана Крестителя, из домов выскакивали даже немощные старики. Не потому, что хотели поглазеть на торжественное шествие герцога де Гиень, а потому, что боялись, как бы их ветхие дома не обрушились им же на головы — от поступи «Горгона» земля ходила ходуном.

Великанов сродни «Великому Горгону» во всей империи набралось бы едва ли полдюжины, на востоке машины такого класса и подавно были редкими гостями. Туринские рыцари, закаленные в жаре беспрестанных стычек с лангобардами, предпочитали доспехи полегче, упирая не столько на монументальную броню и орудия титанической мощи, сколько на подвижность и универсальность.

Гримберт с детства любил разглядывать гравюры, изображающие чемпионов прошлых веков — похожего на исполинского стального дракона «Сотрясателя Небес», ощетинившегося жерлами реактивных минометов «Беспощадного Праведника», грозного стотонного «Патриарха» — однако вынужден был признать, что в предгорьях Альб, посреди каменистых пустошей и коварных кряжей, такие махины, больше похожие на передвижные крепости, принесли бы своим хозяевам ужасно много хлопот. Вот почему рыцари восточных рубежей, включая знамя маркграфа Туринского, чаще всего делали выбор в пользу крейсерских моделей, совмещающих грозный арсенал с высокой подвижностью и способностью вести бой на любых дистанциях.

Машина, крушившая на своем пути Сальбертранский лес, относилась к среднему классу, однако между ней и «Убийцей» была пропасть, пропасть, в которую песчинкой скатилось совсем переставшее биться сердце Гримберта.

Восемьсот квинталов, подумал он, глядя как деревья щепками лопаются на его пути, чтоб меня черти взяли, если эта махина весит меньше восьми сотен.

«Сорок тонн, — мгновенно поправил его Аривальд, — Учись использовать имперскую систему счислений, бестолочь, если не хочешь прослыть при дворе варваром с восточных окраин!»

Он был огромным, как крепостная башня, только башня не взирающая за тобой свысока, навеки занявшая свое место в стене и спокойная, как все изваяния, а оглушительно ревущая, источающая дым и хищно ворочающая стволами укрепленных в спонсонах орудий.

Не просто великан из сказки. Сама расплата в ужасающем стальном обличье.

Гримберт уже отчетливо видел ее боевую рубку, плывущую вровень с верхушками деревьев. Не рубленная, острых обводов, как на машинах из Базеля, и не раздутая, как у гидроцефалов из Аугсбурга — приплюснутая, тяжело ворочающаяся, прикрытая с боков массивными бронекуполами огневых точек. Кажется, подобные башни венецианские рыцари именуют «Жабьей головой». Рыцарь и сам был похож на жабу — огромную, смертоносную, бронированную жабу весом в сорок тонн, легко сметающую деревья на своем пути. И чертовски плотоядную.

Никаких ярких символов на броне, служащих прекрасными мишенями для вражеских наводчиков, никаких броских девизов и выспренных цитат из Святого Писания сусальным золотом. Это не турнирная машина, это воин. И двигался он так, как полагается двигаться воину, порывисто, хищно, обходя вагоны по сужающейся концентрической окружности. Гримберт знал эту траекторию, сам не раз чертил ее мелом на доске под насмешливым взглядом Магнебода. Сам же и пытался выполнять — весьма бездарно, кажется. Боевой маневр сближения, так эта траектория именовалась в трудах по тактике. Имеющий целью выход на рубеж действительного огневого контакта с возможностью контролировать дистанцию боя. Таким маневром не приветствуют случайных путников.

Этот рыцарь, разметающий на пути деревья, шел не защищать. Он шел вершить возмездие.

Этот доспех не нес на себе ничего из того, чем обыкновенно украшают свои доспехи рыцари. Ни гербов, ни эмблем, ни изречений святых отцов, ни даже тактических обозначений и символов. Одна только голая сталь, покрытая краской под цвет пушечного металла.

Нарочно не двигался вместе с караваном, понял Гримберт, ощущая, как его тело съеживается в тесном коконе бронекапсулы, делаясь еще меньше. Не хотел демаскировать его своей тушей. Вместо этого держался в нескольких лигах позади, готовый прибыть на помощь по первому же сигналу. И, конечно, получил его, этот сигнал, пусть и с опозданием — кто-то из Ангелов, должно быть, успел перед смертью отправить в эфир короткую

зашифрованную команду. Запоздавшую, но от этого не ставшую менее губительной для остатков «Смиренных Гиен».

Должно быть, этот рыцарь неважно ориентировался в гуще заснеженного Сальбертранского леса, а может, проявил мимолетную беспечность, оторвавшись слишком далеко от тех, кого должен был защищать. И теперь он поспешно исправлял свою ошибку.

* * *

Гримберт ощутил тончайшие ледяные занозы, испещрившие хребет. Сколько времени у него в запасе? Минута? Три? Судя по тому, как стремительно сокращалась дистанция, может, и меньше минуты.

Бежать, зудели рефлексы. Развернуться и бежать. Прочь от мертвых вагонов, истекающих кровью, прочь от распростертых мертвецов, утопающих в грязной жиже. Полные обороты и…

Рыцарь не бежит с поля боя, но в данных обстоятельствах это не будет бегством, лишь уходом от неминуемой гибели. Нелепо думать, будто «Убийца», вооруженный одними лишь пулеметами, сможет противопоставить хоть что-то этому огромному боевому механизму. У глиняной игрушки и то больше шансов победить в бою против грузового трицикла, чем у него — причинить хоть какой-то ущерб противнику.

«Отступай, — тихо, но твердо приказал ему воображаемый Аривальд, — Отступай, упрямый осел».

Нет. Гримберт помотал головой, ощутив на миг натяжение нейро-шунта. Он не станет отступать. Не от переизбытка рыцарской чести, а от сознания ситуации. Даже если за эту минуту он успеет миновать пару сотен канн, впереди его ждет крутой заснеженный склон. Стены той ловушки, что рутьеры приготовили каравану. Нечего и думать взобраться на него, да еще с поврежденной ногой. Нет уж, если ему суждено погибнуть, пусть тот, кто найдет его доспех, обнаружит пробоины только в лобовой броне, а не позорные отметины в спине.

Гримберт тоскливо усмехнулся, ощущая, как ерзает на своем месте истрепанная, измочаленная, много раз штопанная, душа.

«Жил как самодовольный трус, умер как рыцарь» — может, не лучшая эпитафия для последнего в роду маркграфов Туринских, но, верно, бывают и хуже…

Вражеский рыцарь стремительно приближался. Его орудия молчали, но едва ли оттого, что он боялся пустить их в ход. Сейчас его бортовая аппаратура должно быть лихорадочно

сканировала окрестности, изучая и помечая в его визоре все цели. Просчитывала дистанции стрельбы, поправку, курс сближения и бесчисленное множество факторов, которые Магнебод учил его держать в уме.

Кто он? Наемник, получивший горсть флоринов за несколько дней несложной работы? Может, сам принадлежит Белому Братству?..

Гримберт попытался определить его цифровую сигнатуру, но тщетно. Вражеский респондер функционировал, однако был заблокирован — его владелец не считал нужным демонстрировать свое имя. Обычно так поступали странствующие рыцари, вершащие справедливость и защищающие веру в глухих уголках империи, давшие обет не раскрывать свою личность, но этот… Но этот меньше всего на свете походил на странствующего рыцаря, скорее, на разгневанного охранника, спешащего воздать по заслугам излишне самоуверенной разбойничьей братии.

«Не лезь в бой, — процедил Аривальд сквозь зубы. Не убрался, как полагается галлюцинации, напротив, удобно устроился в бронекапсуле, напряженно наблюдая за приборами, — Бога ради, не дури, Грим. Попробуй коды. Свой личный код».

Мысль колыхнулась крошечным спасительным пузырем, который дал немного свежего воздуха его одурманенному, бьющемуся в панике, рассудку.

— Повышение приоритета, — мысли спутались в столь тугой комок пряжи, что Гримберт предпочел произнести команду вслух, — Личный код — «Синица. Два. Соль. Тинктура. Пасха». Код подтверждения — «Соломон семь-пять-пять-два-девять».

Может, «Убийца» и был учебным доспехом, не стоившим ни гроша в настоящем бою, но он был доспехом наследника маркграфа Туринского, а это давало ему определенные полномочия. Не Бог весть какие, но достаточные, чтобы сломить молчание вражеского респондера, заставив его раскрыть свое имя.

Получилось. Еще миг чужая сигнатура оставалась беспорядочным сигналом, однако быстро преобразовалась в привычные ему и читаемые символы.

«Ревнитель Праведности».

Претенциозно, вычурно, нелепо. Но сейчас не это имело значения. А крохотный символ, появившийся сбоку от имени доспеха. Мощный телец, вставший на задние ноги. Янтарно-золотой на лазурном поле.

Герб Турина.

Кем бы ни был человек, управляющий доспехом, он не был ни

безродным наемником, ни слугой Белого Братства. Он был отцовским рыцарем, присягнувшим Турину, а значит…

— Остановите атаку! — произнес Гримберт, ощущая, как тают последние секунды, как в его сторону разворачивается исполинская бронированная жаба, — Говорит Гримберт Туринский, наследник маркграфа Туринского. «Ревнитель Праведности», немедленно остановите атаку! Произошла ошибка. Умоляю, выслушайте меня. Я объясню вам ситуацию, но сперва…

Расстояние между ними было небольшим, потому и снаряд и грохот выстрела достигли его почти одновременно.

* * *

«Ревнитель», сблизившись на дистанцию действенного огня, сделал небольшую ошибку. Вполне простительную для новичка, но имеющую шанс обернуться для него ощутимым подзатыльником, увидеть ее Магнебод. Вместо того, чтобы стрелять, подгадав момент, на середине шага, он выпалил в тот миг, когда его доспех переносил тяжесть бронированного корпуса с одной ноги на другую. Не то понадеялся на свои стабилизаторы и гироскопы, не то слишком спешил пустить кровь.

Гримберт отчетливо видел, как один из стволов главного калибра, похожий на выпирающий из жабьей головы шип, изрыгнул дымный черный язык. Пятидюймовка, только и успел подумать он, не меньше…

Снаряд разорвался в нескольких туазах от остановившегося тягача, разметав мертвых Ангелов и мертвых людей, взметнув над землей грязно-серую вуаль из пороховых газов, золы человеческих тел и медленно оседающего снега. Визор «Убийцы» на миг обратился непроглядным черным колодцем, в котором чуть было не захлебнулся Гримберт — ударная волна, прокатившаяся над землей, чувствительно тряхнула его несовершенные электронные потроха.

— Мессир, прекратите огонь! Говорит Гримберт! Прекр…

Второй снаряд лег еще ближе к нему, заставив «Убийцу» покачнуться. Гримберт не слышал визга осколков, барабанящих по бронированным ногам, но увидел, как разлетается вокруг него снег.

Он целился не в рутьеров, вдруг понял Гримберт. Сенсоры «Ревнителя», на порядок превосходящие несовершенные глаза «Убийцы», задолго до выстрела должны были подсказать ему, что тут нет целей для его орудий. Все рутьеры или мертвы или сбежали. Но он выстрелил. А значит…

Значит, целился в меня.

«Иди! — рявкнул ему в ухо Аривальд, — Не стой столбом, олух! Это были пристрелочные, третьим он разнесет тебя в труху!»

Гримберт тронул «Убийцу» полным вперед. Едва ли ему удастся смутить вражеские приводы наводки, но, по крайней мере, не будет изображать неподвижную мишень.

Дьявол, как же тяжело брести в глубоком снегу! Ходовая часть «Убийцы» недовольно заворчала, и Гримберт мысленно представил ее строение, тщась сообщить скрипящим от натуги передаточным шетерням и валам крохи своей собственной силы. «Убийца» был по меньшей мере в два раза легче своего противника и обладал хорошими для доспеха легкого класса ходовыми характеристиками, но ноги его были гораздо короче, чем у преследователи, оттого в глубоком снегу Сальбертранского леса это мнимое преимущество нивелировалось подчистую.

Гримберт мысленно застонал.

Какого черта этот недоумок ведет по нему огонь? Допустим, его снедает ярость, это понятно. Он не справился с возложенной на него задачей. Не оказался в нужном месте в нужное время. Подвел тех, кого обязан был защищать, не пришел на помощь, проявил бессилие. Это не просто серьезный проступок для человека, принявшего рыцарские обеты, это смертельное оскорбление, которое он вправе смыть кровью обидчика.

Но он не может не видеть, что ведет бой не против противника равного класса, а против учебного доспеха. Мало того, доспеха, который ему, как и всем прочим рыцарям Турина, прекрасно знаком. Отцовские рыцари охотно зубоскалили на этот счет, это они присвоили «Убийце» множество шутливых прозвищ — «Убийца Мух», «Жестяной Карапуз», «Сотрясатель Песка» — это они, соревнуясь в остроумии, сочиняли его подвиги.

Хозяин «Ревнителя Праведности» должен был узнать знакомый доспех, принадлежащий сыну своего сеньора. Должен был, но…

Он в ярости, подумал Гримберт, пытаясь молитвами придать бредущему в глубоком снегу «Убийцу» хоть толику скорости. Потому и не смотрит, кто ему противостоит, слепо бьет на поражение. И сам воет от бешенства, сплетясь со своей машиной в единое обжигающее целое. Даже если мне удастся установить с ним связь, никаких переговоров не выйдет. Силясь восстановить опозоренную рыцарскую честь, он выйдет на бой против самого Сатаны — и всадит в него полдюжины оболочечных бронебойных, прежде чем умрет.

«Тупица, — недовольно буркнул Аривальд, наблюдающий из

своего угла, — Ты недостоин рыцарского доспеха, тебе нужен индюк с седлом…»

«Заткнись, Вальдо! — мысленно взвыл Гримберт, — Бога ради, за…»

«Гиены изукрасили твоего „Убийцу“ так, что родная мать не узнает. Неудивительно, что „Радетель“ не узнал его. Он принял тебя за чужака. За разбойника в рыцарском доспехе или окончательно опустившегося рутьера, примкнувшего к бандитам ради грабежа. Неудивительно, что…»

Гримберт резким маневром швырнул «Убийцу» влево. Кажется, вовремя — покосившийся кряжистый вяз в пяти туазах прямо по курсу вдруг лопнул облаком горящей щепы и скачущих по снегу мелкого хвороста.

«Но мой респондер! — мысленно выкрикнул он, — „Радетель“ может не узнать мой доспех под всей этой дрянью, но мою цифровую сигнатуру он видит!»

«Уверен? — поинтересовался воображаемый Аривальд с воображаемой усмешкой, — Ты уверен, что твой респондер все еще функционирует после того, как „Гиены“ задали тебе трепку? После того, как вдоволь покопались в его потрохах, якобы ремонтируя?»

«Но…»

«Двигайся, проклятый кретин! Двигайся! И не напрямую! Черт, ты не на параде! Ломай курс!..»

* * *

Наверно, со стороны это было похоже на разнузданную кадриль, входящую в моду при императорском дворе, танец, едва не проклятый Папой Римским, призванный не воспевать естественную грацию человеческого тела, но высмеивать ее, искажать и порочить. Гримберт резко бросал «Убийцу» вперед, чтобы спустя секунду заложить резкий поворот или сменить передачу.

Рывок следовал за рывком, и каждый отдавался в бронекапсуле болезненными толчками, которые Гримберт ощущал даже через плотный гамбезон и онемение нейрокоммутации. Ни одна машина не может долго функционировать в таком безумном режиме. Он уже слышал, как сипит гидравлика, не рассчитанная на подобные нагрузки. Ему пока удавалось уходить от прицельного огня «Ревнителя», но ценой катастрофического снижения собственного ходового ресурса.

Четвертый выстрел. «Убийца» успел миновать замерший

тягач, укрывшись за его стальной тушей и выиграть себе тем самым несколько секунд жизни. Жизни, которая вот-вот оборвется в оглушительном грохоте разрыва.

«Ревнитетель», рычащий позади, не собирался останавливаться, чтоб предложить рыцарскую схватку по правилам артиллерийской дуэли. Напротив, неумолимо сокращал дистанцию, выходя на тот рубеж, на котором промах невозможен, исключен статическими величинами.

Еще поворот. Рывок. Поворот.

Безумный танец двух стальных хищников на истоптанной кровавыми отпечатками арене.

Пятый выстрел ударил еще дальше, на опушке, взметнув в воздух обломки древесных стволов и вырвав из земли узловатые корни. Зато шестой…

Шестой почти попал.

Он угодил аккурат в вагон, за которым пытался скрыться «Убийца», с оглушительным грохотом снеся крышу, развороти корпус и едва не вывернув его наизнанку. Еще хуже пришлось уязвимому грузу. Это было похоже на беззвучно лопнувшую исполинскую язву, напитанную кровью. Из развороченных бочек наружу хлынул багряный поток, закрутив «Убийцу», точно щепку в бурной реке, мгновенно превратив снег у него под ногами в чавкающее болото, в котором мгновенно застряли ноги.

Визор на мгновенье стал алым. Не таким алым, как вино, что подавали в маркграфском палаццо. Багрово-алым, как старый сургуч.

Это кровь, подумал Гримберт. Мой доспех с головой окатило кровью.

Не имеет значения.

Он попытался вытянуть «Убийцу» на твердый грунт, но его стальные ноги бессильно буксовали в грязно-алом месиве. Точно муха в тазу с вареньем. Точно комар, приклеившийся к коже. Или…

Мир в визоре поблек и потерял четкость, сделался гладким, едва ощутимым, точно тончайшая вышивка шелковой нитью на гобелене. Сгладился до того, что едва было не растворился. «Убийца» зашатался, как пьяный.

Попадание. Не прямое, но достаточно близкое, чтоб считаться прямым.

Его стальные ноги, едва не сломанные взрывной волной, сохранили функциональность, но тончайшие системы, соединявшие их с нервным центром, туазы электрических кабелей и силовых передач, получили внушительный удар.

Сейчас добьет, подумал Гримберт, напрягая свое

бронированное тело до звона стальных сухожилий. Сейчас…

«Ревнитель Праведности» замер, остановившись от него в каких-нибудь сорока метрах. Не хотел портить завершающий выстрел. Мразь. Наверно, будет целить ровно в бронекапсулу, скрытую подобием шлема.

Чистое попадание, которым потом можно будет хвастать среди собратьев.

Гримберт позволил своему телу бессильно обмякнуть в бронекапсуле.

Так даже лучше, наверно. Никакой боли. Только растянувшееся на километры тревожное мгновенье, звон в прозрачном морозном воздухе.

Когда он откроет глаза, перед ним будут райские кущи.

Интересно, ему позволено будет войти в них прямо в доспехе? Или у Господа Бога учрежден на этот счет какой-то протокол?..

Вместо одного гулкого выстрела, которого он ждал, обмерев от напряжения, Гримберт услышал раскатистый неровный залп. Снег вокруг изготовившегося к стрельбе «Ревнителя» прыснул во все стороны, точно поверхность пруда, в которую угодила горсть брошенных юным сорванцом мелких камней. Из пластин лобовой брони полетели быстро гаснущие оранжевые искры.

Рутьеры.

Это не был слаженный залп вроде того, которым «Смиренные Гиены» едва не погубили в свое время «Убийцу». Скорее всего, у пушкарей Бражника, укрывшихся на склонах со своими допотопным орудиями, попросту не выдержали нервы при виде приближающегося великана, вот они и начали палить почем зря. Не выверенная, лишенная корректировки и команд, их пальба была беспорядочной, рваной, причиняющей больше грохота, чем вреда.

«Ревнитель» недоуменно поднял бронированную жабью голову. Пули, сминаясь, безвредно отскакивали от его покатого лба, бессильные оставить на ней даже вмятину. Гримберт едва сдержал злую усмешку. То, что для учебной машины представляло серьезную опасность, для настоящего рыцаря было лишь докучливым треском сверчков в высокой траве.

— Не стрелять! — взвыл где-то далеко Бражник, — Не стрелять, сучьи дети! Позиции выдадите! Ах ты ж сучье семя… Бегите! Бегите, к черту!

Рутьеров не требовалось долго упрашивать спасать свои шкуры.

Бросая на произвол судьбы беспомощные серпантины, стряхивая с себя маскировочные сети, увязая по колено в снегу.

Побежали не все, заметил Гримберт. Некоторые орудия продолжали стрелять. Вразнобой, не выверенно, впустую сотрясая воздух — жалкая пародия на настоящую канонаду. Наверно, даже в разбойничьих душах остались крохи чести, не позволяющие им задать стрекача перед лицом опасности. Может, Господь в своей милости укроет этих несчастных от греха и…

Может, Господь и успел укрыть рутьеров от греха. Но от фугасных огнеметов не успел.

«Ревнитель», наклонив бронированный торс, извергнул из себя два ревущих черных языка, внутри которых сворачивались спиралью огненные прожилки. И эти языки вмяли и бегущих и сопротивляющихся, мгновенно слизав белую снежную плоть со склона, оставив лишь скудно коптящие костерки из плоти и орудийных остовов. Сквозь повисшее над землей дрожащее марево Гримберт видел шатающиеся, объятые желтым пламенем, фигурки, пытающиеся брести прочь, но на ходу превращающиеся в золу.

«Ревнитель» не стал созерцать их мучения. Он устранил угрозу, и этого ему было довольно. Единственным его значимым противником был завязший в кроваво-снежной жиже «Убийца». Никчемный противник, но все же рыцарь. А значит, не зазорно будет разнести его главным калибром, втоптав в землю обломки.

* * *

Гримберт попытался сдвинуть «Убийцу» с места, но тщетно. Ходовая часть, которую он истязал столько времени непомерными нагрузками, вышла из строя. Этот старый доспех отходил свое по грешной земле.

Пятидюймовые орудия «Ревнителя» повернулись в его сторону. Даже на таком расстоянии Гримберт необычайно отчетливо увидел их дульные срезы. Даже без увеличения визора они казались пещерами, в которые вот-вот нырнет его душа, растворяясь в этой непроглядной темноте без остатка. Как радиосигнал, метнувшийся в ночное небо или…

«Радиосигнал, — в этот раз в голосе Аривальда в самом деле было презрение, — Ты чертов идиотский баран, Грим».

Огненная птица надежды шелохнулась в его груди, раскрывая тлеющие крылья.

Радиосигнал.

Рутьеры повредили его радиостанцию в том ночном бою. Он не мог связаться даже со «Стражем». Он был нем. Вот почему «Ревнитель» не ответил ему. Он попросту его не слышал.

Или слышал. Но получил приказ из уст маркграфа — уничтожить любую угрозу, которая встанет на пути ценного каравана. А когда твой сюзерен, которому ты вверяешь рыцарскую честь, говорит «любую»…

Гримберт отдал приказ «Убийце» включить внешние динамики, гадая, успеет ли он это сделать прежде чем «Ревнитель» перезарядит свои пятидюймовки.

— Говорит Гримберт…

Человек, своей самонадеянностью погубивший своего друга.

Никчемный баловень судьбы, угодивший в ловушку своего самомнения.

Опозоренный пленник, безропотно отдавший все, чему посвятил жизнь во искупление своей жалкой шкуры.

— …наследник маркграфа Туринского. Прекратите огонь. Повторяю, «Ревнитель», прекратите огонь. Мне нужна помощь. Прекратите огонь. Мне нужна…

Он позабыл условные команды и обозначения, он даже сам с трудом понимал, что говорит, но что-то говорил. Это была какая-то мешанина из мольбы, просьб и невнятных проклятий. Настоящая каша, в которой человеческое ухо с трудом вычленило бы суть.

Однако «Ревнитель» не стрелял. Стоял неподвижно, хладнокровно направив на него орудия главного калибра, и молчал, чего-то выжидая. А потом вдруг пришел в движение и тяжело мотнул башней, точно человек, недоуменно покрутивший головой.

Кажется, выстрела не будет.

Он остановился в трех или четырех туазах перед «Убийцей» и только тогда сделалась по-настоящему видна разница в их размерах. Боевой рыцарский доспех и никчемная учебная машина. Могучий, закованный в сталь, воин — и никчемный сопляк, воображающий себя таковым.

Бронированная жабья морда дрогнула, исторгнув в воздух струи конденсата, на ее темени в сторону сдвинулся небольшой пласт брони, высвобождая прямоугольный люк. Несколькими секундами позже он распахнулся.

Бронекапсула «Радетеля» не шла ни в какое сравнение с тесной норой «Убийцы». Просторная и хорошо освещенная, она походила на рубку боевого корабля, в самом центре контрой можно было разглядеть ложемент с неподвижно лежащей человеческой фигурой.

— Мессир Гримберт?

«Я не мессир, — хотел было сказать ему Гримберт, — Я же не рыцарь».

Но не сказал. Не смог. Язык вдруг высох, превратившись в дохлую змею в пересохшем устье ручья.

Лицо человека в ложементе показалось ему знакомым. Молодое, безусое, немного смуглое — этот человек явно провел больше времени, глотая раскаленную пыль южных пустошей, чем морозную крупу Альб. Кажется, он где-то даже его видел. В палаццо, среди прочих отцовских рыцарей, или на охоте.

— Господи милосердный! — рыцарь уставился на него широко открытыми глазами, — Я только сейчас сообразил, что… Что за варварские украшения вы водрузили на свой доспех, ваше сиятельство? Неудивительно, что я не сразу узнал бедного старого «Убийцу»! А сколько дыр!.. Вы в порядке? Умоляю, ответьте мне!

В полном порядке, подумал Гримберт, зная, что сил на улыбку уже не осталось.

Превосходно провел время, мессир.

Как на лучшем балу.

— Я… сносно. Хотя меня порядочно потрепало. Но вот Вальдо…

— Аривальд? Ваш оруженосец? — глаза рыцаря были затуманены из-за нейро-коммутации, но быстро приобретали осмысленное выражение. — Где он? Впрочем, неважно. Вам нужна помощь, чтобы выбраться? Погодите минуту, я сейчас…

Оборвав контакт со своим доспехом, рыцарь на секунду обмяк в ложементе. Знакомый Гримберту момент. Даже бессмертной душе требуется краткий миг, чтобы переселиться из тела стального воина в слабую и созданную из мягкой глины человеческую оболочку.

Его собственная душа, изгрызшая сама себя, была холодной и мертвой, обесточенной, точно последнее напряжение окончательно разрядило какой-то питавший ее доселе аккумулятор.

— Откройте люк, сейчас я помогу вам, — рыцарь принялся поспешно вытаскивать штекера из своего затылка, — Какое облегчение, что вы живы! Ваш отец уже неделю места себе не находит, епископ Туринский каждый день служит литургию за то, чтоб вы вернулись живым. Алафрид рассылает гонцов по всем уголкам империи. А вы…

Да, подумал Гримберт. А я.

Визор вдруг мигнул, словно собирался донести до его сведения какую-то информацию. Но все показания как будто остались прежними, разве что…

Фигура рыцаря, машущего ему рукой из бронекапсулы «Ревнителя Праведности», немного изменилась. Сама она

осталась прежней, но вокруг нее возник нимб, тусклая розовая окружность. Невидимая постороннему взгляду, лишь его собственному. Точно алая аура вокруг непорочной души, готовящейся взмыть в небо.

Это значило, что…

Он слишком поздно понял, что это значило.

— Нет! — крикнул Гримберт, — Стоп! Отмена! Стоп!

* * *

Пулеметы «Убийцы» ударили вразнобой, хриплыми лающими очередями. Когда-то бывшие натасканными цепными псами, работавшими слаженно и аккуратно, сейчас, изношенные и выработавшие ресурс, они терзали цель хрипло, неравномерно и грубо, точно дикие гиены, жадно терзающие добычу наперегонки друг с другом.

Баллистические показатели упали столь сильно, что он не попал бы в мишень даже на расстоянии в два арпана. Но при стрельбе в упор это не имело никакого значения.

Рыцарь из «Ревнителя Праведности» не отправился в рай и не взмыл в небо. Живущие в пулеметах «Убийцы» демоны, исторгая из стальных глоток оглушительный лай, обрушились на него, алчно вырывая из тела куски мяса и заставляя его танцевать в облаке собственной крови, стеклянных крошек и тусклых искр. Танец был скоротечен и длился всего несколько секунд, но Гримберт почему-то отчетливо видел детали. Куда более отчетливо, чем могла позволить аппаратура «Убийцы».

Когда рыцарь повалился обратно в свое кресло, от него осталось не больше плоти, чем от истлевших мощей забытого святого, скорчившихся в своей раке. Только окружен он был не полированным серебром с выгравированными изречениями на латыни, а клочьями дымящегося ложемента, искрящими проводами и лопнувшими частями приборных панелей. Перерубленные пулями руки остались лежать на развороченной груди в дымящихся клочьях гамбезона. Осиротевшие нейро-штифты беспомощно покачивались на проводах под порывами ветра — мест, к которым им надлежало крепиться, больше не существовало, как не существовало и рыцарского затылка, развороченного пулями и вышибленного из черепа, превратившегося в слизкое крошево на приборной панели позади ложемента.

И только потом Гримберт услышал негромкий щелчок — это его сознание зафиксировало произошедшее. Механически,

хладнокровно, точно автоматика, приведенная в действие стандартными бортовыми алгоритмами.

Нет, прошептал Гримберт, чувствуя, как понимание произошедшего проникает в душу, точно ядовитый газ сквозь трещины в броне.

Нет, нет, нет, нет.

Это ошибка. Какая-то чудовищная, нелепая и жуткая ошибка.

Короткое замыкание в системе управления огнем. Самопроизвольное срабатывание. Ошибочный импульс, сбой сложного механизма. Просто одна крошечная искра скакнула по поврежденной цепи и высвободила огневую мощь доспеха, направив ее в том направлении, в котором он смотрел, прямо на несчастного рыцаря.

Ошибка. Досадная, редкая, но все же возникающая время от времени даже у прославленных рыцарей. Следствие изношенных механизмов, барахлящих вычислителей или лени оруженосцев. Иногда подобные ошибки приводили к курьезам и забавным результатам, иногда к глубоким конфузам и даже трагедиям, но…

Лампочки приборных панелей в обнаженной кабине ревнителя погасли. Перестав ощущать присутствие своего хозяина, верный доспех погрузился в сон, не ведая, что тот возлежит в своей бронекапсуле, превращенной в саркофаг, изрешеченный пулями, и уже никогда не сольется душой с ним. Куски алого и белого мяса, клочья гамбезона, покрытый волосами кусок черепа, лежащий на приборной панели, несколько раздробленных позвонков на полу…

— Великий милосердный Боже, — прошептал Гримберт, — Храни и спаси.

Самопроизвольное срабатывание. Подумать только, именно в этот миг. В миг спасения.

Наверно, он смог бы убедить себя в этом. Себя, но только не Аривальда. Тот всегда был упрямым сукиным сыном.

Воображаемый оруженосец покачал головой.

«Это не ошибка автоматики, Грим. „Убийца“, конечно, старый доспех. Старый, немощный и глупый. Но он надежен, и ты это знаешь. Он никогда бы не выстрелил сам, без приказа».

— Самопроизвольное срабатывание, — Гримберт произнес это вслух, силясь заглушить бесплотный голос призрака, пронизывающий его собственную бронекапсулу, точно ледяной ветер, — Короткое замыкание в цепи. Так бывает. Я слышал. Даже у лучших рыцарей такое случается, я….

«Не было никакого самопроизвольного срабатывания. Проверь данные бортовых самописцев, если не веришь».

— Он выстрелил! Выстрелил сам по себе, черт возьми!

«Это не он выстрелил. Это ты выстрелил, Грим».

В голосе Аривальда не было осуждения, только странная задумчивость.

Это ты выстрелил, Грим.

Мертвый рыцарь безучастно разглядывал его уцелевшим глазом. Его уже не интересовало происходящее, должно быть, у него сейчас были какие-то свои заботы, не имеющие отношения к человеческому миру и происходящим в нем странностям.

— Я не стрелял… — прошептал Гримберт, — Это чертов доспех выстрелил. Он уже не подчиняется мне. Они… они сделали из него «Падальщика»… Это больше не «Убийца», не мой доспех, он…

«У доспеха нет ни сознания, ни личности, — жестко произнес Аривальд, — Он механизм, Грим, механизм, который выполняет приказы. И он получил приказ от тебя».

Короткий, четкий, очень конкретный приказ. И выполнил его, как подобает надежному и верному слуге.

Нет.

Нет, прошептал Гримберт.

Ради всего святого, что существует и существовало. Ради Всевышнего. Ради его собственной бессмертной души.

Нет.

Аривальд положил свою бесплотную руку ему на плечо.

«Я понимаю, Грим. Ты был слишком изможден, твой рассудок затуманен пытками, унижением и боем. Ты ощущал себя брошенным, никчемным и жалким. А тут еще этот чертов поезд. И кровь. И жуткая тайна отца… Золото на крови… Знаешь, у души ведь нет автоматических предохранителей, как у доспеха, которые позволяют сбрасывать излишнее напряжение, способное повредить рассудок. Просто в какой-то миг…»

Нет.

«Ты потерял контроль над собой, Грим. Бездумно выплеснул наружу всю ту боль, что копошилась в тебе. Использовал шанс поквитаться с тем, кто оказался слабее тебя».

Груда окровавленного мяса в изрешеченном ложементе «Ревнителя» едва заметно задрожала. Не потому, что жизнь спешила покинуть пришедшую в негодность оболочку, просто съеживались уцелевшие сухожилия. Обычная посмертная агония. Гримберт и сам ощутил, будто у него внутри что-то съеживается.

«Просто секундное помешательство. Нервный срыв. Ошибка в командной цепи. Но не доспеха, а твоей собственной. Дьявольское искушение, которому твоя измученная душа в краткий миг слабости не нашла сил сопротивляться».

Самопроизвольное срабатывание души. Короткое замыкание в бессмертном механизме.

Ему захотелось завыть. Выплеснуть зловонную муть, скопившуюся в том внутреннем резервуаре, где прежде была душа. И выть до тех пор, пока сознание милосердно не потухнет, освободив измученный дух от оков тела.

Но он знал, что мне может себе этого позволить.

«Это… просто ужасная ошибка, — Аривальд говорил уже не так уверенно, тон его сделался утешающим и оттого вдвойне фальшивым. Он никогда не говорил таким тоном, пока состоял из плоти и крови, это воображение Гримберта пыталось наделить его таким голосом, — Никто не станет корить тебя… Ты ведь даже не рыцарь, если подумать. Лекари поднимут тебя на ноги, отец простит. Может, понадобится терапия или какие-нибудь восстанавливающие рассудок процедуры или…»

— Вальдо…

«Что, Грим?»

— Заткнись. Просто заткнись, Вальдо. Через час я заберу тебя и мы двинем домой. А если вздумаешь повторить что-то такое вживую, я двину тебе в нос, и плевать, насколько ты там ранен.

«Убийца» тяжело развернулся, приминая снег, и, шатаясь, лег на обратный курс.

* * *

Ходовая была повреждена не так серьезно, как он думал. Капризничала, осекалась, но, подобно дряхлой крестьянской кляче, до сих пор тянула свою ношу, хоть и кряхтела на каждом шагу. К рутьерскому лагерю он подошел не через час, как намеревался, а через три, но все равно опередил возвращающихся рутьеров. Израненные, волочащие на плечах раненых товарищей, шатающиеся, они походили на окровавленных крыс, с трудом ползущих в родную нору. Они даже не смогли бы оказать ему сопротивление, вздумай он растоптать их — все пушки «Смиренных Гиен» были брошены и разбиты, если прежде они представляли собой хоть какую-то силу, то теперь, после своей злосчастной авантюры, окончательно превратились в беспомощное отрепье, из которого даже злая воля Вольфрама Благочестивого не в силах выковать ничего путного.

Гримберт не стал их топтать, напротив, даже не смотрел в их сторону. Они были лишь бледными призраками, бредущими по окровавленному снегу его воспоминаний, они больше не имели над ним власти. Он вырвался. Он победил. А рыцарь никогда не

опустится до мести своим обидчикам. Даже если это рыцарь, от подвигов которого разит как от кладбища скота.

К лагерю он добрался лишь в сумерках. Миновал жалкое охранение, черпая снег поврежденной скрежещущей ногой, полоснул по трепещущих на ветру шатрам потоками света из фар. Выставленные в караул рутьеры лишь беспомощно провожали его взглядом, сжимая бесполезные аркебузы. Храбреца, который вскинул бы оружие, среди них не нашлось.

Крысы и есть.

«Если они крысы, то кто тогда ты, Грим? Может быть, крысиный принц? Или крысиный святой? Ты спас до черта крыс сегодня, не так ли?»

— Бога ради, заткнись, Вальдо. Потерпи еще минуту, я уже вижу твой шатер.

Он и в самом деле видел его. Заметил издалека. И целенаправленно шел, не обращая внимания на раздавленный ногами «Убийцы» рутьерский скарб. Плевать. Он поклялся перед лицом Всевышнего, что заберет Аривальда, и намеревался сдержать свое слово любой ценой.

Надо придумать, как закрепить беднягу на броне. Так, чтоб тряска не усугубила его раны, а жестокий мороз Сальбертранского леса не убил за время пути. Тряска будет чудовищной, такой, что вымотает душу и у здорового, не говоря уже о раненом…

Ничего. Он будет идти так мягко, как это возможно. Медленно, время от времени уступая Аривальду свое место в бронекапсуле, чтоб тот смог согреться. Нужный курс загодя просчитан и уже введен в навигационную систему «Убийцы». Курс, зыбким пунктиром танцующий меж чащ проклятого Сальбертранского леса и упирающийся в Турин. А там…

Гримберт запретил себе думать про «там». Если они не выберутся, не будет никакого «там».

Но они выберутся, слово рыцаря.

Они уже выбрались.

* * *

Он остановил «Убийцу» в нескольких шагах от шатра. Никто не пытался помешать ему. Немногие часовые, увидевшие явление рыцаря, были слишком заняты, второпях хватая первое подвернувшееся под руки добро и спеша покинуть лагерь. Должно быть, слух о славной битве, обещавшей им несметные богатства, уже добрался до логова «Гиен». А может, они увидели

бесчисленные следы повреждений на броне и сами обо всем догадались.

Кажется, в ближайшее время господин Вольфрам Благочестивый столкнется с серьезной проблемой. Все его воинство попросту растворится в Сальбертранскому лесу, перед тем разграбив то, что осталось от обоза. Кто-то так и замерзнет насмерть в зимнем лесу, более счастливые, может, доживут до весны, чтоб окончить дни на эшафоте или в висельной петле. Плевать. Здорово будет, если они напоследок вздернут своего проклятого предводителя, приведшего их к катастрофе. Но он не станет задерживаться достаточно долго, чтобы полюбоваться этим, хоть и чертовски подмывало…

Отключение нейро-штифтов далось еще сложнее, чем обычно. Он точно выломал из черепа крепившуюся внутри часть мозга. Несколько секунд тошноты и дезориентации. Но когда он наконец выбрался из бронекапсулы, оказалось, что тело не так обессилело, как ему казалось. По крайней мере, сохранило способность переставлять ноги. Большего от него Гримберт и не требовал.

— Вальдо! — он приподнял полог шатра онемевшей рукой, — Вальдо, старый разбойник, не много ли ты спишь? Собирай вещички или ты намерен ждать маркграфскую карету?

Шутка была неказистой, но другой он за время пути не придумал.

«Знаешь, Вальдо, я тут расстрелял отцовского рыцаря часом раньше. Уже после того, как узнал, что мой отец выплачивает свои долги кровью своих же подданных. Дурацкая история, как-нибудь потом расскажу, живот себе надорвешь от смеха…»

— Вальдо! Куда ты запропастился, Вальдо? Отзовись!

Забравшись в шатер, он шарил в полумраке руками, пытаясь нащупать угловатое тело Аривальда, но ощущал только какое-то тряпье. Треснувшие ножны, пустые фляги, старая кухонная утварь, драная одежда… Кажется, «Гиены» приспособились использовать этот шатер в качестве хранилища для своего никчемного скарба и до него еще не добрались мародеры.

— Вальдо! Черт, ты в прятки задумал играть?

Он обошел шатер трижды, ощупывая каждый дюйм, и лишь после этого мысль, скребущаяся в подкорке все это время, обрела достаточно силы, чтобы сделаться явственной.

Его тут нет. Аривальда тут нет.

Наверно, он спутал шатер. Или… Гримберт едва не заскрежетал зубами. Или старый мерзавец Вольфрам провел его, нарочно указав неверное место. Вполне в его духе. Ничего. Не страшно. Пусть ему придется потратить лишнее время, он не отступится. Черт, он не отступится даже если дорогу ему

преградит адская река, несущая вместо вод кипящую лаву.

Гримберт, тяжело дыша, выбрался из шатра. Он найдет Аривальда. Даже если ему придется перерыть все чертовы шатры в этом лагере. Он найдет и…

— Ни к чему искать, мессир.

* * *

Перед глазами разлились пульсирующие огненные озера, легкие сдавило, как кузнечные мехи.

Слишком рано вылез из доспеха, подумал Гримберт. Не опустошил боезапас по шатру главаря напоследок. А стоило бы. Решил, что Вольфрама уже нет в лагере, что он, как и полагается предводителю крыс, сбежал первым, захватив рутьерскую казну и пару телег. Уж он-то знал, чем закончилась последняя в истории «Смиренных Гиен» военная кампания.

Гримберт медленно повернулся, ощущая, как сводит пальцы правой руки. Кажется, они пытались нащупать на поясе несуществующий лайтер.

Однако Вольфрам Благочестивый, кажется, не горел желанием броситься в драку. Предусмотрительно сложив на груди пустые руки, он стоял в нескольких шагах от шатра, наблюдая за Гримбертом. Безучастно, почти равнодушно, как наблюдают за проползающим над лагерем облаком.

— Где он?

— Кто «он», мессир?

Гримберт сделал длинный тягучий вдох. Снова какая-то ловушка. Снова подвох. Очередная крысиная хитрость. Вольфрам Благочестивый состоит из хитростей, грязных трюков и обмана. Дышит ими. Нельзя спускать с него глаз, нельзя верить, нельзя поворачиваться спиной. Ибо только один Господь Бог знает, что за фокус он готовит сейчас…

— Мой оруженосец. Где он?

Вольфрам Благочестивый поскреб пальцем подбородок.

— Уж точно не в моем лагере. Полагаю… Полагаю, в другом месте. Не знаю, как оно выглядит, но если оно устроено хотя бы вполовину так справедливо и приятно, как нам говорят, нам с вами остается только его позавидовать.

Гримберт шагнул к нему. Забыв про то, что он больше не управляет стальным телом великана. Что у него нет послушных его мысли пулеметов, готовых превратить в кровавую накипь любого обидчика. Что сытый и здоровый Вольфрам одним щелчком может вышибить из него дух. Шагнул, пристально глядя

в глаза.

— Не смейте юлить, иначе я раздавлю вас, как жука. Где он?

Вольфрам вздохнул.

— Там же, где находятся все добрые вещи и помыслы, которым не нашлось места на грешной земле. Христианское смирение, епископская скромность, сеньорская милость, рыцарское благородство и… черт возьми, может, там отыщутся и мои серебряные запонки, они тоже вечно норовят куда-то запропаститься…

— Я выполнил свою часть сделки. Теперь ты выполнишь свою.

— Сделка? — Вольфрам наморщил лоб, будто бы что-то припоминая, — Ах да. Честно говоря, сделка не выгорела. Я понес большие потери, почти ничего на ней не заработав. Мало того, потерял немало людей и…

— Мне плевать, — процедил Гримберт, не спуская с него взгляда, — Сегодня ты заработал много крови. Цистерны крови. Пей ее, пока не лопнешь, проклятый паук. Или не захлебнешься. Я хочу забрать своего оруженосца и уйти.

— Я рутьер, а не разбойник, мессир, — Вольфрам Благочестивый поджал губы, — Я чту свое слово. Но боюсь, что в данном случае помочь вам бессилен. Согласитесь, я не могу передать вам то, чем не владею, как не могу передать ключ от Константинополя или ангельское перо или…

— Он в другом лагере? У вас был другой лагерь, тайный?

— Нет. Иначе я бы так и сказал. Бросьте, вы ведь все уже поняли.

Нет.

Нет, не понял, крысиная твоя душа, чуть было не сказал Гримберт. Я не…

— Вы лжете.

Кажется, это сказал не он, а воображаемый Аривальд, стоящий за его плечом. Даже интонация была не его, а Вальдо. Но Вольфрам усмехнулся в лицо именно ему.

— Ваш оруженосец мертв, мессир. Уж в этом тяжело было ошибиться.

Я брошусь на него, подумал Гримберт. Попытаюсь перекусить вены на его предплечьях. Или задушить, если в пальцах хватит силы. Я не стану просто стоять и…

— Вы убили его, когда поняли, что я возвращаюсь? Нарочно убили, чтобы…

Вольфрам поморщился.

— Господь с вами, мессир! За кого вы меня держите, за бездушного мавра? Уж не думаете ли вы, что я приказал

задушить его вам назло? Черт! Вольфрам Благочестивый, может, не святоша, но и не мерзавец. И уговоры он чтит, как полагается рутьеру. Ваш оруженосец умер в тот самый день, памятный день нашей встречи. Погиб прямо в своем доспехе, прикрывая хозяина, как и полагается преданному слуге. Вы же знаете, у нашей «Безумной Гретты» совершенно лютый нрав. Выжить после ее попадания, да еще в доспехе легкого класса?.. Нечего и надеяться.

Ложь. Гримберт попытался переступить с ноги на ногу, но обнаружил, что тело застыло соляной статуей. В нем больше не было нервных волокон, не было мышц, не было кровеносных сосудов. В нем не было того, что превращает груду разнородной плоти в человеческое существо — в не больше не было души.

Но сильнее всего был потрясен Аривальд. Гримберт даже испытал некоторое подобие злорадства, увидев изумление на его воображаемом лице. Человек, всегда просчитывающий все заранее, сейчас он впервые на памяти Гримберта растерянно хлопал глазами, пытаясь понять, как же так произошло. Человек, привыкший просчитывать всякую ситуацию как шахматную партию, он не смог справиться с этим, самым простым, вычислением. И быстро таял, осознав это.

Прости меня, Вальдо.

Господь не простит меня, но ты… Ты должен меня простить.

— Не самая скверная смерть, — Вольрам пожал плечами, — Многим моим людям не досталось и такой. Все-таки на поле боя, в рыцарском доспехе, спасая хозяина… Уж точно лучше, чем медленно подыхать от лангобардского яда или затухать от болезни. Черт, хотел бы я умереть так же!

Вальдо, как же так?

Воображаемый Аривальд еще пытался утешить его, но лицо его — теперь Гримберт отчетливо видел это — было лицом мертвеца. Он был самозванцем, призраком, призванным воображением Гримберта в мир, чтобы заместить настоящего человека и теперь, осознав свою природу, быстро растворялся в воздухе.

Вольфрам пожевал губами.

— Да уж, — пробормотал он, — Смерть, может, и не самая приятная, но она-то, полагаю, наделила его местом в раю вернее, чем поцелуй Папы Римского. Хочется надеяться, что мне и самому суждена подобная кончина, но… Нет, едва ли. К чему лгать себе, сомневаюсь, что человеку моей профессии суждено умереть подобным образом. Стой.

Произнесено было тихо, но отчетливо, резко, как команда. Бросив взгляд на то место, где раньше стоял воображаемый Аривальд, Гримберт увидел человеческую фигуру. Не

призрачную, из плоти и крови. Эта фигура небрежно держала в руке пистолю, направленную ему между лопаток. И знакомый волчий оскал.

* * *

— Не сметь, — отчетливо произнес Вольфрам, — Все под контролем. Мессир рыцарь не собирался причинять мне неудобств. Мы просто беседовали с ним, как старые приятели, верно?

Аривальда больше не было. Растворился, как пороховой дым, вознесся в небо. Прекратил существовать, утратив последние нити, связывающие его с реальностью. Нити, сотканные его, Гримберта, воображением.

— Пора кончать щенка, — негромко произнес Бальдульф, — У нас мало времени, сам знаешь. Надо собирать тех, кто еще может держаться на ногах, и уходить. Скоро здесь будет до черта маркграфских ищеек… Не уйдем в течении часа — спустя день будем зубоскалить на эшафоте.

Вольфрам кивнул.

— Мы уходим. Прямо сейчас. Но есть одно дело, которое нам с мессиром рыцарем надо закончить.

— Дело? — Бальдульф глухо заворчал, — Какое еще дело? Условлено же было, что кончим сеньорского ублюдка. Так уж быть, окажу ему честь, потрачу пулю. Хотя, как по мне, и ножа под ребра было бы довольно…

Мессир рыцарь. Гримберт с трудом сдержал горький, режущий глотку, смешок. Точно к нему уже прикоснулся нож Бальдульфа.

— Это уже мне решать! — Вольфрам нахмурился и вновь перевел взгляд на Гримберта, — Значит вот что. Ситуация у нас с вами складывается странная, мессир. Никто из нас не обрел желаемого, так что, полагаю, мы оба можем считать себя обманутыми в лучших чувствах. Тем не менее, я готов сделать вам еще одно предложение.

— Предложение? — хрипло выдохнул Гримберт, — Господи, о чем вы? Хотите купить мою душу за медный грош?

Вольфрам Благочестивый покачал головой. И вдруг сделался серьезен. Необычайно серьезен.

— Мое предложение может показаться вам щедрым. Весьма щедрым. Потому что я предлагаю вам место в «Смиренных Гиенах». В нашей славной рутьерской команде. Под моим началом.

Дьявол. Кажется, весь мир сговорился, решив все-таки довести его сегодня до смеха. Хриплого, рвущего изнутри легкие кровавыми клочьями.

— Вы рехнулись, — пробормотал Гримберт, — Вы просто рехнулись, вот что.

Вольфрам развел руками.

— Ремесло хлопотное, не стану спорить, да и рутьерский хлеб подчас горек, как вы изволили убедиться, зато… Ну, скажем так, в положении рутьера есть свои преимущества. Безбедной старости или благостной смерти обещать не могу, это не в моих силах, зато уйму жизненного опыта и понимание жизни — запросто. Ну как, мессир рыцарь? Как вам такой уговор?

Безумец. Еще один безумец. Даже странно, как он прежде этого не замечал. Они все тут безумны. Все выжили из ума. И он должен убираться, пока не сравнился с ними. Наверно, какое-то гибельное для мозга излучение в этом чертовом лесу или…

— У меня есть встречное предложение, — Гримберт ощутил удовлетворение от того, как напрягся Бальдульф, — Вы с вашими крысами бросаетесь врассыпную. Если вы сделаете это прямо сейчас, быть может, вы успеете, прежде чем я доберусь до Турина и отцовские егеря отправятся по ваши души.

Это не произвело впечатление на Вольфрама. Тот лишь вздохнул.

— Доберетесь до Турина, мессир? Вот как? Мне кажется, с вашей стороны это было бы немного предосудительно, не так ли?

Предосудительно? Что несет этот старый мерзавец?

Гримберт подавил желание обернуться, чтобы найти взглядом Аривальда.

Никчемная надежда.

— Что вы имеете в виду? — процедил он.

Вольфрам усмехнулся, махнув рукой куда-то в сторону. Проследив за его жестом, Гримберт наткнулся взглядом на «Убийцу», терпеливо ожидавшего хозяина с открытым люком, и едва не выругался в голос.

Тот и верно выглядел паршиво. Крайне паршиво, даже хуже, чем он мог себе вообразить.

Все еще покрытый варварскими украшениями и жуткими символами, напоминающий не благородный рыцарский доспех, а какой-то языческий механизм. Покрытый пороховыми ожогами, залитый кровью из пробитых цистерн, он выглядел так, словно явился из самого ада.

Гримберт мысленно содрогнулся, лишь представив, как это чудовище, скрежеща и завывая, ступает ногой на мостовую

Турина. Черт побери, при виде него городской гарнизон, чего доброго, сыграет тревогу, даже заметив цифровую сигнатуру маркграфского наследника. Старого Магнебода после этого уж точно хватит инфаркт, а…

— Рыцарь, которого вы изволили расстрелять, — Вольфрам улыбнулся ему, — Когда грабили отцовский караван. Нет, мессир, я не упрекаю вас. Отнюдь. Поверьте, мне и самому не раз приходилось срываться. Как говорится, человеческая душа не грузовая платформа, нельзя грузить ее поклажей бесконечно, а вы…

— Я прикажу отцовским палачам убивать вас так медленно, что вы состаритесь на дыбе.

Вольфрам кивнул. Спокойно, точно Гримберт пообещал ему кубок не самого скверного вина.

— Многие великосветские сеньоры склонны прощать своим отпрыскам небольшие проказы. Черт возьми, маркиз Фриульский, говорят, простил своему любимому внуку сорок разделанных по всем правилам мясницкой науки слуг из его замка, прежде чем понял, что с малым что-то не так и не заточил его в монастырь. Наверно, ваш досточтимый отец простил бы вас, даже если бы вам вздумалось расстрелять колокола в Туринском соборе. Но в этот раз у шалости могут быть последствия. Вы уничтожили караван, стоимость которого трудно даже вообразить. Вы вскрыли тайные маркграфские делишки, которые он, подобно сеньорам своего уровня, решает не собственной кровью, но чужой. И, словно всего этого мало, вы хладнокровно расстреляли его вассала, рыцаря из маркграфской дружины. Да уж, черт возьми, за это, пожалуй, может влететь, а?

Расстрелянный рыцарь.

Самопроизвольное срабатывание системы управления огнем.

Он ведь не…

— Душевная слабость? — Вольфрам понимающе кивнул, — Еще бы. Даже если вы попытаетесь спихнуть эту выходку на «Смиренных Гиен», ничего не выйдет. Как только слуги вашего отца найдут остатки каравана, а они уже наверняка на пути к нему, им не составит труда определить, из какого орудия был расстрелян несчастный рыцарь. Ваши патроны маркированы, мессир. Клеймом, которое известно даже последнему кузнецу в Турине. Отпираться не получится.

— Я был в плену, — отчеканил Гримберт, — И вынужден был выполнять чужую волю.

— А бежать тайком из палаццо в сопровождении одного только оруженосца вас тоже заставила чужая воля?

Гримберт едва не поперхнулся.

— Я…

— Мальчишки, — Вольфрам кивнул Бальдульфу, терпеливо ожидавшему с пистолей в руке, — Во все времена они ужасные непоседы, которые рвутся из-под родительского крыла навстречу воображаемой славе и приключениям. Чем подчас приносят своим родителям многие горести. Что уж удивляться тому, что наследник маркграфа Туринского, юный Гримберт, воспылав страстью к приключениям, бежал от собственного отца, чтобы примкнуть к рутьерам и обзавестись сомнительной славой?

Гримберт ощутил, как на смену обжигающему жару приходит мертвенный холод.

— Ложь! Чертова хренова ложь!

Вольфрам подмигнул ему и вдруг переменился в лице. Испуганно заморгал, сжался, выставил в кающемся жесте сложенные ладони.

— Молю о пощаде, ваше сиятельство! — взвыл он, — Уверяю вас, у меня и помыслов таких не было, это все он затеял, отпрыск ваш, будь он неладен!.. Как прознал он, что мы рутьеры, вцепился точно клещ. Прими его в отряд и все тут! Я, понятное дело, отказывал, где это виданно, чтоб сын маркграфа, сам рыцарь без пяти минут, и с грязным сбродом якшался? Но очень уж он хотел к рутьерскому ремеслу прибиться. Я так думаю, это через не в меру восторженный дух егойный и молодость. Мальчишки они ж такие, всем известно, им слава нужна, подвиги, свершения всякие… Видно, отчаялся он рыцарскую славу добыть, вот и потянулся к дурной славе, рутьерской…

Гримберт вздрогнул. Вольфрам Благочестивый не был прирожденным актером, местами он переигрывал, местами фальшивил, но все равно выглядел отвратительно естественно. Так, будто в этот миг в самом деле ползал на коленях перед отцом, моля его о пощаде.

— Нет, — тихо произнес он, — Это ложь. Не смейте, вы не можете, не…

— Именно так, ваше сиятельство, — Вольфрам испуганно выпучил глаза, — Я уж и так отказывал и этак, а впустую. Очень уж крепко он решил рутьером сделаться. Прознал, что мы обретаемся в Сальбертранском лесу, и пробрался к нам со своим оруженосцем. Объявил нам, значит, что ноныча он тоже вступает в ряды «Смиренных Гиен» и принимает разбойничьи клятвы вместо прежних, рыцарских. Обязуется служить наравне с прочими и зарабатывать нашим ремеслом. А чтобы мы не сомневались, выложил нам идейку одну. Мол, под покровом тайны собирается в Турине караван ваш, про который он случайно прознал, и везет этот караван богатства несметные. Ему

доподлинно известный маршрут, но он просит свою долю из награбленного и сам будет участвовать в налете…

У Гримберта закружилась голова. Это была чудовищная, омерзительная ложь, но Вольфрам Благочестивый выкладывал ее аккуратным узором, как паук выкладывает свою паутину, и получалось так ловко, что дыхание скрежетало в груди.

— Отец никогда вам не поверит, — обронил он, ощущая затылком холодную точку — взгляд пистоли в руках Бальдульфа, — Он разберется, он…

Вольфрам пожал плечами. Он больше не был кающимся разбойником, фальшивая личина мгновенно сошла с него, оставив привычное выражение.

— Отец, может, и нет. А прочие рыцари? Они ведь тоже узнают об этой истории. И не смогут не узнать — их собрат, разорванный вашими пулями, разлагается в бронекапсуле «Радетеля» в считанных лигах отсюда.

Рыцари. Об этом он не подумал.

Вольфрам потер руки друг о друга — еще один паучий жест.

— Только вообразите, мессир, как они будут смотреть на вас с этого дня. Мальчишка, который, мечтая о подвигах, примкнул к разбойникам и хладнокровно расстрелял их собрата. Растоптал рыцарскую честь и все мыслимые добродетели.

— Нет, я…

— О, уверен, ни один суд, мирской, церковный или императорский, не предъявит вам обвинений. Сын маркграфа! Как можно усомниться! Да и кто поверит старому разбойнику вроде меня?.. Но штука в том, что вашему славному рыцарскому сословию не нужен приговор суда, чтобы подвергнуть остракизму или свести в могилу своего собрата, не так ли? Да, формально они будут вам подчиняться. Даже присягнут когда-нибудь, быть может. Но за глаза… Как они будут звать вас, мессир? О чем станут шептаться за вашей спиной? Какие взгляды бросать в вашу сторону? Не знаете? А я знаю.

Убить, подумал Гримберт, собирая силы для одного-единственного рывка. И пусть Бальдульф размозжит мне затылок. Я перегрызу этому старому мерзавцу горло, пусть даже придется глотать его зловонную кровь. Я избавлю мир от одного из самых омерзительных его творений.

— Гримберт-Разбойник. Гримберт-Гиена. Гримберт-Каннибал. Вот какую славу вы с этого дня обрящете в Турине, мессир. Рыцари, которых вы поведете в бой, будут проклинать вас и ненавидеть. И ждать удобного момента, чтобы предать или выстрелить в спину, списав на ошибку автоматики. Вам никогда не суждено будет покрыть себя рыцарской славой, потому что вы

уже будете обмазаны со всех сторон, будто дегтем, презрением рыцарской касты. Здесь не помогут ни мольбы, ни епитимьи, ни паломничества. Рыцари, как и гиены, не знают снисхождения. Единожды опорочив их род, вы станете отверженным, презренным, жалким. Хуже, чем последний язычник, хуже, чем отцеубийца. И эту ношу вам придется нести до конца своих дней. Сколько бы подвигов вам ни удалось совершить во славу веры или его величества, все они будут отправлены смрадом, который будет следовать вслед за вами. Сколько бы побед ни пришлось одержать, все они будут отдавать одним и тем же. Запахом предательства, тщеславия и трусости. Вот каким вы войдете в историю, мессир. Разбойником, предателем, лжецом и братоубийцей. Об этом вы мечтали, читая рыцарские романы? Это воображали, впервые забравшись в рыцарский доспех?

Он бросился резко, вложив в рывок остаток сил, о которых сам не подозревал. Крутанулся на месте, чтоб сбросить с плеча свинцовую руку Бальдульфа, извернулся, оттолкнулся ногой и…

Господи, пусть это станет единственным моим подвигом, но дай мне его закончить, о большем не прошу. Кажется, воображаемый Вальдо успел усмехнуться ему на прощание.

Вольфрам Благочестивый не стал прикрываться. Он шагнул навстречу, коротко выбросив вперед руку. Гримберт видел этот удар, который еще не произошел, но вдруг обозначился в воздухе, точно его траекторию услужливо чертил в визоре верный доспех. Кривой, как сарацинская сабля, резкий, он должен был врезаться Гримберту в правый бок. И проломить ребра, вогнав их осколки в легкие. Обрушить вниз, лицом в талую снежную кашу. Заставить глотать кровь со снегом, мучительно хрипя и елозя ногами.

Кажется, он даже успел почувствовать боль в правом боку, за миг до того, как чужой кулак размозжил его ребра.

Прежде чем Вольфрам Благочестивый не усмехнулся ему.

Он так и не ударил. Просто перехватил кулак Гримберта и стиснул его железными пальцами, заставив его застыть в нелепой позе. Они словно пожимали друг другу руки.

Вольфрам приблизил свои морщинистые губы к его лицу.

— Я предлагаю вам куда больше, чем кажется на первый взгляд. Я предлагаю вам не просто жизнь, мессир, но новую жизнь.

Гримберт попытался вырваться, но не смог.

— Заткнись, старый паук… — пробормотал он, — Тебе не обмануть меня вновь, я…

— Гримберт Туринский обретет то, что заслуживает. Он не станет героем, овеянным рыцарской славой, но не станет и предателем. Он просто пропадет невесть где и отчаявшийся отец

еще много лет будет рассылать гонцов, чтобы найти его следы, и заказывать службы в церквях. Тщетно, конечно.

— Но я…

— Спустя два дня «Смиренные Гиены» покинут Туринскую марку и более никогда не вернутся в здешние земли. Вы можете последовать с нами. Там, в сотнях лиг отсюда, никто не станет вас искать. Никто не узнает вас. Никто не станет корить. Да, рутьерская жизнь не сахар, едва ли я смогу обеспечить вас рыцарскими подвигами, но… Черт, скучать нам тоже не приходится, верно, Бальдульф.

Бальдульф за спиной Гримберта склонил голову.

— Верно.

Вольфрам выпустил кулак Гримберта из пальцев. Так неожиданно, что тот едва не рухнул в снег.

— Поторопитесь, мессир рыцарь. Я благодушен, но я, как и все рутьеры, больше торговец, чем воитель, мое предложение не может действовать вечно. Как думаешь, Бальдульф, сколько времени у нас уйдет, чтобы сбить в кучу эту ополоумевшую мечущуюся стаю и напомнить ей, кто здесь хозяин?

Бальдульф почесал в затылке.

— Полчаса.

— А чтобы сложить шатры, собрать припасы и выступить в путь?

— Еще час.

— Итого… полтора часа. Довольно приличный срок, как по мне. Как думаете, мессир рыцарь, вам хватит этого времени, чтобы принять решение?

Гримберт не ответил.

Но в глубине души знал — хватит.

Конец

* * *

notes

Примечания

1

Здесь: 4 метра.

2

Миндалевидное тело (лат. corpus amygdaloideum) — отдел мозга в районе височной доли, играющий ключевую роль в формировании эмоций.

З

Смарагд (лат. Smaragdus) — изумруд.

4

«Aeris porta animi» (лат.) — «Медные врата души».

5

Abortivum (лат.) — выкидыш

6

Фламины — жрецы отдельных божеств в Древнем Риме.

7

Квинтал — средневековая мера веса, приблизительно равная 49 кг.

8

Панкратеон — древнегреческая борьба.

9

Фехтен (нем. fechten — «сражаться, бороться»)

10

Проклятье Святого Фиакра — средневековый эвфемизм для обозначения геморроя.

11

Царская водка — смесь азотной и соляной кислот.

12

Плакарт — нижняя часть кирасы, состоящая из стальных пластин.

13

Argentum russus (лат.) — «Серебряный тёрн».

14

Помандер (от фр. pomme d’ambre — «душистое яблоко») — средневековый аксессуар, изящный футляр с благовониями внутри.

15

Здесь: приблизительно 4 м.

16

Биретта — четырехугольная шапка с помпоном, традиционный головной убор католических священников.

17

Стоун — средневековая мера веса, равная примерно 6,3 кг; Квинтал со стоуном: примерно 55 кг.

18

Барбют — пехотный шлем с Y-образным вырезом, распространенный в Италии до XV-го века.

19

Фибула — застежка для плаща, одновременно служащая и украшением.

20

Котта — часть средневекового мужского костюма, похожая на длинную тунику.

21

Луна Охотника — луна, согласно мифологии предвещающая Дикую Охоту, яркая и окрашенная в алый.

Здесь: примерно 25 кг.

23

Средневековая итальянская мера веса для сыпучих тел, равная примерно 1,8 л.

Здесь: примерно 12,6 кг.

25

Плакарт — нижняя часть кирасы.

26

Гульфик — деталь средневекового мужского костюма, мешочек из ткани в районе паха.

27

Mare Mediterraneum (лат.) — Средиземное море.

28

Скобарь — кузнец, изготавливающий скобы, гвозди, подковы и пр.

29

Шорник — специалист по изготовлению конской сбруи.

30

Здесь: примерно 14 км.

31

Nomina sunt odiosa (лат.) — «Имена ненавистны».

32

Сан-Хорхе — замок в Севилье, в котором располагалась резиденция и тюрьма испанской инквизиции.

33

Эсток — узкий граненый клинок, служащий для пробивания брони.

34

Bonorumvitavacuaestmetu (лат.) — «Жизнь честных людей свободна от страха».

35

Хауберк — вид средневекового доспеха из кожи или ткани, поверх которой нашиты металлические кольца или пластины.

36

Кацбальгер — короткий меч с развитой гардой для ближнего боя.

37

Кракемарт — тяжелая мощная сабля с искривленным обоюдоострым клинком.

38

Hic. Citius! (лат.) — «Сюда. Быстрее!»

39

Мюид — средневековая мера объема для жидкости, примерно равная 270 л.